

Музыка, выплеснувшаяся на страницы книги!  
Новый роман музыканта легендарной группы «КИНО»



Алексей Рыбин

# ЧЕРНЫЕ ЯЙЦА



Издательство «АСТ»  
Москва



## Annotation

«Черные яйца» (другое название «Ослепительные дрозды») — роман о поколении рокеров и «мажоров», чья молодость пришлась на залитые портвейном 80-е и чей мир в итоге был расплюснут сорвавшейся с петель реальностью. Алексей Рыбин, экс-гитарист легендарного «Кино», знает о том, что пишет, не понаслышке — он сам родом из этого мира, он плачет о себе.

По изощренности композиции и силе эмоционального напряжения «Черные яйца» могут сравниться разве что с аксеновским «Ожогом».

---

- [Рыбин Алексей & Беньковский Виктор](#)
    - [ЧАСТЬ I](#)
      - [Глава 1. Волга](#)
      - [Глава 2. Огурец](#)
      - [Глава 3. В танкере и с кейсом](#)
      - [Глава 4. Дареному коту в зубы](#)
      - [Глава 5. Большие Бабки](#)
      - [Глава 6. Суля](#)
      - [Глава 7. Морщина времени](#)
      - [Глава 8. Большие Бабки — 2](#)
      - [Глава 9. Гитлеркапут](#)
    - [ЧАСТЬ II](#)
      - [Глава 1. Швейцария](#)
      - [Глава 2. Последний троллейбус](#)
      - [Глава 3. Волшебный мажор](#)
      - [Глава 4. Огни небольшого города](#)
      - [Глава 5. Сила и слава](#)
      - [Глава 6. Презентация](#)
      - [Глава 7. Черные яйца](#)
      - [Глава 8. Анна Каренина](#)
-

# **Рыбин Алексей & Беньковский Виктор**

## **Ослепительные дрозды**

### **Антинародный роман**

**(действие романа происходит в разное время)**

*Посвящается Сиду Барретту*

*Борьба жизни черт знает с чем*

*(Б. Гребенщиков)*

*Тихо в лесу, только не спят дрозды.*

*(Народная песня)*

*Для обеспечения максимального срока службы магнитной ленты эксплуатация ее должна производиться на аппаратуре с исправными и хорошо отрегулированными лентопротяжными механизмами.*

*Применение магнитной ленты рекомендуется осуществлять при температуре окружающего воздуха (10–25)С и относительной влажности воздуха (65–15)% на аппаратуре ГОСТ 24863 до 1-й группы сложности включительно.*

*Ленты необходимо предохранять от длительного воздействия тепла (например, при нагреве магнитофона), а также от прямого воздействия солнечного света, магнитных полей, вибраций и ударных воздействий.*

*В случае обрыва ленты ее необходимо склеивать с помощью специальной склеивающей ленты следующим образом:*

*концы магнитной ленты накладывают друг на друга так, чтобы рабочие слои обоих концов были*

*продолжением друг друга. Затем сложенные вместе концы разрезают под углом примерно 60 градусов, прикладывают их друг к другу встык и склеивают со стороны основы склеивающей лентой. Излишки склеивающей ленты обрезают по ширине магнитной ленты.*

*Из УКАЗАНИЙ по применению ленты магнитной типа А 4411-6Б.*

# ЧАСТЬ I

## Глава 1. Волга

*Способность к упорнейшему умственному труду, к долгому размышлению сказалась в нем уже в этот ранний период.*

*Е.Тарле. Наполеон.*

— Сколько раз я говорил тебе, не покупай хлеб у Мюллера. Он же рыхлый, видишь? Ну посмотри, посмотри, крошится. Да и вдобавок не прожаривается. И крошки эти... Загубим тостер. У Самарина надо брать, вот где настоящий хлеб. Сегодня же сам Федору скажу, пусть у Самариных берет. И дешевле, кстати.

— А в передаче «Впрок» говорили давеча, что экологически чистый хлеб только...

— Перестань. Ты веришь этим передачам. — Илья Александрович легонько стукнул вилок по тарелке с овсянкой. — Там же все за деньги. Там же искренности честности ни на грош...

Лицо Ильи Александровича покраснело.

Володя сморгнул. И тут же внутренне пожурил себя. Нельзя смаргивать. Это признак слабости. Так Саша говорит. Саша никогда не смаргивает. В день, на Пасху, когда они на пристань пошли и к ним заречные привязались, так вот — в тот день Саша не сморгнул.

А кастет у него что надо. Он только потом рассказал, что едва роман тот французский прочел, ну про сыщика этого, как его там, так сразу к Пантелеймону, на улицу Энтузиастов пошел и попросил сделать.

— Володя, ты в гимназию не опаздываешь?

— Так ведь...

— Ты помнишь, что ты сегодня пешком пойдешь? — сказал Илья Александровича — Мне сейчас на техосмотр.

По грязи в новых ботинках. А ботинки-то какие — «Дуберс». На платформе, шитые, желтая кожа, шнурки толстые — просто загляденье. Митя Дворкин в таких ботинках уже год, как ходит. Лешка Гордин — полгода. И Бабенко — Бабенко-то, тоже в «Дуберсах» рассекать начал. Этот-то уж мог бы и не высовываться. Понятно — Леша Гордин — у него в семье все в порядке. Да и у Дворкина нет проблем. А Бабенко-то, Бабенко — последние, видно, деньги выложили родители на ботиночки, только

чтобы сынок их тоже аристократом выглядел, чтобы на одной ноге стоял с племянником генерал-губернатора, с Лешей Гординым...

По грязи в новых ботинках.  
Володя шел по родному Симбирску.

Улица Ленина. По улице Ленина можно идти спокойно. Особенно Володе. Его здесь все знают. Папа к Григорьеву ездит обедать — раз в неделю уж точно. А дом Григорьева — номер двадцать три по Ленина — дом знатный. Об трех этажах, сад первейший в Симбирске, да, может быть, и во всей губернии. Охрана — за три квартала начинают машины отслеживать — куда, мол, прешь, водитель. Хорош ли ты, водитель, или ты, водитель, чего-то злое удумал? И, ведь, чуют нутром — злое удумал водитель, или просто в гости хозяина своего везет. И отсекают нежелательных, тех, кто злое замыслил.

Володя видел, как они отсекают. Им палец в рот не клади. Бывает, что и вертолеты задействуют.

Володю здесь знают. Здесь его никто не обидит. По улице Ленина он может ходить в любое время суток беспрепятственно.

Вот, хоть бы все время ходить мимо дома Григорьева. Так нет, же! Чтобы до гимназии добраться нужно с Ленина на улицу Красных Комиссаров свернуть. Черт бы их взял, этих красных комиссаров.

Володя прикрыл рот ладошкой. Папа всегда ругался, если кто-то в семье поминал черта.

Когда-то на улице Красных Комиссаров жил купец. Венедикт Ерофеев. Первой гильдии купец, по Волге не проплыть было — по стрелени «Метеоры» идут на подводных крыльях, экскурсии тащат. Туристический бизнес Ерофеев тоже под себя потихоньку потащил. А вдоль берега бурлаки баржи тянут — все Венечкины, Ерофеичи, как называли их тогда. А если чужой кто баржу свою захочет протянуть — тут уж к Ерофееву на поклон. А Ерофеев просителя сразу к бурлакам отправляет — «иди, мол, договаривайся, если срастется тема, тебе и карты в руки.»

А с бурлаками Ерофеевскими договариваться, все одно, что с художниками гжелевскими. «Hand-maid, my friend, this work is very difficult, we'll think about this. See you later», — говорили бурлаки и уходили к костру — о сравнительных достоинствах горных велосипедов рассуждать или гайки на скейтбордах подтягивать.

А некоторые — просто водку пили. Тоже, в некотором смысле

экстремальный вид спорта.

В общем, сложный был народ — бурлаки эти. А как Ерофеева не стало скисли все. Скурвились. Фирмы стали открывать, торговать запчастями для дельтопланов, но все как-то без размаха, без шику ерофеевского, тухло все сделалось, обычно и гадко.

Венедикта своего они просто обожали. Венедикт Ерофеев деньги платил большие да в срок, и потому не было отбоя от бурлаков — им только дай, только скажи — Ерофеев тягловый экипаж набирает — очередь выстраивалась вся улица Красных Комиссаров была битком забита. А чужаков на Волге в ту пору не жаловали.

Сам-то он старообрядцем был, закон свой блюл истово, ничего лишнего себе не позволял, семью свою в строгости и вере правильной держал, хотя и крут был. Никто не знает толком, отчего он однажды, когда и в Петербурге, и в Москве о Ерофееве знатные люди заговорили, стали контракты ему предлагать реальные, когда все в елочку стало ложиться, взял Ерофеев, да и пульнул себе в рот из револьвера.

Улица Ленина — она брусчаткой выложена. Можно сбить с ботинок грязь, которой обгваздался, пока по родной улице своей шел — по Народноволецев. Грязь там страшная, как это папа, с его связями, не может договориться, чтобы асфальт положили на Народнолецев.

Володя сунул руку в карман гимназической курточки. Платок, ключи, мелочь — все не то, не то. Вот, бумажка какая-то. Что за бумажка? А-а, счет из «Макдональдса». Смело можно использовать. Ботинки нужно чем-то протереть обязательно. Конечно, его, Ульянова и в грязных ботинках в гимназию пустят, но что скажут те же Гордин и Дворкин? Подумают — туда же — из грязи в князи. А самое отвратительное, что и Бабенко наверняка заметит грязь на володиных ботинках. И решит — «Тоже из наших. Из деревенских. Хоть и корчит из себя аристократа....».

Володя с тоской посмотрел вперед. Туда, где за старыми липами просвечивал красным кирпичом особняк Ерофеева. Теперь там ПТУ. И мимо этого ПТУ ему, Володе Ульянову лучше не ходить. Краснокомиссаровская шпана так просто не пропустит. Ее, шпану даже Саша опасается.

У них, как Саша сказал, крыша такая, что никакой кастет не поможет. Героином торгуют, коксом — там папики серьезные масть держат, там попробуй тронь кого — домой приедут с «узи», прострочат всех как на «Зингерах» А некоторых — оверлоком. Так сказать, контрольно.

Саша рассказывал ему, как однажды, когда Шаляпин в Симбирск приезжал, на концерт собрались все. И краснокомиссаровские, и с



Народовольцев, и с Ленина в ложах сидели и зареченские даже на галерку прорвались. И все было так тихо, набожно. Пока Шаляпин пел. «Лоха — ха-ха». Этим басом своим, всем известным.

Отличный был концерт. Пару раз, правда, микрофон заводился и гитара у главного строить переставала. Но это все фигня. Ведь без фанеры работали вживую.

А потом он спел что-то такое — из «Князя Игоря», что ли, так все в такую заводку вдруг пошли — Саша рассказывал.

Бутылки с галерки в партер полетели, зареченские разбуянились, реально перестали себя держать. А из партера им ответили сразу и достойно. Конкретно. Как мужчины отвечают.

Саша домой за полночь пришел и сразу книгу схватил. Засел в спальне своей с книгой и до утра ее читал. А утром-то ему на учебу нужно было. Так не пошел, весь день и всю следующую ночь эту самую книгу читал. Синяк под глазом только пальцами длинными трогал и от еды отказывался. А книгу эту Володя потом на помойке нашел.

«Звездные Войны — 8», — прочитал Володя на красочной, правда слегка заляпанной навозом обложке. Страницы книги были не разрезаны.

«Нужно идти», — сказал себе Володя. — «Что бы там ни было, нужно идти.».

Он помнил, что когда папа возил его в гимназию, машина сворачивала именно здесь — на углу Ленина и Красных Комиссаров. Сюда и нужно.

Из-за палисадника вдруг показался Вова Керенский. Вовчик-балалайка. Знатно на инструменте шпарил, все девчонки краснокомиссаровские его были. И «бабочку» в кармане всегда носил — никто в Симбирске «бабочки» не имел и пользоваться-то ей никто толком не знал, как. А Вовчик вдруг выбрасывал руку из кармана, махал ею перед лицом противника и, неожиданно, из ничего, из блесток, разлетающихся аккуратной восьмеркой вокруг пальцев Керенского возникало угрожающе, мертвенно-неподвижное лезвие «выкидухи».

Одно время, Вова об этом догадывался, у Саши и Вовы-Балайки были какие-то общие дела. То ли с девчонками вместе в «ночное» ездили, то ли еще что-то — Володя не спрашивал. Но потом они поссорились. Поссорились настолько сильно, что Саша даже похвастался как-то, когда вовчикины «Жигули» сгорели перед окнами квартиры Керенских — впрочем, может быть, и не похвастался, а просто так сказал — «Знаем, знаем, кто тачку его спалил. И поделом...».

Его, Володю, Керенский, вполне возможно, и не заметит. Кто ему Володя? Мальчишка, с которого и спрашивать-то нечего. А другие? Шпана

вся, что за ним стоит? На пиво начнут денег просить. Если дашь — отметелят за то, что мало дал. А не дашь — отметелят за то, что не дал и все равно все деньги из карманов выскребут. Альтернативы нет.

Идти вперед? Принимать бой? Заведомо проигрышный? Бой, который наверняка закончится позорным поражением?

Володя быстро огляделся по сторонам. Бежать некуда. Мимо дома Григорьева — крикнуть охране — мол, я — Володя, я сын Ульянова, я тот самый мальчик... Не успеть. Да и противно. Саша бы так не поступил. Саша попер бы напролом. Но у Саши — кастет в кармане. У Саши руки — что Володины ноги.

Дырка в заборе. Чей это сад? Лекова? Надо же, никогда этой дырки не видел. Правильно, я же здесь только на машине проезжал. С папой. Пойди, заметь тут дырку в заборе.

«Мы пойдем другим путем», — неожиданно выкристаллизовалась фраза в голове.

«Мы пойдем другим путем»!

Керенский ехидно улыбнулся и двинулся к Володе.

— Слышь, ты, пацан, ты, короче, иди сюда...

Володя не дослушал Керенского. Пусть тешит себя гопник надеждой на легкую добычу. Не на того напал. Мы пойдем другим путем!

Кто-то когда-то шел напрямик. Одна дыра в заборе проломана, рядом с ней, как заметил Володя — другая, поменьше. Слава Богу, что он бросился в эту, что побольше. А вторая, маленькая — она, должно быть, для кота. Кто-то с котом бежал, спасался от шпаны местной. И дырку для кота отдельную специально проламывал. Любил сильно, видать, кота своего.

Низко свесившиеся под тяжестью плодов яблоневого ветки, кусты малины, шиповник — самое отвратительное, что только в жизни может быть — шиповник, цепляющийся за школьную курточку, царапающий лицо, пытающийся удержать на месте, не дающий сделать и шага вперед, гадостный, *merde*!

Спасибо тебе, Леков, спасибо тебе, скромному инспектору путей сообщения, про тебя мне рассказывал папа, он никогда не приглашал тебя на обеды, и Григорьев никогда тебя не приглашал, но спасибо тебе, неизвестный никому, честный труженик Леков за то, что у тебя есть сад и есть забор и есть дырка в заборе, есть дырка, в которую можно нырнуть и получить спасение и сохранить себя, сохранить жизнь и жить дальше так, как хочется... Спасибо тебе, инспектор путей сообщения Леков.

Александром меня зовут, козел ты долбанный, не Сашкой, а Александром, понял?

Ногой хотел мне по яйцам двинуть, дурак, фрайер, мужлан, так я ведь ставлю блок и все — тебя нет! Удар в голень — ты сморщился от боли и потерял ориентацию, мгновенно — в челюсть и все — до свиданья, милый друг.

Двое следующих. Какие они, все-таки, лохи. Стоило мне выйти из круга, как они растерялись, сломали линию нападения. Да и не было у них никакой линии. Числом хотели задавать. Гопота. Как дикие варвары. Толпой — каждый за себя — понты сплошные. Вандалы, одно слово. А мы их — умением, умением да техникой.

Вот, наконец, хотя бы трое выстроились. И что вы, трое, будете со мной делать? Пока вы разбираетесь, кто из вас первым ударит я сразу левому — в пах ногой, потом — неожиданно для правого — центральному, то есть, главному — в нос ладонью открытой. Не умер бы только... А тот, что справа стоял глядь — уже и нет его. Сам убежал. Я так и планировал. Сил для атаки уже не осталось. Если бы он не убежал, пришлось бы мне туго...

Саша сделал глубокий вдох.

Нет, не рассосались еще зареченские. Ребята крепкие. Хотя и драться не умеют. Но здоровье-то у них крестьянское, качаются со страшной силой, тренажеры у всех хорошие, свежий воздух, здоровое питание, один там есть такой — даже он, Саша, со всей его техникой на бой с ним не выйдет. Бухарь кликуха.

Есть у человека во лбу точка такая — ху-зна — очень ценная точка. Если по ней ботфортом залудить — интересный эффект выйдет. Неожиданный. Будто пропрет противника. Только в точку эту попасть очень трудно. Противник — он все время башкой крутит: окружающим интересуется. Какие козлы... Вот бы, на шпагах с вами подраться... Я бы вам....

Бах!

Ушел от удара.

Слева сапогом — ушел.

Еще раз слева — вот, не ожидал — пропустил. Ну что же... Митрич учил меня удар держать.

А я ему — на! На! На! Испугались, гопота?

Саша про это прочел в одной книжке. «Mortal Combat» называется. Прочел, как он любил, — не разрезывая, книжка удешевленная была, без обрезки. Там о поражении противника через уязвимые точки много интересного рассказывалось.

Бухарь, блин, про это тоже читал. Когда они после концерта Шаляпина сошлись, Бухарь все атаки так выстраивал, чтобы в точку ху-зна попасть.

А если человеку в ху-зна попасть то, по древнекитайской философии, в нем пропадет и ху и зна; ян станет инем, а желтый дракон сыграет похоронный марш. В общем, все разладится.

С Брюсом Ли, кто-то рассказывал, так было. Прошел к нему на тренировку дедушка какой-то. Спросили его охранники: кто ты? А я Ху-Зна, ответил дедушка. Ну, дык, проходи, сказали охранники.

В общем, помер Брюс Ли.

Жаль конечно

\*

Гарнитур был не новый. От Григорьева. Григорьев загородный особняк заново обставлял. Бери, сказал, Илья. Чисто французский. Знаешь где он раньше стоял? Где, спросил инспектор народного просвещения.

— А знаешь где, сказал Григорьев. На улице Анжу, он стоял, в доме 12. Понял, где он стоял? И у кого?

Понятия не имею, ответил Илья. Григорьев хохотнул. У торчка парижского одного стоял. А знаешь, с кем торчок тусовался? С кем, спросил инспектор народного просвещения. С Нижинским. Со Славкой? Пургу гонишь, не поверил Илья Александрович. Мамой клянусь, сказал Григорьев. Зуб даю. Сукой буду. Век воли не видать. Александрович, понюхай его, понюхай. В Париже, чай был, знаешь запах ихний. Когда фонари зажигают. Это же блин, значит, кому-нибудь нужно, когда по Champs Elys\*es иллюминация. Помнишь?

Помнишь, сказал Илья Александрович. И — незаметно так — нюхнул.

— Да ладно тебе, — сказал Григорьев. — Не в прогимназиях своих чай. На, — он взял со стола лакированный китайский подносик с аккуратными, придиричиво кем-то отмеренными горками белого порошка.

— Поздно, — выдавил Илья, сморгнув заслезившимися глазами. — ... Поздно! Этот запах. Запах «Тонки-250» злая штука, помнишь?

— Еще бы, — насупился Григорьев. — Только ты на людях-то об этом не болтай.

— Да ладно-о тебе, — протянул Илья. — И так все знают.

— О чем это, интересно, все знают?

— Да о нас с тобой, дураках. О Митрохе. Я вот как запах «Тонки-250» услышу, так все, сливай воду.

Сливай окислитель.

Сливай!!!

Отсечка!

— А помнишь, когда...

...когда носитель был уже доставлен на стол. И вот-вот должна была вертикализация состояться. И тут, мать его, течь открылась. На топливных баках первой ступени. По уму, надо было носитель на хрен со стола снимать и назад в монтажно-испытательный комплекс везти. А Самому неймется. В общем, плохо все было. Решили течь по корпусу заваривать. А страшно. Тут ведь как долбанет, мало не будет. Носитель-то — мама не горюй!

Главный гавкнул в телефон: давай. Сгорим ведь, сказали ему. А мы уже горим, ответил главный. Синим пламенем. Выбора нет — панк или пропалк.

— Слушай, — усмехнулся Григорьев. — А у меня шрам на пальце, между прочим, до сих пор — во, смотри. Помнишь, обожглись с тобой?

— Это сильно, — сказал Илья. — Только помнишь ты, сколько там ребят-то полегло, да не с такими ожогами, а с реальными? А?

— Ты что меня, совсем за гада держишь, — заметил Григорьев помрачнев. Лицо у него покраснелось — то ли от выпитой водки, то ли от гнева. — Ты что,

Илья, забыл, как мы с тобой....

— Ничего я не забыл. Брось, Володя, извини, если ляпнул по пьяни что-то не то. Бывает... Сам знаешь.

— Илья...

Григорьев взял дрожащей рукой стопку.

— Илья... Мы с тобой.... Мы с тобой столько, мать его так, прошли, что нам нечего друг перед другом ломаться, да? Слушай, Илья.... Я вот, что думаю. Дети у тебя. Сыновья. Отличные парни. И у меня могли бы быть. А ведь нету. Нету — хватанул я тогда рентген, ты же этой истории даже не знаешь, ты же демобилизовался уже. А я пахал. Служил, понимаешь. И не жалею.

Из глаз Григорьева закапали слезы.

— Да, не жалею. Потому что честно служил. Но, Илья... Ты прости меня за то, что плачу я... Знаешь, как об этом вспомню, глаза сами работать

начинают. Я же Рафинаду звонил тогда. У меня трубка была — прямая, с самим Рафинадом. Я же, Илья, крутым тогда уже стал. Большим. Настоящим. Так мне казалось. Рафинад мне сказал — никаких проблем, на Землю Санникова лети, увидишь такое, чего никогда не видел. Слетал. Посмотрел. Увидел. Теперь все. До свиданья, девушки. Так что...

Григорьев потащил из кармана носовой платок. Уткнулся в него лицом.

— Так что, Илья, гарнитур забирай и не парься. Мне он на хрен не нужен. У меня, ты же знаешь, все заработало, бабки льются, дом новый буду покупать... А на хрена?..

— Володя, ты не бери в голову, — тихо сказал Илья. — Ты успокойся, давай, как мужик, не в бабах счастье...

— Да ладно, Илья. Я все понимаю. Только, ты знаешь, смотрю я на тебя и страшно мне делается. Страшно за детей твоих.

— Почему, — искренне удивился Илья. — Что же такого случилось? Я же их в строгости держу... Учатся — Сашку — на юридический отправляю, Вовка вообще мал, но успехи делает, однако...

— Не знаю, — тихо сказал Григорьев. — Не знаю, Илья. Все так. Все правильно. Только, поверь мне, страшно что-то. Какие-то новые во мне способности открылись. После Земли Санникова. Так что смотри — приглядывай за ними. Мой тебе совет.

— А, чего тут смотреть, — весело сказал Илья. — Наливай, давай, помнишь, как в молодости говорили — панк или пропалк?

\*

Панк или пропалк.

Саша всегда удивлялся, как грузчики умудряются проносить по их узкой, с тонкими деревянными перилами лестнице такую громоздкую мебель. И бока ее не поцарапать, и перила не сбить.

И вообще — зачем такую мебель-то делают? Нефункциональную. Ладно там ящички, полочки, ну, тайнички какие там — это ясно. Но все эти завитушки, вся эта резьба, от которой одни проблемы только для грузчиков — это-то для чего?

Кстати, о тайничках. В этом гарнитуре григорьевском, наверняка тайнички должны быть. Такая машина. Интересно, где же?..

В письменный стол он не полезет. Письменный стол — это табу. Папины дела. В них лучше не соваться. Саша знал, что для того, чтобы в

этом мире преуспеть, лучше в чужие дела не соваться. Меньше знаешь — крепче спишь любимая поговорка папы. Мало ли что там у него в столе, у папы? Папа — он такой... Тихий — тихий, а себе не уме. Недаром Григорьев ему гарнитур этот отстегнул.

Какие-то дела у них были — да и есть, вероятно. Папа о них не распространяется, мама тоже помалкивает, хотя и знает, наверное. Орден в форме звезды шестиконечной, с надписью, сделанной на неведомом мертвом языке затейливой вязью — «Za Otvagu Russkuju, za Udall Molodetskuju» у папы откуда? Никогда отец об этом ордене не рассказывал. И шрам страшный на спине, уходящий к левой ягодице — в бане Саша смотрел на этот шрам, а спросить боялся — раз папа сам не говорит, значит, так и надо. В семье Ульяновых так заведено было — пока сам папа не скажет — вопросы задавать бессмысленно.

В платяном шкафу тоже, вероятно, ничего интересного быть не может. Разве что скелет какого-нибудь любовника французского, что к жене Григорьева захаживал пока тот на службе. Впрочем, гарнитур этот, судя по лаку да общему виду еще Марию-Антуанетту помнит. А, может быть, и у маркиза де Сада в кабинете стоял. А что? Григорьев — он любитель эпатажа и всяких прочих несанкционированных проявлений собственной значимости.

Почему бы нет? Очень даже может быть. Конторка, шкаф, стол, комод маркиз, положим, у себя в Конвенте сидит, законы проталкивает со стула на пол стекаясь от удовлетворения материальной стороной жизни и мысли собственные отлавливающий в крупной голове своей словно налимов в бочке с дегтем. Конечно, законы авангардные получались. Некоторые даже проходили через конвент в первом чтении.

А повар его в это самое время служанку пользуется. Повару-то — что? Повар — он простой мужик, через восточный фронт прошел, в плену побывал, ему теперь сам черт не брат. И на законы десадовские ему плевать с большой колокольни. Хоть с самого Ивана Великого плюнуть на все законы — повар только вытрет селедочное масло с бороды пугачевской, рыгнет, скажет что-то на своем диком наречии и — к столу.

Многому повар от господина набрался. Умел себя с дамами правильно поставить. Хватит, бывало, даму за бока — и на стол. А куда еще — повар, ведь. На стол, конечно, обязательно на стол. И разделявать ее, разделявать.

Маркиз про это знал. Явно, знал. Умен, ведь был. Хотя и со странностями. Не стал бы он тайны свои в столе хранить. А, вот, в комод запросто. Ни один повар, даже де садовский, не сумел бы на комод это самое... Ну, ясно что. Короче, не сдюжил бы на комод это самое. Это

самое на столе, на полу, это самое даже в шкафу можно провернуть при желании, но на комодѣ это самое просто физически невозможно. Это самое...

Никогда не видел Глашинѣх панталон. Вот бы, Глашу за бока схватить, да на этот стол. Интересно, как бы она себя повела? Заорала бы? Нет. Она, ведь, боязлива. Орать не станет.

Эх, ладно, это мечты, мечты. Дѣлом нужно заниматься, а не в эмпиреях парить. Учиться, к экзамену готовиться. А тут — одна Глаша в голове. Подумаешь, тоже — цаца... Мало ли девушек приличных, а он все об этой дуре, маменькиной любимице. И чего маменька так с ней носитѣ — Глашенька, солнышко, зайныка... Служанка и служанка. Обычная баба. Хотя, есть в ней что-то. Нет, хватит.

Так. Значит, комод. Однако — нет. Де Сад в комодѣ бы тоже не стал тайников устраивать. Та же служанка может залезть и продать де Сада с потрохами. А де Сад после Бастилии осторожничал. Бастилия — она кого хочешь уму-разуму научит. Станешь осторожничать, когда лет тридцать света белого не видишь. Хоть бы и с личным поваром, хоть бы и полнеть при этом, при отсидке, то есть, лицом добреть, в плечах раздаваться, книжки писать — один хрен Бастилия. Четыре стены кирпичных. И повар, тоже через плен и лагеря всякие прошедший. К беседам душещипательным не склонный. Короче — живи — не хочу.

А что, если и вправду, конторка эта у де Сада стояла?..

Ну, если логически рассуждать — только в конторке он мог что-то интересное прятать. На столе — ясное дѣло — повар со служанкой акробатов дают, в шкафу — скелет, по комоду шарят все, кто не попадая — прачка, шляпник, зеленщик, чучельник какой-то, к кошельку де Садовскому присосавшийся в трудную для маркиза минуту — сибиряк в пенсне и с тонкими, нервными, пальцами производящими на понимающего человека тревожное впечатление — шарят там все, кому не лень...

Не позавидуешь де Саду. Тяжелая судьба. Сидит в комнате своей — жирный, отъевшийся в Бастилии, никто его не любит, вокруг бардак — глаза бы не смотрели. Вот и сидит маркиз, слезами умывается и думает — где бы тайны свои сокровенные спрятать, куда бы личные вещи пристроить? Чтобы ни зеленщик, ни шляпник, ни одна собака чтобы не нашла?

В конторку. Конечно, в конторку. Не полезет туда ни служанка, ни зеленщик, ни повар. Все знают — маркиз — он с приветом. Хоть и узник совести, и революцией затребованный и призванный. Что у него в конторке может быть? Бред один. Открытки порнографические — в лучшем случае.



Или новая книга Доценко, запрещенная, Конвентом признанная опасной для массового сознания.

Ага. Как это папа не заметил? Или — заметил? Папа же не скажет — мол, у меня в конторке ящичек потайной. А в ящичке том...

...Панк или пропалк. Это точно. Наверняка это — выбор.

Я знал, что я найду то, что искал. Я знал, что здесь есть тайник. Не могло не быть здесь тайника.

Скрипнул ящичек. Потянуть его на себя. Сделал. Оглянулся. Никто не заметил. И даже Глаша, которая следит за всеми и за мной в особенности, не услышала.

Клинт Иствуд скрежещет с экрана. «Грязный Гарри». Подумаешь, большое дело. Я таких «грязных» убегу враз. Долго ли Грязный Гарри в Симбирске продержался бы? От силы — неделю. И то — если бы из комнаты не выходил, читал Библию и спал после.

Господи, что же это за штуковина несуразная? Баланс хороший, ствол реальный, в руке лежит как надо... Но эта фиговина сзади...

И сверху. Черт его знает, как стрелять из такой мандулы?! Патроны-то, правда, есть, но как стрелять? Впрочем, если патроны есть, как-то стрелять эта штуковина должна. Ага... Ага. Вот так. Целиться неудобно. Но, с другой стороны, если попривыкнуть, то и очень ничего. Кстати, даже стильно. Ни у кого у в городе такой штуки нет. Это уж точно.

Она-то, дура, думает, что знает обо мне все. Она спать со мной хочет. Нужна ли она мне, сучка деревенская? Я в Петербург поеду, там и найду себе девочку. Или — в Москву. А эта дура — следит за мной и думает, что я ее за это...

Стук в дверь. Холодный пот, мгновенно выступивший на лбу.

— Кто там? Глаша? Ты?

— Я, Александр Ильич.

— Так чего же ты там за дверью-то, — заходи?

— А можно? Мне бы прибраться...

\*

— Вы меня не любите? Не любите?

Юбки на полу, сколько же на них, этих бабах, юбок-то?.. И сама-то распаренная, красная, словно из бани — баба и баба. Никакого желания.

— Сашенька... Вы меня любите?

Амазонка. Волга. Амазонка сводит с ума. Я не бывал на Амазонке. Я

буду там! Розенбаум с Макаревичем уже съездили, а я что — хуже? Нет, я тоже проплыву по Амазонке.

Еще один раз попробовать дойти до конца.

Глашенька, успокаивая и уговаривая себя, себя, только себя, Глашенька, я люблю тебя, я хочу тебя, я...

Не получается.

— Глашенька...

Mais que faire, — думал Саша. — Que faire? Moi, je ne puis pas s'opposer tout \* fait. C'est d'absurde, mais j'aime cette paysanne...

Глаша тихо запищала.

Саша почувствовал, как его обуревают тоска.

«Пошла бы ты, — подумал Александр Ильич. — Пошла бы ты куда подальше.»

Морда красная. А тело — тело, которое казалось прежде божественным, тело — убогое, непропорциональное, грубое бабское тело. Некрасивое.

Юбки на полу, штанишки какие-то, еще причиндалы разные....

Господи, как нехорошо с вами, с женщинами, — подумал Александр Ильич. И кайфу-то — на три минуты, а предыстория — ну, просто Шекспир.

«Люблю я Вас, Александр Ильич, — тихо сказала Глаша, умудрившись окнуть по-своему, по-волжски — „Лублу“.

„Какая же ты дура, — подумал Саша. — Провинциальная дура и все....“

— Лублу я вас, Александр.... Только маменьке вашей не говорите...

„Лублу“... Цаца, тоже мне...».

— Не скажу, — кивнул Александр. — Не скажу. Честное дворянское.

Наплевать. Подумаешь, девчонка.

Саша не на шутку разозлился на эту дуру. Есть девочки новгородские просто понтовые. Есть девочки рязанские — с прозрачными глазами, с глазами, серыми, как весенний лед. А есть волжские. Очень красивые девочки. Глаша не волжская. И не рязанская. Откуда ее маменька вытащила — одной ей известно.

Что же я — такой кобель, который даже дуру деревенскую, толстокожую, грязную, дуру, которая и по-русски-то плохо говорит, эту шепелявую козу сумел раком поставить, да так, что кряхтела она на все именование? Даже Вовка проснулся. В окошко подглядывал.

Что же я — просто кобель? Я же люблю ее, по-настоящему люблю! Глаша... Будь моей женой!. Нет, нет, подожди, я сейчас кончу... Глаша, я

люблю тебя... Еще, еще... Ой, ой, ой... Еще... Глаша, люблю... Всегда, всегда буду с тобой... Ой!

Панталоны, откуда у не эти панталоны? Сперла, что ли у кого, или купила? А на что купила-то? Деньги сэкономила и на панталоны их...

— Ой, ой, ой...

— Не волнуйся, маленький, я тебя всему научу, всему...

«Чему меня эта дура может научить? Чему?...».

— Ой, ой, а-а-а-а....

— Не бойся, родной...

«Какой я тебе родной, дура.... Какой я тебе...».

— А-А-А, — закричал Саша. — А-А-А — АААА!

— А так теперь?

Потом залита вся постель. Они купаются в поту. Они плавают в поту смешанном — Глашин пот и Сашин пот. Глаша выныривает и переворачивается на живот.

— А так теперь, барин?...

— Какой я тебе барин?... Я люблю тебя, дура. Я для тебя все сделаю. Все, как ты хочешь. Все... А-а-а...

— Маленький мой... Хороший мой.... Давай, давай, давай...

Саша отвалился на бок.

— Пойдемте на берег, барин, — сказала Глаша. А то Илья Александрович со службы скоро воротятся, как бы худо не было.

— Слушай, а где машинка моя?

— Какая машинка, — не понял Саша.

— Да вот она, вот....

Глаша непонятно откуда извлекла машинку для скручивания «джойнов». Табак и целлофановый пакетик возникли в ее руках, будто ниоткуда.

— Что это? — спросил Саша.

— Это-то, — ответила покрасневшая горничная. — Это тебе только на пользу пойдет. — Покурим, барин.

Что за табачок-то у нее, интересный какой табачок.

Пухлые пальчики высыпали табачок на бумажку. Р-раз! В пальцах горничной материализовалась сигатерка.

Саша щелкнул своей «Зиппой». Втянул сладкий дым и зажмурился.

— Дай, сказала Глаша. И взяла у него сигаретку.

— Странный у тебя табачок, — сказал Саша.

— Таджикский, — Глаша запрокинула голову и смотрела в небо.

«Ох, как хорошо-то мне... Ох, как весело...»

— Я лублу тебя, Глаша, — давясь смехом сказал Саша. — Я лублу табы....

— Я знаю, барин.

Глаша затянулась косячком. Протянула его Саше.

— Пяточку сделай, барин.

— Что?

Александр Ильич Ульянов посмотрел на любимую. Любимая — с крупным лицом, крупная в руках и, видимо, решительная в действиях, крутила в пальцах чинарик. — Барин, еще затяжечку?

Облака над Волгой неслись со скоростью курьерского поезда. Папоротник. Откуда здесь папоротник-то взялся? И, ведь, как отчетливо виден? До малейших деталей.

Детали. Это ли не главное? Почему он, Саша, раньше не обращал внимание на эти самые детали? Мир состоит из деталей, детали — это самое главное, детали — это характер человека, это цвет панталон твоей девушки, это запах, несущийся из трактира, в котором тебе нужно купить свежий — не от Мюллера, как папа говорил — хлеб

Детали — это скрип сапог Юрьича, сумрачного мужика, который приходит раз в месяц проверять и чинить замки на воротах, это писк народившейся мыши в амбаре — этот писк слышен всем, всей семье, слышат его и маменька, и папенька, и Володя слышит, только виду не подает — а то — малы еще, чтобы указывать и советы давать — потом только, дня через два папенька, Илья Александрович скажет — Да подите, кто-нибудь уж, наконец, разберитесь там...

Мир становится совсем другим, когда обращаешь внимание на детали. Вот жужелица бежит. И сколь значимым оказывается ее бег. Черное блестящее тельце с красноватым отливом. Продукт эволюции. Хищник. Решительный и беспощадный.

Хищник в своем масштабе. Победитель. Саша все крутил и крутил в голове эту фразу, он хотел придать ей чеканность, чтобы эта чеканность Глашу проняла. «Выкованный из чистой стали с головы до пят». Так любил говорить о себе купец Венедикт Ерофеев. В Симбирске все об этом знали.

Голова у жужелицы маленькая, а челюсти мощные. А если ее ухватить пальцами, то жужелица будет сопротивляться, пытаться вырваться, укусить, и запах.

Отец часто говорил про особенный запах «Тонки-250». И Григорьев говорил. Бывало, сидят за столом, водку пьют про эту, их «Тонку-250» рассуждают. И про какой-то кипящий гидразин.

— Жужелица пахнет как «Тонка-250», — сказал Саша Глаше ни с того,

ни с сего.

— Эк вас, барин, растащило.

Голос Глаши, словно пропущенный через SPX-90 с хорошей реверберацией.

— Надо взять себя в руки, — вяло подумалось Саше.

Папоротник начал расти. Причем, удивительно быстро.

«Не растет не берегах Волги папоротник», — подумал Саша и осекся. Над подлеском папоротника вставала стена сахарного тростника. Тростник в считанные секунды заполонил весь нижний берег — тот, где прежде стояла никому не нужная, давно заложенная и перезаложенная деревенька, тростник очень быстро — за две затяжки — достиг невероятных размеров — выше человеческого роста встал с стеной. Сахарной. Из деревеньки выбегали мужики и бабы, тащили за собой на веревках вялую скотину и, невнятно выкрикивая неслышные с того берега ругательства, грозили черными от грязи кулаками Саше и Глаше.

Саша никогда не видел сахарного тростника, но, почему-то наверняка знал что этот тростник именно тот, о котором он читал в книгах Василя Быкова. Он знал наверняка что этот тростник — тростник сахарный. Василь Быков много внимания уделял подробностям. Размер и форму листьев сахарного тростника по произведениям Василя Быкова можно было выучить даже подростку-двоечнику.

— Это, ведь, сахарный тростник, — тихо сказал Ульянов — младшей горничной своего папы. — Пойдем Глаша, я уведу тебя туда, в те края, которых ты и не видывала.

— Барин, да перестаньте вы выдумывать. Эк вас прет. Затянитесь еще. И, вообще, домой нам пора. Илья Александрович говорил что Вам в девять уже нужно дома быть. У Вас же занятия, барин, завтра. Виолончель. Учителка придет, помните? Виолетта Семеновна Растропович. Пойдемте, ей-Богу, домой, чтобы маменьку и папеньку вашего не волновать.

— Yo te quiero....

— Pero, se\*or, yo soy.... — Да, барин, вот сюда, сюда!..

— Hola, muchachos!

Заросли сахарного тростника, поглотившие не успевших спрятаться мужиков, баб, скотину и почти уже скрывшие от Саши весь обитаемый мир, вдруг раздвинулись и вышел из них невысокого роста, стройный, подтянутый человек. На голове — черный берет. На ногах сапоги невиданного фасона. И одежда странная.

Лицо подвижное, ироничное. Так и ждешь, что анекдот свежий тебе расскажет. О таком человеке можно говорить с товарищами — мол, пил я

тут с одним, так он такого дрозда давал...

Человек, вышедший из зарослей тростника улыбнулся. Зубы белые на смуглом лице. Бородка модная, эспаньолка.

Александр Ульянов, долго искавший и, наконец нашедший свою единственную любовь готов был защищать ее. Александр Ульянов схватился за корягу.

Смуглый парень усмехнулся. Повел плечом. Ствол автомата устоялся черным зрачком на Ульянова-младшего. Страшно Саше не было. Слишком высокая мушка, слишком игривая. Несерьезная какая-то. На винтовках мосинских мушки не такие. На трехлинейках — настоящих, для серьезной войны предназначенных на них и мушки серьезные — маленькие, деловитые, решительные и внимательные мушки. Мушки которые не пропустят врага. Они уткнутся в него, зацепятся за пуговицу на гимнастерке, они просто заставят стрелка метить туда, куда нужно.

А эта мушка — какая-то клоунская. Высокая, дурашливая, как тулья фуражки Пиночета.

Саша улыбнулся. мушке-дурашке.

— Меня зовут Эрнесто, — сказал смуглый парень. — А ты кто?

— Саша, — сказал Александр Ульянов.

— Саша? А есть ли будущее у тебя, Саша? — после короткой паузы спросил Эрнесто. — Саша, как ты думаешь?

— Есть. Потому что я знаю... Я знаю, как сделать, чтобы всем было хорошо, — сказал Саша.

— Неужто, — Эрнесто пощуровал в кармане. Вытащил горсть патронов. Пересчитал, ссыпал обратно. — И как ты это видишь?

Саша напряженно думал. Мысли плавали в голове, как жирные налимы. Если их погрузить в деготь. Там бы им было лучше. В черном, вязком дегте. Медленно-медленно, лениво шевелили бы они в крошечной тьме дегтярной субстанции черными жабрами. Налимы. Слово-то какое. НАЛИМЫ... Тяжелые, скользкие, вялые рыбы — что с ними делать? Не смотреть же на них? Только жрать. Сидючи за столом, покрытым белоснежной скатертью, ожидать, когда Глаша принесет из кухни блюдо с налимами, фаршированными мелкими, проворными дроздами. Убитыми в полете, чтобы жизнь в них не успела замереть, почти еще поющими. Так — бах! — в полете, он, дрозд, и не понял ничего, не успел — а его уже к столу тащат — вот, извольте, господа, дрозды, жрите, почти живые, жрите, вкуснотища, господа, час назад еще летали, а как блюдо называется? о-о-о... русское национальное блюдо, прерванный, кхе-кхе, полет.

— Ничего ты не сделаешь, — сказал Эрнесто. Устало сказал. Как будто

не молодой был мужик, а старичок ветхий, уставший жить. — Ничего. Тебя повесят. И будут правы.

— За что, — изумленно спросил Александр. Меня — за что повесят? Я же ничего такого...

— За бездарность, — улыбнувшись сказал Эрнесто. — Понял? — Он подошел, присел рядом. — Затянуться-то дайте.

— Так все уже, — виновато сказал Саша, — «пятку» добили.

— Вот видишь, — заметил Эрнесто. — И я говорю: за бездарность. А вообще-то есть такое слово «товарищ».

— Я знаю, — сказал Саша. — В словаре Даля это слово обозначает разбойника, который со своими друзьями грабит купцов и берет товар. Оттого и «товарищ».

— Нет, — твердо сказал Эрнесто. — ты не знаешь, что именно такое «товарищ». Нет у Даля такого определения. И именно поэтому тебя повесят. А те, кто знают, кто поймут — те сами вешать будут. Comprendes?

А теперь, пока, ребята.

Эрнесто поднял автомат и грохот очереди ударил по сашиным ушам — словно водой холодной из ведра окатили. Да несколько раз.

«Господи, — подумал Ульянов. — Господи, должно быть, это сны какие-то ко мне являлись. Вот, Глаша рядом сидит, задремал я, видимо, на берегу... Водки лишку хватил..».

— Барин, птичек-то возьмете домой? — спросила Глаша.

— Птичек? Каких еще птичек?

— Так вот же.

Ульянов открыл глаза. Глаша держала в руках маленьких, симпатичных дроздов со снесенными головами. Тушки держала.

— Домой понесем, барин, или здесь бросим?

— А кто их подстрелил-то? — тихо спросил Ульянов.

— Ну как это — кто? Че.

— Какой еще «Че»? Что за «Че»:

— Ну, Эрнесто-то, Эрнесто...

Глюк. Это именно то, о чем Володя говорил. Много раз. Неужели этот глюк — настоящий? Конечно, галлюцинации разные могут быть, но чтобы так реально?...

Тушки дроздов оттягивали руки. Надо же — маленькие, а какие тяжелые.

Это ж какой калибр должен быть у пуля, чтобы вот так, напрочь головы снести?

— 7.62, - не задумываясь ответила регулировщица Глаша и сунула под

мышку красный флажок



## Глава 2. Огурец

*Не сын ли это ваш, милорд?*

*У. Шекспир. Король Лир*

На Петровской набережной нахимовцы жрали скумбрию.

«Рыбкой пахнет», — мог бы сказать какой-нибудь гуляющий в этот погожий августовский день по площади Революции маленький мальчик, а папа или мама, контролирующие его действия и следящие за безопасностью своего чада объяснили бы ребенку, что это за рыбка, где она водится и как отважные рыболовы добывают ее из суровых морских глубин.

Сын же, одетый в веселенький серый, а, возможно, случись так, что сегодня у него был бы какой-нибудь личный, вроде дня рождения, праздник, синий костюмчик, кивал бы стриженной головкой и мотал на гипотетический ус.

Однако не было на площади Революции ни мальчиков, ни девочек — все они сидели за школьными партами, а те, что не сидели — лежали. Лежали дома, используя единственную возможность на некоторое время забыть о школе, институте или ПТУ, а именно — получить у врача справку о болезни. Некоторые, конечно, не лежали и справки их были получены обманным путем, но числом своим они наверняка уступали детям честным, порядочным и обязательным.

В порядке вещей было отсутствие на улицах среди рабочего дня мальчиков и девочек, подростков и отроковиц — те, что иной раз и попадались взгляду деловитых прохожих, выглядели настороженными и вызывали у прохожих же мысли о том, что совесть праздношатающихся детишек явно не чиста, что они, скорее всего, прогуливают часы занятий и, тем самым, достойны всеобщего презрения и, даже, порицания.

Вообще, улицы города выглядели довольно пустынными. Взрослым, ведь, хотя и не нужно было ходить в школу, но на работе присутствовать следовало ежедневно. Поэтому вонь, распространяемая группой нахимовцев, невесть по какому случаю оказавшихся в тот день не в Училище, а на Петровской набережной не смутила обоняния ни детей, ни взрослых — площадь Революции, по крайней мере, та ее половина, что ближе к Неве, была пуста. Теплый ветер гнал низкие облачка пыли по

гравийным дорожкам, тихо шелестели листья деревьев и не было на площади не то, что людей, но даже собак и кошек.

Высокий юноша, нетвердыми шагами следовавший через площадь по направлению к Кировскому мосту чувствовал себя в этом одиночестве двояко — с одной стороны, его радовал хотя бы внешний покой — о внутреннем говорить не приходилось, не было его, внутреннего покоя — но, хотя бы, никто перед глазами не маячил, не путался под ногами, не толкался и не шипел вслед каких-нибудь гадостей, что было для одинокого юноши делом обычным. С другой — странное беспокойство овладевало им, и, чем ближе подходил он к набережной, тем более оно усиливалось.

Фамилия единственного прохожего, случившегося в этот час на площади Революции, была Огурцов.

Хоть и был он, Огурцов, человеком увлекающимся, склонным более к романтическому взгляду на окружающую его действительность, нежели к трезвому ее анализу, однако кое-какой жизненный опыт имел и этот опыт говорил ему, что чем ближе он подходит к млеющим юношам в форме, тем больше вероятность того, что его стошнит прямо посреди площади Революции — стошнит истохо, с земными поклонами, с кашлем и стонами, стошнит громко и живописно.

Разумом Саша (так звали Огурцова) понимал, что нехорошо это, если стошнит его прямо посреди площади Революции, нехорошо, опасно даже. Могут и в милицию забрать, а встретить начало дня в милиции — это уже совсем никуда не годится. Однако, ноги сами несли его в сторону гранитного парапета, навстречу теплому ветру с запахом рыбы холодного копчения.

Запах этот был приятен Огурцову, он напоминал о прохладе и спокойствии пивного бара «Янтарный», о ледяном «жигулевском» и хрустящих ржанных хлебцах, о брынзе и сушках, о неспешной, через глоток, беседе со случайным соседом по столу. О том, с чего все вчера началось. Да и не только вчера. Большинство из того, что случилось за последние полгода с Огурцовым начиналось именно в «Янтарном».

Оставалась еще призрачная надежда на то, что нахимовцы, своей вонючей скумбрией не заметят Огурцова и он проскользнет мимо них без ощутимых потерь — моральных или физических, в данном конкретном случае было неважно. Ибо с похмелья для него что душевные травмы, что телесные увечья — один черт.

Но выписывать по площади петли, менять направление, обходить наглых в своем упоении пищей нахимовцев стороной было совершенно не в его характере. Да и сил, в общем-то, для маневра было недостаточно.

Иссякли силы за ночь. А еще тошнота...

Нахимовцы, еще секунду назад солидно похохатывающие, замолчали.

Огурцов шел прямо на них, будучи не в силах изменить направление.

Каждый поворот нужно было готовить загодя и очередной был намечен им в нескольких шагах от крайнего — самого из всех отвратительного, с хорошей комсомольской осанкой и мерзейшим белесым лицом с крупными, но, удивительным образом, незапоминающимися чертами, с лицом-плакатом, лицом-лозунгом, с лицом-субботником и воскресником одновременно.

Человек с таким лицом должен быть лишен всех естественных потребностей и качеств. Такого человека невозможно представить сидящем на унитазах, ругающимся матом или стоящим у пивного ларька. Пьющим из горлышка бутылки портвейн его тоже вообразить нельзя. Такой человек перед тем, как лечь с женщиной в постель медленно снимает брюки, складывает их стрелочка к стрелочке и аккуратно вешает на спинку стула. Подонок, одним словом. А если двумя — полный подонок.

Нахимовцы угрожающе молчали и смотрели на приближающегося к ним, пошатывающегося и икающего молодого человека.

Когда Огурцов, уже перестав мыслить и чувствовать, проваливающийся в зеленую, холодную муть, вставшую перед глазами, поравнялся с белесолицым и хотел совершить давно запланированный поворот, чтобы проследовать направо, к Кировскому мосту, его неожиданно качнуло в сторону, он коснулся плечом идеально отпаренного кителя, икнул и, услышав за спиной чей-то возглас, все еще противясь спазмам, неловко дернулся в сторону, пытаясь уйти от прямого столкновения.

— Пидарас! — прогудел кто-то из нахимовцев хриплым, мужицким басом.

В другой ситуации Огурцов мог бы открыть дискуссию, заметить, к примеру, бодро — «Ну, пидарас. А что такое?». Или, как тогда, на пляже в Лазаревском, гордо и независимо — «Снимай штаны, знакомиться будем...».

Но сейчас егохватило лишь а то, чтобы сфокусировать зрение и выделить из зеленой, с золотистыми блестками мути, застилавшей глаза, фигуру, каким-то непостижимым образом оказавшуюся «in front».

Коренастый, плечистый увалень из тех, кто в драке выказывает неожиданную прыть и устойчивость, полную невосприимчивость к ударам и пугающую безмятежность улыбался, слегка поводил плечами и было ясно, что сейчас он нападет — безо всяких предисловий, как они это любят, немногословные, решительные, выросшие на хорошей, идеологически

выдержанной художественной литературе и незатейливых кинофильмах увальни.

\*

— Короче, думаю — все, погулял. Но боги были на моей стороне. Саша Огурцов икнул и потянулся к бутылке «Ркацетели», стоящей на полу.

— Боги, они — того... Они могут, — согласно наклонил голову Дюк, сидящий на стареньком диване и с интересом наблюдающий за манипуляциями Огурцова, который дрожащими руками разливал вино по двум мутным граненым стаканам. — Так и что же дальше?

— Дальше? Не поверишь!

— Поверю, — спокойно произнес Дюк. В отличие от своего восторженного гостя он был абсолютно спокоен. — Я, вообще, доверчивый. Ты говори, говори...

— В общем, этот урод замахивается, а меня тут как прошибет! Пополам сложило и я ему прямо на боты, ну, сам понимаешь...

— Наблевал?

— Ага, — гордо ответил Огурцов, протягивая старшему товарищу полный стакан. — Прямо на боты, — повторил он. — Ну, поехали?

— Давай.

Дюк смотрел, как быстро и жадно пьет Огурцов и думал, что этому парню осталось совсем немного до того, когда он превратится в законченного алкоголика. А алкоголиков Дюк не любил, хотя, заяви он об этом прилюдно, слова его для многих прозвучали бы, по меньшей мере, парадоксом.

— Так что же? А нахимовцы эти?

— Нахимовцы? Брезгливы, знаешь ли, оказались. Дали мне пендаля и все. Сказали — «Иди, пидор, пока не убили тебя».

— И ты пошел прямо к «ши-цзы».

— Как ты сказал? Шизеть?

— Нет. Я не сказал — «шизеть». Сказал — ты пошел к «ши-цзы».

— Это что такое?

— Это такие каменные изображения мифологических львов. «Ши-цзы».

— А, что на набережной?

— Совершенно точно.

— А они, что, китайские?

- Люби и знай родной город. Из Маньчжурии вывезены в начале века.
- Е-мое. Откуда ты все знаешь-то?
- Живу давно.

Огурцов покачал головой, посмотрел на Дюка и искренним уважением.

— Вообще, у Вилли на работе со мной всегда случается всякая мутота, продолжил он. — Однажды, представляешь, какая история была?

— Какая? — Дюк пожал плечами. Огурцов начал ему надоедать. Мало того, что без звонка, среди бела дня, с вином, это, ладно. Молодой, не очень воспитанный, это стерпеть можно. Не такое терпели. Опять же — вино вещь вполне неплохая. Но то, что приходится за это самое вино принимать на себя потоки молодежного словесного поноса — это уже лишнее. Сравнительная ценность двух бутылок сухого и двух часов огурцовой болтовни явно показывала, что вина в данном случае могло бы быть и побольше.

— Какая? — повторил Дюк.

— Да, тоже, с Шебой нажрались у него... Остались ночевать. Точнее, я остался, Шеба уехал.

— Ну?

— Ну вот. Утром встаем, Вилли нужно еще смену сидеть, он там кого-то подменял... А меня что-то приперло — куда-то ехать мне, что ли, было необходимо или что — уже не помню... В общем, выхожу я на улицу, с бодуна, ну, никакой просто. Как сегодня. То есть, идти могу только по прямой. И смотреть только вперед. Типа, если в сторону голову поворачиваешь — сразу тошнить начинается. Мутит.

— Так и что? — нетерпеливо спросил Дюк.

— Таки вот, — с деланным еврейским акцентом продолжил Огурцов. Короче, иду по набережной, чувствую — что-то не то. Что-то не так. Дискомфорт какой-то.

— Ну, еще бы. Дискомфорт — не то слово, — зевнув, сказал Дюк чтобы хоть что-то сказать.

— Ага. Так хреново, знаешь, мне последнее время делается.

«А ты пей побольше, — подумал Дюк. — Еще не то будет».

— Да, знаешь, потею по ночам, страшное дело. Глюки какие-то идут... То голоса слышу, то еще что... Шаги на лестнице, всякая такая ерунда...

— Так что же там, на набережной?

— А-а... Ну да. В общем, что-то, чувствую, странное вокруг меня происходит. Ну, напрягся, голову поворачиваю, гляжу на Неву...

Огурцов сделал многозначительную паузу и развел руки.

— Глядь! А там — вода одна.

— А что там еще должно было быть? — лениво спросил Дюк.

— Ну, елы-палы! Что напротив Виллиной работы стоит? «Аврора», мать твою! А я гляжу — «Авроры» — то и нету! Врубаешься? Все есть — мост, машины ездят, люди ходят — как будто так и надо. Все вокруг в порядке, а «Авроры» нету! Тут у меня крыша и поехала... «Авроры» нет!

Огурцов смотрел на Дюка вытаращенными глазами, показывая всем своим видом, что отсутствие революционного крейсера на месте его вечной стоянки произвело на него самое сильное впечатление.

— Не понял. То есть, как это — нет? Глюки, что ли, у тебя были? Натуральные?

— Да какие там. на фиг, Глюки! Ее и не было в натуре! Потом я узнал, что ночью ее на ремонт увезли. Куда-то там, — неопределенно махнул рукой Огурец. — Но я-то этого не знал? Врубаешься, какая фигня?

— Да...

Дюк усмехнулся.

— Тут может крыша поехать.

— Может... Не то слово — может. У меня и поехала. Я на полусогнутых обратно к Вилли... Ну, он мне объяснил все, слава тебе, Господи... А то и не знаю, где бы я день закончил. На Пряжке, может быть...

«А тебе бы полезно было на Пряжке месячишко полежать, отдохнуть», подумал Дюк. — «Глядишь, в себя бы пришел. Бухать бы перестал...».

— Вилли... Вилли у нас газеты читает. В курсе. Так сказать, событий находится, — продолжал Огурцов. — Ты-то, вот, знал, что «Аврору» ремонтируют?

— Нет. Не знал, — спокойно ответил Дюк. — Какое мне дело до вашей вонючей «Авроры»?

— Она такая же моя, как и твоя, — встрепенулся Огурцов. — Мне до нее тоже дела нет, между прочим.

— Так чего же ты так расстроился, когда ее не обнаружил?

— Я не расстроился... Я... Как бы это...

— Вот я бы...

Дюк медленно поднялся и вышел из-за стола.

— Я бы радовался как дитя, — заговорил он, пройдясь предварительно по комнате, выглянув в открытое окно и сплюнув на улицу. — Я бы, наверное, кончил, если бы «Авроры» не увидел. Заколебала! Стоит, ведь, сука, на самом видном месте. Как бельмо на глазу. Одно слово — гадость. А ты расстроился... Не гоже, друг мой, не гоже из-за такой пакости нос

вешать. Странно даже.

Он пристально взглянул на своего гостя. Тот заерзал на стуле.

— Да нет же, Леша. Ты меня неправильно понял...

— Пустое.

Дюк взял с пола опорожненную бутылку, посмотрел сквозь нее на Огурцова.

— Пустое, — повторил он улыбнувшись и лениво, медленно поведя рукой, бросил ее за спину, в открытое окно, выходящее на людный в это время дня Суворовский проспект. С высоты шестого этажа бутылка летела долго и Огурцов с неожиданно пришедшим и заставившим его мгновенно протрезветь страхом ждал — звякнет ли она об асфальт, или дело примет совсем другой, страшный и непредсказуемый оборот.

\*

Саше Огурцову было двадцать три года. Выглядел он значительно моложе своих лет и, несмотря на то, что вел достаточно беспорядочный образ жизни, такой, который, пожалуй, мог совершенно подорвать здоровье и, уж, во всяком случае, оставить на лице молодого человека характерные следы, больше двадцати с первого взгляда ему не давал никто. Продавщицы же в магазинах, или просто случайные люди порой называли его «мальчиком», что Огурцова иной раз обижало, а чаще — веселило.

Что касается следов разгульной жизни, то окружающие реагировали на них довольно примитивно. «Какой ты бледный и худенький», — говорили окружающие, не подозревавшие, что бледность и худоба эти — не от болезней или немощи. Скорее, напротив. От излишнего жизнелюбия и, в некотором смысле, раблезианства, свойственного Огурцову по крайней мере, в отношении алкоголя.

Эту же фразу произнесла и бабушка, сидящая за стеклянным барьером в регистратуре психо-неврологического диспансера, куда пришел Огурцов, вы какой-то момент поняв, что учеба в институте несовместима с тем образом жизни, который казался ему единственно возможным и правильным.

— Какой вы бледный и худенький, — печально сказала полненькая, розовощекая старушка. Огурцов потом уже, спустя месяцы, с удивлением думал о том, что все, имеющие касательство к психиатрии, ну, по крайней мере все те, кого он встречал лично — и врачи, и санитары, и даже вот такие бабушки-регистраторши, гардеробщицы и уборщицы были как на

подбор розовенькие и, если не сказать, «жизнерадостные», то, во всяком случае, вид имели вполне цветущий.

— Жизнь такая, — пожал плечами Огурцов.

— Господи, да какая у вас жизнь? Видели бы вы жизнь, — возразила старушка, впрочем, очень тихо возразила. Почти неслышно. Так, чтобы не обиделся молодой человек, пришедший на прием к психиатру.

Огурцов тоже промолчал, решив не растрачивать впустую запас знаний, полученный из книг, описывающих симптомы и методы лечения различных душевных расстройств и болезней.

Доктор Ленько оказался таким же розовеньким и кругленьким, как бабушка-регистраторша, доктор Ленько был улыбчив, совершенно лыс, рост имел небольшой, даже, можно сказать, маленький, потирал ручки и поблескивал черными глазками из-под толстых линз в грубой роговой оправе, доктор Ленько постоянно сморкался, утирая свой добрый, какой-то домашний нос просторным, белым в синюю клеточку, платком.

— Что случилось, молодой человек? — весело спросил доктор Ленько и Огурцов вдруг понял, что вся та информация, которую он собирался на него вывалить, дабы убедить врача-психиатра в полной своей невменяемости ему не пригодится. Глаза Ленько, спрятавшиеся в сеточке веселых морщин были серьезны. И говорили эти глаза о том, что их хозяин не нуждается в исповеди молодого человека, пришедшего к нему на прием. Что исповедей, подобных той, что приготовил Огурцов, он наслушался за свою жизнь предостаточно и они ему наскучили своим однообразием, наскучили, если не сказать больше — утомили и озлобили.

— Так что же? — спросил Ленько уже чуть строже. — Излагайте. Я вас слушаю.

— Понимаете, — начал Огурцов. — Дело в том, что...

— Ну-ну, — подбодрил доктор. — В чем же дело?

Огурцов, взгляд которого прежде блуждал по кабинету, изучая его довольно скудное убранство — казенный, дешевый письменный стол, шкаф с мутным стеклом, за которым виднелись пустые полки, пузырящийся линолеум на полу — взгляд его остановился на глазах Ленько.

— Дело в том, — неожиданно для самого себя сказал Огурцов, — дело в том, что я не могу ходить в институт.

— Почему же так?

— Не могу и все. Не знаю, что со мной. Я ничего не помню...

— В каком смысле, — заинтересованно спросил доктор Ленько.

— В прямом. У меня специализация — вычислительная техника. Так я



не то, чтобы Фортран и Алгол не помню, хотя — чего там, казалось бы помнить, — я даже интегральные уравнения решать не в силах.

— Я тоже, — сказал доктор Ленько, блеснув линзами очков.

— Я, понимаете, кроме ленинских работ не помню, ровным счетом, ничего. Как со школы мне в голову вбили — «Империализм и эмпириокритицизм», «Советы постороннего» и «Детскую болезнь левизны...»

— Достаточно, — заметил доктор Ленько.

— Да нет, недостаточно! Левизны в коммунизме! А потом, — Огурцов перешел на шепот. — Потом стал я интересоваться — во что одевался Ильич, а во что — брат его, Сашка...

В голосе Огурцова появились патетические интонации.

— Что ели они на завтрак... Представляете — просыпаются Ульяновы — отцу на службу пора, Вовке — Вовке в гимназию. Александру — тоже пора... Ведь, не натошак же пойдут! Обязательнопокушают. А во сне мне Глаша стла являться...

— Кто-кто? — спросил доктор Ленько.

— Глаша... Горничная их. Вот плывет она этаким лебедем по столовой, а в руках... В руках — котел с кашей гречневой... А Ульяновы — сидят, ждут, когда Глаша их обслужит... И она обслуживает — сначала Илью Александровича, потом Сашу. Потом... А, вообще-то я...

Тут Огурцов почувствовал, что сейчас, когда он дошел до Володи, очень легко может съехать к изложению вызубренных симптомов маниакально-депрессивного психоза, но Ленько был специалистом опытным и не дал пациенту опуститься до скучного вранья. В душе он был эстетом и красочное описание завтрака семьи Ульяновых его даже слегка растрогало.

— Ладно, ладно, — спокойно заметил доктор Ленько. — Ничего такого с вами особенного не происходит. Ну, не нравится институт. Большое дело. Уходите. Идите в армию.

— Да какая, к черту, армия? — вскричал Огурцов. — Вы можете, хотя бы на секунду, представить себе Володю Ульянова в армии?

— Нет, — често ответил доктор Ленько.

— Хорошо. Уже лучше, — заметил Огурцов. — А Сашу?

— Какого Сашу? — растерянно спросил врач.

— Ну, Ульянова, — входя во вкус начал заводится Огурцов. — Ульянова Сашку! В армии! В казарме! Носки стирающего дедам! В красном уголке, зубрящим устав вы можете себе его представить?!

Огурцов не собирался говорить об армии столь эмоционально, он

вообще не собирался о ней даже упоминать.

— Так какая же, какая же, к черту армия, в таком случае, — крикнул Огурцов, понимая, что сейчас его отправят из спасительного кабинета восвояси.

— Обычная, — спокойно ответил Ленько. — Обычная армия. Советская. Все служат. А что такое?

— Да не могу я в армию, — окончательно утратив контроль над собой, как-то плаксиво почти прошептал Огурцов. — Что вы? В армию... Я там вообще сдохну. Я и погон-то не различаю... Кто там унтер-офицер, кто штабс-капитан....

— Выучат, — заметил доктор.

— Ну, допустим. Но, как же я, пардон, простите за выражение, по большой нужде буду в ров ходить? Вернее, орлом сидеть? Я не неженка, поймите меня правильно, но не могу я это... как сказать... Публично испражняться. И вообще...

— Что — «вообще»?

— Вообще мне люди... Меня люди...

— Раздражают?

— Ага. Даже очень. Иногда просто противно... Вот и Володя Ульянов...

— Так-так. С этим понятно, — зевнув, сказал доктор Ленько. — А дома как дела?

— В каком смысле?

— Ну, родители, обстановка? Ладите?

— Отца нет, — ответил Огурцов. — Умер, когда мне шесть лет было. Мама учитель. Но я редко дома бываю...

— Что так? Проблемы?

— Да нет. Просто мы с ней разные люди. Как Володя с Сашей...

— Ладно, про Володю с Сашей мы уже слышали. Так что ты от меня-то хочешь, — Ленько заглянул в карточку, лежащую перед ним на столе, — Саша? Что ты хочешь от меня?

— Того же, что Саша Ульянов хотел от всех. От всех людей на земле... Помощи.

— Какой помощи?

— Хочу... Поправиться. Саша, вот, тоже хотел, да не дали ему. Не успел...

— А ты чувствуешь себя больным?

Огурцов уставился в пол. Он не мог найти нужных слов. Все то, что он представлял себе, когда шел в диспансер «сдаваться», как принято было

говорить среди его знакомых, оказалось пустыми фантазиями. Кажется, этот ушлый доктор раскусил его еще в тот момент, когда Огурцов только открыл дверь кабинета. Конечно. Не он первый, не он последний. Сколько уже «закосило» армию «сдавшихся в дурку», сколько еще придет сюда молодых людей, изображающих из себя душевнобольных — конечно, этот доктор Ленько все уже повидал и все знает. Пустой номер, одним словом. Фокус не удался.

— Ну, так.

Ленько побарабанил пальцами по столу.

— Хочешь в больницу лечь? Обследуем тебя, если ты себя так плохо чувствуешь, то надо что-то делать... Лечить. Да?

— Лечить... Да. Наверное. А то, знаете, так все тошно... Как в преддверии революции. Когда низы, там, верхи... Ну, вы в курсе.

— Да, я в курсе, — кивнул доктор. — Хорошо.

Ленько низко склонился над столом и начал что-то быстро писать в девственно чистой карточке Огурцова.

— В больницу? — робко спросил пациент, начиная внутренне трепетать.

— Нет. Зачем тебе в больницу? — подняв голову спросил Ленько. — Не нужно тебе в больницу. Без больницы, бог даст, управимся.

Ленько протянул Огурцову бумажку.

— Это адрес. Дневной стационар. Завтра к девяти утра приходи.

— А что это такое — дневной стационар? — на всякий случай насторожился Огурцов.

— Ничего страшного. Понаблюдают тебя, ты походишь туда... С девяти до трех каждый день кроме выходных. Успокоишься... А там посмотрим. Больничный тебе выпишу. Ну, то есть, справку для института. Все. Более не задерживаю. Только — про Володю и Сашу больше не говори никому.

— Я не смогу, — начал было Огурцов, но Ленько сверкнул очками как-то уж очень жестко.

— Сможешь. Понял меня?

— Понял, — потупившись ответил Огурцов и вышел на свободу.

\*

— Что, испугался?

Полянский внимательно смотрел на Огурцова.

— Ну, Леша, ты вообще... Там же люди могут быть... Ты с ума сошел.  
— Прибздел?

Огурцов встал, подошел к окну и выглянул в него сбоку, прижавшись спиной к стене, как делают персонажи советских шпионских фильмов.

— Ну что там? — весело спросил Полянский.

— Ничего... Слава Богу...

— Бог здесь не при чем, — заметил Дюк.

— Да? А что — при чем?

— Расчет и наблюдательность. Просто я, ты вот не заметил, а я секунду назад в окно выглядывал. И видел, что никого там нет. Ты-то на это внимания не обратил.

— Ну, как это?..

— Да так. Ты, Саша, когда говоришь, становишься таким глухарем. То есть, слышишь только себя. Ничего не замечаешь, ни на что не обращаешь внимания. Реагируешь уже пост-фактум.

— Ну и что? — надулся Огурцов. — Ты что мне, мораль решил читать? Не надо, Леша. Не надо. Я что, сделал что-то не так? Ненавижу, когда из окон бутылки бросают, ненавижу! Жлобство это.

— Ну, жлобство, так жлобство. Это еще очень спорный вопрос, что есть жлобство и кто есть жлоб.

Огурцов хотел ответить, но сдержался. Дюк явно провоцировал его, вызывал на ссору, а ссориться Огурцову не хотелось. Не хотелось ему покидать уютную комнату Полянского, опять идти на улицу, неведомо куда — а здесь хорошо, спокойно, музыка хорошая, чаек-кофеек, опять-таки, может быть, кто-нибудь в гости зайдет, выпить принесет.

Он вернулся в кресло, уселся в него поудобнее, вытянув ноги в мягких домашних тапочках, потянулся и огляделся по сторонам.

Комната Дюка нравилась Огурцову своей абсолютной непознаваемостью. Он бывал здесь уже много раз и каждое следующее посещение приносило ему новые, неожиданные открытия.

Помещение, где проживал Алексей Полянский уместнее было назвать залой на взгляд Огурцова, площадь комнаты была значительно больше тридцати квадратных метров. Ненависть соседей к непутевому жильцу, отчасти, и обуславливалась размерами занимаемой Алексеем жилплощади, которую они в частных беседах иначе как «хоромами» никогда не называли.

Несмотря на свои внушительные размеры, комната Полянского выглядела тесноватой — столько было в ней вещей, мебели, да и не только мебели — от прямоугольной формы помещения не осталось даже

воспоминания, так оно было загружено всяческими ширмами, шкафами, полками, столиками и столами, стойками с радиоаппаратурой, но это все еще куда ни шло.

Помимо того, что, собственно, должно бы находиться в жилой комнате, как бы экзотично не выглядела та или иная вещь, к примеру, чучело медведя или голова оленя, торчащая прямо из простенка между окон — это, как говорят театральные режиссеры, «может быть».

Но небольшой переносной забор, какими обычно ограждают толстых женщин в оранжевых жилетах крушащих ломами асфальт на проезжей части улицы, от основного потока автотранспорта никак нельзя было назвать обычным предметом обстановки.

На секции забора, которая стояла в комнате Полянского рядом со входной дверью висел знак — «кирпич», указующий на то, что проезд транспорта за знак не разрешен. За знаком, собственно, находилось, как называл эту часть комнаты хозяин, отделение «для сна» — за несколькими разнокалиберными ширмами среди которых была одна очень дорогая, по крайней мере, с виду старинная, с золотой вышивкой по синему, шелковому полю. Рисунок, впрочем, настолько потемнел от древности и неизбежной городской пыли, что если пристально не вглядываться в него, то непонятно было, изображены ли там китайские драконы или древний художник просто оставил на ширме какие-то надписи на санскрите, возможно, назидательного характера. Внимательный же исследователь, поработав мокрой тряпкой и набравшись терпения, смог бы докопаться до истины и выяснить для себя, что ничего назидательного, равно, как и представляющего интерес для фольклориста, зоолога или ботаника на ветхом шелку изображено не было. Напротив, очень легкомысленной оказывалась при внимательном рассмотрении ширма — голые женщины, причем, изображенные не очень искусно, а, скорее, кое-как, впопыхах, неряшливо и неталантливо голые женщины золотой нитью были вытканы на ней.

В отделение «для сна» Огурцов никогда не заходил — эта часть комнаты не предназначалась для чужого глаза, разве что некоторые из дам, посещавших гостеприимный дом Полянского удостаивались чести оказаться в святой святых но никаких отзывов о таинственном «для сна» от них никто никогда не слышал. Возможно, молчание это было вызвано особенностями физиологии Полянского, или чего-то другого — но никто, из посетивших «для сна» дам ничего об этом месте не рассказывал, напротив, они словно бы старались не вспоминать о случившемся и всячески уходили от темы, когда она неожиданно всплывала в девичьих

задушевных беседах.

За забором, украшенным знаком, запрещающим движение, всегда было темно — многочисленные ширмы и шкафы, отгораживающие берлогу Полянского от всех и вся скрывали от посторонних глаз то, что таилось в отделении «для спанья». Часть потолка над «спаньем» была затянута темным шелком, вероятно, украденным из какого-нибудь театра или дома культуры, ибо, к слову сказать, Полянский никогда ничего не покупал в магазинах. Кроме еды, разумеется. Хотя и еду, большей частью, доставал окольными, неведомыми и удивительными для простого смертного путями.

Драпировка на потолке и создавала иллюзию, что комната имеет неправильную форму — шелк был натянут как-то косо, уходя вниз, в темноту отсека «для спанья».

Но забор был только первой необычной деталью обстановки, что попадалась на глаза вошедшему в логово Полянского.

Второе, что видел посетитель, были две чугунных урны для мусора пузатых, тяжелых даже с виду — непонятно, кто проявил чудеса ловкости и силы, чтобы затащить их сюда — на пятый этаж по узкой лестнице с вечно неработающим лифтом, уж, всяко, не сам Полянский, который ненавидел любой физический труд лютой ненавистью. Но, дальше — больше.

Обогнув урны, можно было наткнуться на небольшого мраморного льва сродни тем, что расположились для вечного отдыха на многочисленных набережных бесчисленных питерских рек и речушек, была в комнате еще скамейка-качалка, вероятно, вынесенная с территории какого-нибудь детского сада, рыцарские доспехи, части театральных декораций, утративших свою изначальную художественную нагрузку и теперь служившие чем-то вроде стен-перегородок.

Собственно стены, заклеенные в несколько слоев плакатами с фото английских и американских рок-музыкантов, репродукциями картин, газетными вырезками, картами Москвы, Ленинграда, Манхэттена, схемами линий метро лондонского, берлинского и, для комплекта, киевского, коллажами, которые Полянский с похмелья, по настроению, выклеивал из журнальных фотографий, значками и треугольными кумачовыми вымпелами — «Герою Социалистического Труда», «Бригада Коммунистического Труда», «Ударник» и другими, все больше отмечающими трудовые заслуги неведомых героев, фотографиями друзей и знакомых в разнокалиберных рамочках, картинами, принадлежащими перу, кисти, карандашу или просто пальцам этих же знакомых и черт-те знает чем еще стены, в силу такой насыщенности посторонними объектами тоже давно утратили первозданные ровность и гладкость и были больше под

стать древесной коре.

Чтобы проникнуть ближе к окнам, где и находился письменный стол, один из многочисленных диванов и мягкое кресло, то есть, на тот участок, в котором расположились сейчас Полянский и Огурцов нужно было, миновав входную дверь, совершить несколько крутых поворотов, дабы обогнуть все предметы обстановки, встречающиеся на пути. В результате этого представление о сторонах света и вообще, о положении своего тела относительно коридора, лестницы и даже проспекта затуманивалось и только человек, много и часто бывавший в комнате Полянского мог с уверенностью сказать, где север и, соответственно, юг, где дверь в коридор и куда нужно поворачивать, чтобы попасть в коммунальный туалет.

Хозяин помещения обычно терялся в пестроте своего интерьера ибо и сам полностью ему соответствовал — круглые очки, длинные светлые волосы, бородка и усы, скрадывающие черты его лица, одежда и бижутерия, состоявшие из многочисленных цветных деталей и, порой, заменяющие друг друга — жилеточки, шейные платочки, браслеты, кольца на пальцах, мягкие, с вышивкой мокасины или раскрашенные кеды, широкие ковбойские пояса — пестрота костюма хозяина комнаты сливалась с анархистским цветовым беспорядком помещения и свежий человек, бывало, не сразу замечал Полянского, сидящего в кресле с трубкой в руке и, по обыкновению, почесывающего вьющуюся бородку.

«Нет, не буду ссориться, — подумал Огурцов. — Не стоит портить день».

Он блаженно потянулся и хотел уже было поинтересоваться у хозяина, не сбегать ли ему за винцом. За счет Полянского, разумеется. Однако в следующую секунду снова, как и тогда, увидев, брошенную в открытое окно бутылку, испытал приступ настоящего ужаса.

Невероятно громкий, знакомый и очень грубый звук заставил Огурцова дернуться всем телом и проглотить начало фразы «А не усугубить ли нам, милый друг?...».

Саша любил иногда, подвыпив, выражаться вычурно и мило-старомодно. Вообще, кроме музыки «Секс Пистолз», пива и неразборчивого, с едва различимым налетом садомазохизма, секса он любил книги писателя Гончарова, фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» и тихие летние вечера на Карельском перешейке, когда не хотелось даже думать об алкоголе или чем-нибудь еще таком же паскудном и необязательным для простого человеческого счастья.

Огурцов мог поклясться, что в комнате, включая таинственный отсек «для спанья», кроме него и Полянского нет ни души.

И, тем не менее, совсем рядом Сашей кто-то громко блевал. Громко и чрезвычайно развязно. Так себя вести может позволить либо хозяин квартиры, либо какой-нибудь уж совсем потерявший ориентацию во времени, пространстве и социуме, обнаглевший и забывший честь, стыд и совесть гость-невежда.

Людей такого сорта в квартире Полянского не бывало и Огурцов это знал. Сам же Дюк, хоть и неприметно выглядел на фоне убранства комнаты, но, тем не менее, сидел напротив Огурцова и вовсе его не тошнило, не рвало с кашлем, ревом и ритуальными алкогольными завываниями, напротив — он ехидно улыбался, поблескивал стеклами круглых очков и спокойно почесывал бородку.

Огурцов быстро огляделся, даже заглянул себе за спину, но ни одной живой души в комнате не увидел. Но невидимка ревел, отрыгивал, кашлял, дышал в коротких промежутках между приступами рвоты совсем рядом и эта близость к неопознанному, невидимому гостю выводила Огурцова за грань понимания реального мира.

— Что это? — дрожащим голосом спросил Саша, не решаясь опуститься на стул. — Что это, Леша?

— Это? Котик мой. Там, за шкафом. Должно, заначку утаил. Пьет, видишь ли, сука такая... Котик. Ты не бойся, Огурец, не бойся. Он не страшный.



## Глава 3. В танкере и с кейсом

*А сколько захватывающего сулят  
эксперименты в узко специальных областях!*

*В. Ерофеев. Москва-Петушки*

— Я буду в танкере и с кейсом.

— Чего?

Дюк кашлянул в телефонную трубку.

— Чего-чего? Я не понял. В каком танкере?

— Куртка такая, — после короткой паузы пояснил незнакомец, позвонивший Дюку и предложивший встретиться. — Куртка, — еще раз повторил он так, словно разговаривал с маленьким несмышленным ребенком. Или с клиническим идиотом. А кейс — это чемодан такой. Типа «дипломат». Ясно?

— Ясно, ясно, — ответил Дюк. — Значит, через полчаса?

— Да. На углу Чернышевского и Салтыкова-Щедрина.

Алексей Полянский повесил трубку, поправил очки, которые вечно сползали с переносицы и норовили упасть на пол, если вовремя не схватить их и не водворить на место.

Чаще всего это случалось по утрам и, особенно, в те дни, когда Алексей Полянский по кличке «Дюк» находился в состоянии глубокого похмелья. Полянский иногда пытался найти этому феномену разумное объяснение, но, несмотря на все усилия мысли, не нашел и решил, что, видимо, просто так Богу угодно.

Конечно, человек недалекий, не утруждающий себя долгими раздумьями и пересчетами вариантов мог бы сказать, что лицо Алексея похмельным утром, к примеру, потеет больше обычного. Однако, потливость имела мало общего с тем, что чувствовал Алексей Полянский по пробуждении на следующий день после очередной хорошей вечеринки.

Он скорее был готов признать невероятную возможность того, что голова его с похмелья сжимается и становится, соответственно, меньше на один — два размера и именно из-за этого, а не в следствие банальной потливости сползают по утрам с переносицы его очки.

В самом деле — какая может идти речь о потливости, о банальном треморе или повышенном давлении, о типичных симптомах абстинентного

синдрома, Полянский с похмелья низвергался в такие глубины о которых и помыслить не мог Данте, не говоря уже о каких-нибудь спелеологах.

Пока Леша Полянский, в прошлом году закончивший филологический факультет университета с так называемым «красным дипломом» и считавшийся одним из лучших, среди молодежи, конечно, переводчиков с английского и испанского языков, пока он добредал проснувшись от постели до туалета столько проходило перед его внутренним взором видений, столько он успевал передумать, что кому другому этого хватило бы если не на целую жизнь, то, во всяком случае, на ее сознательную часть.

Утром Алексей Полянский, уважаемый и известный в литературных кругах переводчик с испанского и английского обязательно должен был поблевать. Конечно, можно было бы обойтись и без этого и Полянский знал несколько способов, помогающих справиться с тошнотой, загнать ее поглубже внутрь измотанного ночными посиделками организма, но — тогда весь день будет отравлен и испорчен. Он не принесет радости, не даст удовлетворения, в том числе и сексуального, не говоря уже о наслаждении пищей, легкой неспешной прогулкой, музыкой или хорошей книгой. Так что уж лучше поблевать, постоять десять минут над унитазом с пальцами в глотке, чтобы ускорить процесс, покашлять желчью, чем мучаться весь день. Тем более, что со временем Полянский настолько привык к этой процедуре, что она стала для него обычной гигиенической операцией, вроде бриться или чистки зубов. Причем бритье, порой, казалось даже более неприятной вещью, чем легкий утренний блев, как именовал ежедневный процесс сам Полянский

Однако, процедура — процедурой, но путь от постели до унитаза являлся для Алексея ежедневным восхождением на Голгофу с одновременным падением в самые глубины преисподней.

Воспоминания о вчерашних безобразиях занимали считанные секунды, пока Полянский вставал с матраса, лежащего на полу. Он давно уже предпочитал всем видам кроватей пол, устланный чем-нибудь мягким. Логического объяснения этому Алексей не находил, но где бы не заставал его сон — дома, в гостях или где-нибудь еще, он предпочитал засыпать, улегшись, или усевшись на пол. Это была данность, к которой все, с кем Полянский имел дело или водил дружбу привыкли и считали стремление Алексея максимально приблизиться к уровню моря вещью совершенно естественной.

Самое страшное начиналось на выходе из комнаты, в момент, когда Полянский миновал пыльную тяжелую портьеру, прикрывавшую дверь в его комнату и выполняющей помимо эстетической, функцию сугубо

утилитарную, а именно, звукоизолирующую. Совсем не обязательно было соседям знать, о чем ведутся в комнате Полянского беседы, что обсуждают его гости и что вещает сам хозяин помещения — ненужная информация, просочившаяся в коридор могла обернуться для Алексея крупными неприятностями.

Именно в те секунды, когда Полянский, откинув зеленый бархат, толкал белую, сухую, покрытую толстым слоем краски дверь, именно тогда обрушивался на него град неопровержимых доказательств его собственной ничтожности, бессмысленности бытия собственного, бытия вообще и, соответственно, его, бытия, мерзости.

Полянский в эти минуты казался себе мерзавцем такого пошиба, что места для него не находилось ни в одном из описанных в художественной литературе вариантов ада. Приближаясь к коммунальному туалету Алексей пролетал мимо счастливых, практически безгрешных весельчаков-сладоглотников, почивавших на лаврах во втором, согласно классификации Данте, круге ада. Как бы он хотел быть беззаботным, недалеким ебарем, таким душкой-сладоглотником чтобы составить компанию людям известным, можно сказать, знаменитым, симпатичным и изобретательным — Клеопатре, Ахиллу, Елене Прекрасной.

Но куда ему в дружки к Елене Прекрасной, ничтожеству, подлому трусу, уродливому близорукому бездельнику, алкашу и жадине, имеющему знания и не желающему ими воспользоваться — ладно бы, для чьей-то там пользы, а даже для своей, даже свои дела поправить — и то руки не доходят. Лень, мать ее так... Нет, не место ему рядом с Парисом, Тристаном и Ахиллом.

Полянский проходил коридором, стены которого были оклеены древними, отвратительно пыльными коричневыми обоями с каким-то диким рисунком, выходил на кухню, сверкающую мутной синевой тошнотворного цвета «морской волны» и летел, летел вниз, а вслед ему презрительно морщились скупцы, самоубийцы, расточители, насильники над собой и своим состоянием, насильники просто над собой, или содомиты, тираны, убийцы, разбойники, лихоимцы, мшелоимцы, сводники и обольстители, льстецы, святокупцы, зачинщики раздора, прорицатели, лицемеры и воры, фальшивомонетчики и предатели, все те, кто имел свое место, хотя бы и в аду, но не было места в строгой иерархии грешников для Полянского — столь мерзок он был, столь не подходил он к строгому порядку вселенной, столь глубока была пучина порока, гнездившегося в нем, что не принимали его в свой круг самые отпетые негодяи.

Так думал Полянский, открывая дверь туалета, делая последний шаг и

склоняясь над треснувшим, всегда, стараниями соседей, воняющем хлоркой, унитазом.

Вот тогда-то съезживание достигало максимального, а, точнее, минимального уровня. На протяжении всего пути от постели до туалета Алексей физически ощущал, как уменьшается в размерах. Ему хотелось спрятаться, укрыться от самого себя, самого страшного судьи и прокурора, не принимающего никаких апелляций и категорически объявляющего — «Обжалованию не подлежит!». Когда перед глазами Полянского возникал неровный, с сюрреалистическим узором солевых отложений овал унитаза Алексей чувствовал себя кем-то вроде муравья. Или — клопа. Немудрено, что очки с носа сползают. Еще не то сползет с носа клопа. Оттого на носу у клопов, практически, ничего и нет. Кроме хоботка. И хоботок этот все время, ну, когда клоп не спит веками, все время чего-то жаждет. Выпивки, например. Сангрии. Кровавого, такого, винца... Так, ведь, нету Сангрии. Приходится Агдамом себя поддерживать. Хоботок вымачивать...

Телефонный звонок застал Полянского в тот момент, когда он уже миновал собственную дверь, но до кухни еще не добрался, то есть, находился примерно между седьмым и восьмым кругами ада, то есть, пытался найти свое место между насильниками и сладострастниками.

Незнакомый абонент же, сам того не желая, облегчил проблему выбора похмельного Полянского, предложив ему, как понял Алексей из краткого диалога, стать обыкновенным кегебешным стукачом. То есть, наконец-то определиться в степени своего падения и обрести долгожданный покой.

Нескольких фраз, сказанных сухим, уверенным в себе голосом хватило Полянскому для того, чтобы понять цель и смысл предстоящего свидания с неизвестным «в танкере и с кейсом».

Однако, тошнота напоминала о себе совершенно недвусмысленно.

Полянский повесил трубку на рычаг древнего, массивного, привинченного к стене телефонного аппарата и под пристальным взглядом Татьяны Васильевны, пятидесятилетней толстой и неряшливой бабы, занимающей соседнюю с Алексеем комнату, побрел к туалету.

На улице шел снег.

Отдышавшись и утерев рот тыльной стороной ладони, Полянский посмотрел в окно.

Планировка большой коммунальной квартиры, в которой проживал Алексей, деля кров с пятью соседями была весьма своеобразна. В частности, туалетная комната была совершенно самостоятельным помещением, то есть, имела, к примеру, окно. Коридор, который заканчивался кухней и туалетом был извилист и делал несколько крутых

поворотов в результате чего выходило так, что окно туалета смотрело прямо в окна просторной кухни.

Алексей застегивал пуговицы на стареньких, мягких и во многих местах заштопанных джинсов и смотрел, как крупные белые снежинки медленно опускаются за дно угрюмого двора-колодца куда ни в какое время суток не проникали солнечные лучи и видел, как маячит за мутным стеклом кухонного окна белое, круглое как луна, бесполое лицо Татьяны Васильевны.

Дотошная соседка внимательно наблюдала за Полянским и когда их глаза встретились не отвернулась.

Выйдя на улицу Алексей, испытал незнакомое и неожиданно приятное чувство защищенности.

С одной стороны было чрезвычайно мерзко идти на свидание с молодым и, явно, нештатным гебешником. Полянский знал этот сорт людей еще по университету. Все эти члены комсомольских добровольных дружин, все эти активисты, общественники, стукающие на ближнего своего и следящие за каждым шагом не то, что простых смертных студентов, не имеющих отношения к всемогущей Конторе, но и друг за другом — порой, даже с большим пристрастием — вся эта сволочь, строящая свои карьеры на подсиживании товарищей — как они надоели Полянскому в свое время!

Он не был наивен и знал, что с окончанием высшего учебного заведения проблемы с властями не закончатся, а, возможно, наоборот, усугубятся, но, несмотря на это знание, пребывал в некотором смятении духа.

С другой стороны — в первый раз за много дней Полянский не думал о том, что любой встречный мент является для него опасностью — сейчас он не боялся ни людей в серой форме, ни переодетых в штатское, ни ушлых комсомольцев, помогающих милиции отлавливать на улицах тунеядцев, отлынивающих от всеобщей трудовой повинности, ни даже штатных агентов КГБ, шпионящих за антиобщественными элементами, разлагающими народные массы диссидентами, к числу которых Полянский причислял и себя. И, надо сказать, не без оснований.

Несмотря на то, что утренняя гигиеническая тошнота не принесла обычного облегчения — интимный процесс был отравлен телефонным звонком неведомого комитетчика — несмотря на грязь под ногами и летящий в лицо снег, который оказался вовсе не таким пушистым и легким, каким выглядел из окна, настроение Полянского стремительно улучшалось.

Одной из основных черт его характера был здоровый авантюризм и он любил бросаться очертя голову в неизвестность, не пугался ее, а, напротив.

получал удовольствие от процесса познания неведомых до поры сторон окружающей действительности.

И хотя свидание с кегешником было мало похоже на поездки автостопом в Азию или в Сибирь, что практиковал Полянский уже несколько лет, но элемент неизвестности и непредсказуемости будоражил, вбрасывал в кровь адреналин и, как ни странно, не оставлял места банальному страху.

Ему не хотелось думать о том, как он будет выкручиваться, ловчить и стараться выйти из столкновения с Органами с минимальными потерями, а то, глядишь, и вовсе без потерь. А то — если вспомнить принцип, исповедуемый Томом Сойером, принцип покраски забора, когда тяжелый, изнурительный и ненужный тебе труд превращается в легкий, необременительный и веселый способ заработка, то, вполне возможно, что с этой беседы можно будет даже что-то поиметь для себя лично. Например — информацию о том, кто же из его непосредственного окружения является стукачом. Они ведь есть, наверняка есть, их не может не быть.

Кто угодно может оказаться стукачом, любого могут подловить и поставить перед выбором — либо крупные, очень крупные неприятности, либо — вполне спокойное, тихое существование, вот это самое пресловутое чувство защищенности, которое испытывал сейчас Полянский — ни менты тебя не заберут, ни дружинники не пристанут. Точнее, пристать-то могут, но тут же отстанут. И не каждый способен сделать выбор в пользу неприятностей.

Стукачом может быть и молодой пьяница Огурец, и Леков, вечно таскающийся с марихуаной в кармане, совершенно, кажется, чуждый конспирации беспредельщик. Кто угодно. Такая сучья жизнь.

Полянский посмотрел на часы — дешевая «Ракета» на истершемся, готовом порваться ремешке болталась на худом запястье — и решил, что имеет полное право похмелиться.

В распивочной на углу Чайковского не было никого. Точнее, один посетитель имелся — низкорослый мужичок в бесформенном сером пальто стоял, отвернувшись от мира, упершись тяжелым, что ощущалось даже со спины, взглядом в стену, держа в одной руке стаканчик с водкой, в другой бутерброд с холодной котлетой.

Полянский пошарил в кармане куртки, вытащил горсть мелочи, посчитал наличность — хватало как раз на такой же набор.

«Прекрасный легкий завтрак», — вспомнил он фразу, прочитанную когда-то в одной из московских пивных.

«О чем же это было написано? — подумал он, поднося ко рту

стаканчик с водкой. — И почему — в пивной? Издевательство прямо, какое-то. Легкий завтрак...».

— Так, документики попрошу, — Полянский едва успел проглотить водку, как веселый голос за спиной прервал неспешное течение его мыслей.

— Документики, граждане приготовили.

Полянский, не оборачиваясь на, хотя и произнесенный легкомысленным тоном, но вполне властный призыв, откусил кусок котлеты, поставил стаканчик на потрескавшуюся от старости или от горя мраморную столешницу и только после этого неторопливо повернул голову.

Обычное дело. Двое милиционеров в форме, двое штатских отвратительно-комсомольской наружности.

— Давай, давай, — сказал Полянскому один из штатских. Он был явно моложе Алексея, но выглядел солидней — в своем черном толстом пальто, меховой шапке и отлично выглаженных брюках, падающих на аккуратные, сверкающие кремом ботинки, юный дружинник вполне мог сойти за сорокалетнего, хорошо сохранившегося товарища. Причем профессиональная принадлежность «товарища» сомнений не вызвала. Тем более, что, как заметил Полянский, ретивый комсомолец словно афишировал свою близость к органам охраны правопорядка — если не выше, если не к самим Органам. Афишировал и гордился тем, что он причастен. И, кажется, именно поэтому он обратился к Полянскому, а не к плюгавому алкашу, топтавшемуся возле соседнего столика.

Полянский вытащил из кармана паспорт и молча протянул дружиннику.

— Так-так... С утра пьянствуем? — спросил выглаженный-вычищенный комсомолец, не заглядывая в документ.

Полянский пожал плечами, не утруждая себя ответом.

— Пьянствуем, я спрашиваю? — повысил голос комсомолец.

— Нет, пишем маслом, — ответил Полянский.

— Чего? — не понял дружинник и воровато покосился на котлету, которую Алексей продолжал держать в руке. — Каким еще маслом?

— Паспорт верни, — спокойно заметил Алексей.

— Ага... Сейчас. С нами пойдешь, — отрезал дружинник, пряча документ Полянского за обшлаг пальто.

— А ты с работы вылететь не боишься? — ехидно спросил Полянский.

— Не понял. Ты что, грубишь, что ли? Товарищ капитан...

Дружинник быстро повернулся к милиционерам, мучавшим несчастного алкаша. Тот никак не мог найти в карманах документы,

представители закона сверлили его огненными взглядами, мужичок утирал со лба пот, краснел, бледнел, пыхтел и продолжал шарить в брюках, в пиджачке, в пальто, но ощутимых результатов эта суета пока что не имела.

— Товарищ капитан, — повторил дружинник. — Интересный экземпляр...

— Что еще за экземпляр? — спросил капитан, оставив вконец замученного мужичка на своего напарника и в два широких решительных шага оказавшись рядом с Полянским. — Где прописан? Где работаешь? Что здесь делаешь?

— Пишет маслом, он сказал, — услужливо встрял дружинник.

— Чего? Маслом?

Капитан быстро оглядел Полянского с ног до головы, заглянул ему за спину, окинул взглядом мраморный столик, осмотрел стену над головой Полянского.

— Маслом, значит? Очень хорошо. В машину его.

— У меня встреча сейчас, — сказал Полянский, отправив в рот оставшуюся половину котлеты.

— Ты как разговариваешь? — рыкнул капитан. — Ты что жрешь тут у меня? Ты, значит, поиздеваться решил?

— Да ни боже мой, — замахал руками Полянский. — У меня встреча тут просто... С одним человеком...

— С каким еще человеком?

Капитан быстро повернулся к дружиннику и, Полянский не успел заметить то ли что-то шепнул ему одними губами, то ли просто мигнул, но в следующее мгновение острая боль судорогой свела его плечо, согнула в три погибели. Он начал падать лицом вниз на истертый сапогами местных выпивох кафель, но крепкие руки дружинника удержали его в нескольких сантиметрах от пола.

Он оказался хорошо подготовлен, этот комсомольский деятель — руку Полянского вывернул быстро и грамотно, как в кино, и он падения подстраховал, то есть, все проделал красиво и точно, словно на показ. Скорее всего, так оно и было — красовался дружинник перед милицией, зарабатывал поощрения.

— В машину, — услышал Полянский голос капитана — уже равнодушный, по которому было ясно, что начальник уже все решил и отговаривать, пытаться переубедить его, приводить какие-либо аргументы — дело пустое и бесполезное.

Он не видел, что стражи общественного порядка сделали с безобидным мужиком-алкоголиком из рюмочной, его же, Полянского, грубо



вытащили на улицу, встряхнули и привели в вертикальное положение. Милицейской машины поблизости не было.

— Где он? — сурово спросил капитан, обращаясь непонятно к кому. — Где он?! Мать его етти! Где, бляха-муха, козел несчастный?!

— Заправляться он собирался, — тихо подсказал напарник капитана, звания которого Полянский не знал, поскольку милиционер все время оказывался вне поля зрения Алексея.

— Заправляться? Вот мудака! Нашел время... Ладно. Пошли.

Грубый капитан снова кивнул дружиннику и тот дернул Полянского за выкрученную назад руку.

— Пш-ше-ел! — зашипел он, стараясь вложить в свой голос максимум презрения и брезгливости. — Пш-ш-ше-ел!

Идти, впрочем, пришлось недолго. Возле метро «Чернышевская» дружинник придержал Полянского и направил к тяжелым стеклянным дверям.

«В отделение станции ведут, — сообразил Алексей. — Там допрашивать будут, суки... Где же мой кегебешник?...».

Кегебешника он увидел тут же. Высокий парень, как и было обещано, «в танкере и с кейсом» стоял возле табачного киоска, пристально глядя на влекомого милицией Полянского. Арестованный хотел было крикнуть ему, махнуть рукой. Привлечь к себе внимание, но парень «в танкере и с кейсом» криво усмехнулся и, резко повернувшись на каблуках, пошел прочь.

«Вот сука, — подумал Полянский. — Вот гад. Нет, чтобы выручить... Ему же надо. Подонки. В жизни для вас пальцем не шевельну!».

\*

Регулировщица Глафира Степанова сунула подмышку красный флажок и полезла в карман гимнастерки за папиросами.

Степанова злилась не потому, что «Студебеккер» с офицерами проигнорировал ее флажки.

Scheisse dreck, регулировщица в Берлине, на развалинах столицы великой империи, регулировщица с красным флажком в руке — «раз — два — студебеккер сюда — форд — туда — опель — подожди!»

А из «Т-34», выворотив во-он то затейливое чугунное ограждение, вылезет парень и полюбит тебя. Парень с Липовой улицы — Липпенштрассе он ее называет, блондин, высокий блондин. Учился,

парень, в Университете Ленинградском, в ЦК Комсомола работал, и войну прошел, до Берлина, можно такому поверить, да, девочки?

Полянский прыгнул с брони на землю.

Какая девчонка!

— Привет, красавица, — крикнул Полянский. — Как тебя зовут, если это не военная тайна?

Пуля пробила глаз.

Полянский читал на русском, английском и немецком.

Старший сержант Полянский упал.

Радужная оболочка левого глаза Полянского жила еще несколько секунд. Она сохранила в своем окаеме небо — небо над Ленинградом, серое, суровое, небо над Москвой — государственное, главное, небо, веселое, в аэростатах и в предчувствии победы; небо над Сталинградом, яростное, злое, тяжелое небо над Римом — никогда такой тяжести не было.

Пуля попала в правый глаз и вышла разнеся весь затылок.

Скорость пули, выпущенной из «Шмайсера» невелика. И дальность прицельной стрельбы — тоже. Пуля, угодившая в глаз Полянского, была, что называется, шальной. Однако, дело свое она сделала.

## Глава 4. Дареному коту в зубы

*Народные массы с окраин устремились в центр города.*

*С. Довлатов. Наши*

— В общем, алкаш он был настоящий.

Царев скосил глаза и посмотрел на пивную кружку, которую держал перед собой. Белая, рыхлая пена сползала по мутной, толстой, граненой стенке, Царев изящно наклонился вперед, отведя руку подальше, чтобы пена не упала на его зеркально отполированные ботинки.

— В смысле — кот? — спросил Ихтиандр. Откуда взялось это прозвище и что общего было у толстого, высокого, обладающего громоподобным голосом и не иссякающим запасом хорошего, циничного оптимизма Игоря Куйбышева с тонким и трепетным героем морских глубин и девичьих сердец не знал никто. Ко всему прочему, Игорь Куйбышев и плавать-то не умел. Однако, многие из тех, с кем ему приходилось общаться и общаться довольно часто даже не знали ни его настоящего имени, ни фамилии, а так и звали — Ихтиандр, да Ихтиандр. Единственное, что, возможно, как-то, с определенной натяжкой, сближало его с секс-символом, рожденным отечественным кинематографом, так это именно та беспомощность, которая овладевала представительницами слабого пола при виде Ихтиандра-Куйбышева, вероятно необъяснимым образом будившего своим обликом в женском подсознании ассоциации, которые мог бы вызвать у них живой Ихтиандр-Ихтиандр. Женщины тихо сдавались ему не то, что без боя, а даже без намека на сомнение. Просто молча и покорно шли за ним, в зависимости от обстоятельств — в пустую комнату, в ванную, на кухню, в кусты или, случалось, в подвал строящегося дома. Игорь Ихтиандр-Куйбышев был, в отличие от Ихтиандра-Ихтиандра не привередлив.

Женщины, побывав с Куйбышевым в подвале (на кухне, в ванной, в пустой комнате) никогда и никому не рассказывали о пережитом, не делились впечатлениями даже с лучшими подругами и (Ленинград — город маленький), если информация о том, что они были с Куйбышевым наедине, все-таки, просачивалась, выливаясь в прямые вопросы товаров, аккуратно, но жестко уходили от ответов, хотя вид имели вполне довольный.

Вероятно, ничего плохого Ихтиандр-Куйбышев с ними в ванной (на кухне, в подвале) не делал. Скорее, напротив, делал что-то очень для них важное и нужное. Игорю Куйбышеву было двадцать четыре года, хотя выглядел он на все тридцать, он любил новую, дорогую одежду и, несмотря на то, что целыми днями был свободен для общения с друзьями, умудрялся каким-то образом эту одежду приобретать. Источники его дохода для большинства знакомых и даже тех, кто назывались Ихтиандровыми друзьями были покрыты мраком неизвестности.

Для большинства, но не для Царева, пожалуй, единственного друга Игоря Куйбышева который стоял сейчас рядом с ним у пивного ларька на углу проспекта Гагарина и улицы Ленсовета.

— Кот? — переспросил Ихтиандр.

— Ну конечно. Настоящий алкаш. Законченный. Причем, Игорь, это у него прогрессировало.

— Ясно. А как же?

— А вот так — прямо как у человека. То есть, началось все с халявы. Приходят, скажем, ко мне гости. Юрик — ну, кот мой, я его Юриком звал прыг, гад, за стол. Либо на колени к кому — меня боялся уже, падла этакая, а — прыг к кому-то из гостей. И сидит. Или — если табуреточка свободная есть на нее. И ждет, подонок.

Царев говорил весело, поглядывая на кружку, с явным удовольствием оттягивая наслаждение первым глотком холодного пива.

— Вот. Сидит, значит, сволочь этакая... Водочку мы по рюмкам разольем, а он, так, невзначай — лапой шаст! И, типа, случайно так, рюмочку какую и опрокинет.

— И вылизывает?

Куйбышев коротко рассмеялся.

— Молодец!

— Ага... Молодец...

Царев, наконец, зажмурился и отхлебнул из кружки. На рыжих усах застыли хлопья пены.

— Хорошо... Но началось-то все, конечно, раньше. Это я потом только понял. Я его с утра несколько раз заставлял на столе. Рюмки вылизывал, гаденыш. А потом во вкус вошел, стал их полными ронять. Мало ему стало просто вылизывать.

— Ну, конечно, — Куйбышев важно кивнул. — Дозняк-то растет.

— А то! В общем, мы тоже все первое время смеялись. А потом, когда он стал уже бутылки со стола на пол сметать, смеяться перестали. Отлучил я его от стола. Хотел сразу выгнать — а жалко стало. Хороший кот, Юрик,

хороший...Хоть и спивался на глазах.

— Пиво классное, — заметил Куйбышев.

— А здесь другого не бывает. Коля работает, Мой приятель.

— Да? А ты раньше мне не говорил... Он, что ли?

Куйбышев кивнул в сторону амбразуры над прилавком, откуда словно сами собой появлялись кружки наполненные янтарным, гипнотизирующим стоящих рядом мужчин, напитком.

— Не-е. Это сменщик его. Коля тут сам-то не часто светится. Только так — общий контроль.

— А-а... Правильный человек, значит.

— Еще бы. «Жигуль» купил себе.

— Так что там с котом-то твоим? С Юриком?

— Юрик оборзел вконец. Понял, что я его стал пасти. Не давать пить. Так он повадился на улицу сваливать. И домой, тварь такая, в жопу пьяный приходил. По ночам.

— Пьяный? Кот? Это как же?

— Бля, это зрелище, леденящее кровь. Как пьяный мужик, только еще хуже. Ну, это еще хрен с ним. Я терпел, Он придет, спать ляжет, и нет его до следующего вечера. Но терпению моему пришел конец, когда он стал дружков водить. Таких же алкашей, как и сам... Где он только их находил? Я и думать не мог, что в нашем городе столько пьющих котов. Да не просто пьющих, а, натурально, спившихся...

— Да... Дела...

Куйбышев покачал головой.

— А я и не знал, что коты...

— Коты — как люди. Только хуже, — снова повторил Царев. — Их словами не прошибешь. Ничего слушать не хотят, твари... Говори, не говори...

— И чего? Выгнал ты его?

— Хотел.

Царев помрачнел.

— Хотел выгнать... Да, видно, судьба этому уроду благоволит. Дюк пришел, поглядел, за яйца потрогал, отдай, говорит, его мне. Я и отдал.

— Дюку? Ему же самому жрать нечего. Еще кота...

— Это у него пусть голова болит. Мне-то что?

— Верно. Забрал, значит? Знаешь, может, ему и лучше? Дюк же сам такой же алкаш.

— Да. Я ему звонил на днях, спрашивал — как там котик мой. Отлично, говорит. Покупаю, говорит, утром спинку мента...

— Кого?

Ну, минтая. Беру, говорит, кило спинки мента, половину себе, половину коту. Так и живут.

— И чего кот? Не бухает?

— А пес их разберет. Наверное, пьет. Вместе с Дюком. Ему же скучно. К нему теперь не ходит никто. Всех друзей отвадил.

— Да-а... А хороший мужик был.

— Точно.

Царев поставил пустую кружку на прилавок и взял другую — пена в ней уже осела и почти не оставляла следов на усах и бороде Царева.

— Точно, — повторил он, засунув в рот папиросу. Деньги у Царева, так же, как и у Куйбышева, водились, но курил Саша Царев исключительно «Беломор». То ли по привычке, оставшейся со студенческих голодных времен, то ли находя в этом некий особенный шарм. — Мужик был классный. Умничал только слишком. Вот и остался один.

— Ага. Главное — не умничать, — кивнул Ихтиандр. — Главное — чтобы костюмчик сидел. О, гляди! По нашу душу, вроде.

К пивному ларьку, пристально оглядывая небольшую очередь, толпившуюся окрест, приближались двое милиционеров. Осматривали-то они всех, стоящих в ожидании опохмелки, или уже вкушающих целебный напиток, но траектория их движения была направлена прямо к Цареву с Куйбышевым.

— Ну е-мое, — разочарованно протянул Царев. — Будет покой в этом городе или нет? Дадут нам пива выпить как людям, или что?

— Не бойсь, — успокоил друга Куйбышев. — Разберемся.

— По улице шла мерзость, — тихо сказал Царев. — И не видна в толпе. Одета ли по моде, одета ли как все...

— Да... Костюмчики, конечно, подкачали... Я все не понимаю, почему им форму по росту не подбирают? Специально, что ли?

Форменные брюки милиционеров были, мягко говоря, коротковаты. Впрочем, это не являлось исключением из правил. Брюки любого из милиционеров, находящихся на улицах Ленинграда в 1983 году открывали для всеобщего обозрения милицейские лодыжки.

— И рубашки у них говенные, — сказал Ихтиандр. — Ни одна баба на мужика в таком наряде не западет.

— Ну да — не западет. А то они все без баб?

— А кто западет — это и не баба вовсе. Это уж совсем надо быть... Не знаю кем. Посмотри, клоуны просто. Брючки маленькие, ботиночки бесформенные... Уроды, одно слово.

Милиционеры, подойдя к ларьку поближе ускорили шаг и, вероятно, услышав последние слова Куйбышева, как-то оттерли Царева и нависли над Ихтиандром с двух сторон.

— Документы! — бесцветным, но не предвещавшим ничего хорошего голосом произнес один из них, с сержантскими погонами на болтающейся мешком голубой рубашке. На красном лбу постового выступили капли пота, фуражка съехала на затылок, открывая плоское, невыразительное, какое-то белесое лицо.

«Ну и рожа, — подумал Царев. — Явно, сволочь комсомольская... Принципиальный гад. Из этих, идейных. Таких не уболтаешь... Чего им надо, сукам?».

Куйбышев полез в карман джинсовой куртки «Ливайс» на которую с непонятым выражением лица взирал второй постовой, хранящий молчание и застывший в неудобной позе, слегка наклонившись вперед с руками, вытянутыми по швам.

— Почему не на работе? — строго спросил первый, белесый, резко дернув головой и переведя взгляд на Царева.

— Так мы это... Во вторую смену, — ответил Витя Царев, последние полтора года официально нигде не работающий.

— Во вторую смену... Быстрее давай, — он снова уперся взглядом в Куйбышева, который продолжал копаться в карманах.

— Товарищ сержант, — тихо сказал Ихтиандр, вытащив, наконец, из заднего кармана джинсов маленькую красную книжечку. — Товарищ сержант, можно вас на минуточку?

— Чего? — постовой вытаращил глаза, удивительно быстро из голубых превратившиеся в темно-фиолетовые. — на какую еще минуточку?

— Ну, мне нужно вам кое-что сказать.

— Дай сюда! — рявкнул постовой, вырвав документ из пальцев Ихтиандра.

— Так... Так, так... Ага...

— Видите ли... Мы тут на работе как бы, — почти шепотом произнес Куйбышев.

Белесый сержант шевелил губами, вникая в смысл написанного в красной книжечке Куйбышева.

— Этот с тобой? — наконец спросил он, указав глазами на Царева.

— Да, товарищ сержант.

— Ладно... Держи.

Милиционер протянул книжечку Куйбышеву.

. — И не на жопе такие вещи надо носить. Понял?

— Так точно, — отрапортовал Ихтиандр, пряча книжечку в нагрудный карман рубашки.

— Ладно... А вы?

Сержант шагнул в сторону очереди.

— Документы всем приготовить!

Мужики, понуро топтавшиеся возле ларька, сделали скучающие лица. Царев заметил, что пока постовые разбирались с документами Ихтиандра, народу в очереди, и без того небольшой, заметно поубавилось.

— Пошли, — шепнул Ихтиандр Цареву. — Нечего нам тут торчать.

В молчании, не оглядываясь, друзья дошли до парка Победы.

— Ну что, — Куйбышев посмотрел на своего спутника. — в «Розу» пойдем? Продолжим банкет?

— Покажи документик-то, — хмыкнул Царев. — Интересно, чегой-то у тебя там написано?

— Документик? А-а, тебя зацепило? На, смотри.

Ихтиандр сунул приятелю удостоверение, столь необычно подействовавшее на сержанта милиции.

— «Обладает правом бесплатного прохода в кинотеатры, театры и концертные залы (ложа Б)». Что за липа?

— Липа. Да не совсем. Мне один товарищ подарил. Я ему помог, а он мне такую вот корку выделил. Буров. Не слышал?

— Нет.

— Ну, не важно. Хороший мужик. Следовательно, а с блатными связан, все его знают. И проблем у него никогда... Ну, короче, это все мелочи. А корка эта — мало ли что... Видишь, пригодилась. Просрочена правда. Да только на это менты внимания не обращают. Пугает их красный цвет. Быки, одно слово.

— Хм... Я таких никогда не видел. Что это за спецуха? Для кого?

— Так, думаю, что для спецов и есть. Или для партийных... Этот крендель — он же гебист. Все может, — значительно сообщил Ихтиандр после короткой паузы.

— Все... А что же ему, если он все может, от тебя нужно было?

— Ой, Витя... Лучше давай, поверь мне на слово. Зачем тебе чужие проблемы?

— Мне своих хватает. Ладно, проехали. Пошли в «Розу».

Редкие прохожие, оказавшиеся на улице в разгар жаркого, августовского понедельника прохожие искоса посматривали на бодро шагающую парочку — в новеньком джинсовом костюме, выпятив вперед



раннее, но уже вполне сформировавшееся брюшко, неся на лице выражение блаженной безмятежности двигался Ихтиандр и, поскрипывая лаковыми штиблетами, аккуратно ставя ноги, чтобы не запылить обшлага дорогих, явно, фирменных брюк, распахнув белый пиджак шел рядом с ним Царев, чему-то ухмыляясь в рыжую бороду.

Прохожие смотрели на гордо шагающих друзей без одобрения, иные даже что-то бормотали сквозь зубы, судя по всему, поругивались, однако, встретившись с молодыми людьми взглядами, глаза отводили и ругательства проглатывали.

\*

— Приподнимемся.

Игорь Куйбышев пнул ногой туго набитый рюкзак.

— Надо думать.

Царев взвесил на руке второй, крикнул от натуги и аккуратно поставил зеленый брезентовый мешок на асфальт.

— Давай, лови тачку.

Ихтиандр бодро шагнул на проезжую часть и поднял руку.

— Стремак, вообще-то, — сказал Царев, засовывая в рот папиросу.

— Никакого стремака. Чувак, ты видел мою ксиву?

— Ну и какой понт? Если повяжут, что ты им будешь вешать? Что конфисковал у фарцы пятьдесят пар штанов и два видика? Все, кранты. Прощай, табаш. И с Сулей разбираться потом всю жизнь. Да он просто грохнет и все. И не будет разбираться. Такие бабки...

— Для него это не ох, какие большие бабки.

— Да брось ты, Игорь, бабки есть бабки. Нормальные бабки.

Царев пнул ногой рюкзак.

— За такие бабки нужно пахать и пахать. Так что, давай, Игорь, как-то это...

— Руки вверх!

Резкий голос, врезавшийся, хоть и в слегка напряженную по смыслу, но ленивую по выразительности беседу приятелей заставил их оглянуться. У дверей кафе «Роза» откуда только что вышли Царев и Ихтиандр, нагруженные рюкзаками стоял Василий Леков.

— Е-мое, — выдохнул Ихтиандр. — Ну ты даешь, Василий... Слушай, а что случилось? Свадьба, что ли, у тебя? Узнать нельзя! Заматерел... Костюмчик-то чей?

Василий Леков усмехнулся. Костюм его — синий, двубортный, свеженький, словно только что снятый с вешалки хорошего магазина явно нравился Ихтиандру. Близкие друзья Куйбышева знали о том, что он обожает костюмы, но, предпочитая исключительно «фирму» и декларируя презрение к отечественной легкой промышленности — в том числе и к вещам, пошитым в ателье — он долгие годы не мог одеться, по его выражению, «солидно».

Среди бесконечного потока импортных вещей, который проносился через квартиру Куйбышева, больше напоминающую склад готовой продукции, нежели жилое помещение, и откуда он время от времени выуживал что-нибудь и для себя костюмы, конечно, попадались. Но ни разу не случилось так, чтобы хороший, финский, немецкий, или, даже, английский костюм — модный, добротный, дорогой и прочая и прочая — чтобы он сидел на Ихтиандре должным образом и чтобы Куйбышев не выглядел бы, надев заграничное солидное изделие, нелепым и смешным.

Пиджаки, иной раз, были ему даже великоваты, но, при этом, выглядели на Куйбышеве словно кургузые детские курточки. Это было парадоксальным, это казалось невероятным, но любого размера и фасона пиджак, который, до примерки, казалось бы, мог служить Куйбышеву в качестве пальто, будучи напаян на мощное тело Игоря тут же начинал морщить, перекашиваться, одни пуговицы не лезли в петли, другие, напротив, застегивались с легкостью, но полы пиджака, которые эти пуговицы призваны были удерживать и расправлять безобразно болтались и наводили на мысль о каких-то страшных физических изъянах, имеющихся на теле Ихтиандра, кошмар, одним словом.

С брюками дело обстояло еще хуже.

Игорь Куйбышев, при всей своей стати, имел слегка искривленный позвоночник. Вследствие этого, одна нога его была не то, чтобы короче другой, но пояс всегда сидел на его животе слегка косо. Результат всего этого несчастья являлся для Ихтиандра постоянной, сопровождающей его всю жизнь трагедией.

С раннего детства, со школьной скамьи, а, точнее, не с самой скамьи, а со всяких культпоходов — в кино, в театр, а музей, куда там еще водила классная руководительница своих подопечных — Игорь Куйбышев испытывал мучительное чувство стыда — высказать его было нельзя, ибо стыд этот был вызван косыми взглядами девчонок на его ноги.

Ну не признаешься же, в самом деле, надежным, веселым и боевым своим товарищам в том, что какие-то девчонки заставляют страдать, страдать по-настоящему, едва ли до слез не доводить своими кривыми

ухмылочками и перешептываниями. Слава Богу, он еще не слышал того, что говорили друг дружке на ушко одноклассницы, поглядывая на обшлага форменных брюк Игорька Куйбышева.

А он и был для всех Игорьком — добрым, веселым, отзывчивым парнем, таким толстячком-симпатягой, настолько симпатягой, что друзья даже не дразнили его «жиртрестом» — впрочем, Игорек всегда умел за себя постоять и запросто мог ответить на это страшное оскорбление такой же страшной оплеухой, что и проделывал пару раз с незнакомцами из соседних школ, которые, по незнанию, отнеслись было к Игорьку неуважительно.

Но оплеухи Куйбышев навешивал пацанам беззлобно, просто потому, что так было надо, так велел поступать неписанный школьный кодекс чести.

Но брюки — мелочь, ерунда, ничтожная совершенно вещь, брюки были для Куйбышева ударом ниже пояса, были его вечным кошмаром и проклятием.

Каждый раз покупка новой школьной формы или просто «брючек», как называла этот элемент одежды мама, была для Куйбышева акцией, в которой смешивались надежда и отчаяние. Надежда на то, что он, возможно, наконец-то, приобретет достойный вид и над ним уже не будут потешаться одноклассницы, да и, возможно, одноклассники. Парни, правда, в открытую не говорили — не принято было среди пацанов уделять внимание таким мелочам, как одежда. Мужчина, ведь, не из-за одежды считается мужиком — подумаешь, большое дело дырка на рубашке или грязь на ботинках. Нет, парень должен быть смелым, сильным, ловким...

Но стоило Куйбышеву выйти к доске чтобы решить задачку, ответить на вопрос, прочитать стихотворение или сделать что-нибудь еще в этом роде, мысли его начинали путаться, Игорь краснел, переминался с ноги на ногу, думая только об одном — как бы встать так, чтобы левая брючина оказалась одной длины с правой.

Да, так уж сидели на Куйбышеве любые штаны — пояс перекошен, одна лодыжка обнажена едва ли не до середины голени, вторая — прикрыта добротной тканью, как и подобает, собственно говоря, мужчине.

В метро Игорек старался не садиться на мягкую, всегда теплую, обшитую дерматином вагонную лавочку — в положении «сидя» левая брючина задиралась уже совершенно неприлично, правая же вела себя при этом как положено и маленькому Куйбышеву казалось, что вид он имеет уже совершенно идиотский.

С годами положение Игоря усугублялось. Игры в снежки, в «войнушку», праздники, в которые превращались школьные, ежемесячные

сборы макулатуры и металлолома ушли в прошлое. С возрастом появлялись у школяров новые интересы, увлечения и пристрастия. Небрежность в одежде теперь считалась делом недостойным и, едва ли, не стыдным. Обращать внимание на девчонок стало не то, что неприлично, как прежде, всего пару лет назад, а просто-напросто, обязательно. Неважно было, нравится тебе кто-то из одноклассниц, или нет — ты обязан был иметь «зазнобу» и, в идеале, она должна была отвечать тебе взаимностью. Если же нет — по крайней мере, ты должен был ухаживать за ней, добиваться признания и делиться своими победами и поражениями с товарищами по несчастью (счастью) в первой Большой и Светлой Любви.

А попробуй, поухаживай, если у тебя одна штанина короче другой. Смех один, а не ухаживание.

В моду вошли брюки-клеш, вернее, они из нее, моды-то, и не выходили, просто время пришло одноклассникам Игорька приобщиться к началам светской жизни, хоть и искаженной до безобразия, гротескной, но, тем не менее... Тем не менее ребята, один за другим, стали приходить в школу в штанах с «клиньями» — сами распарывали дома по швам, вставляли в брючины кусочки ткани из старых, детских своих школьных костюмчиков (родители не выбрасывали старые вещи — тряпки в доме всегда нужны) и, к неудовольствию и негодованию учителей, подметали школьные коридоры широченными и длиннющими (особый шик был, если обшлага брюк волочились по полу, начисто скрывая ботинки или тапочки) «колоколами».

Игорек, с помощью Кольки, соседа по парте и самого преданного друга, у которого, вдобавок ко всем его достоинствам (и отличник, и спортсмен, и аккуратист, каких мало) открылся вдруг портновский талант, соорудил себе брюки такой ширины, что когда он заявился в них на урок, в классе наступила такая тишина, какая случалась только при неожиданном появлении на уроке директриссы — великой и ужасной Марии Семеновны. Мария Семеновна, несущая на голове башню из выкрашенных в фиолетовый цвет волос, облаченная в синий строгий костюм (прямая строгая юбка и пиджак, наводящий на мысль о Генеральном Штабе, Ставке Главнокомандующего, Курской Дуге и Сталинградской битве) — Мария Семеновна обладала удивительным свойством возникать в самых неожиданных местах, словно мгновенно соткавшись из пустоты и, тем самым, вызывала у учеников 525-й средней школы почти мистический ужас.

Она запросто могла появиться в мужском туалете, материализовавшись из клубов синего дыма — старшеклассники успевали

выкурить за десятиминутную перемену по три сигареты, чтобы уж наверняка почувствовать себя взрослыми и независимыми. Мария Семеновна ничуть не стеснялась подростков, замерших над писсуарами, то есть, тех редких недотеп, которые использовали туалет по прямому назначению.

Она вырастала за спинами юношей, пускающих кольца вонючего, тяжелого дыма — папиросы «Беломорканал», болгарская «Стюардесса», «Прима», «Шипка» чудовищный коктейль каких-то подземных запахов наполнял туалет — вырастала и молча взидала на проштрафившихся подопечных.

Скабрезные, грубые, не изящно, но отвратительно-матерные анекдоты, которые можно услышать только из уст окончательно спившихся безграмотных нищих и подростков с неоформившимся самосознанием замирали на полуслове и облако душной, тяжелой тишины расплзлось по туалету. Даже журчание детской мочи в писсуарах стихало — вероятно, приличных, некурящих и не ругающихся матом учеников настигали спазмы, делающие невозможным даже отправление естественных потребностей.

Вот такая тишина повисла в классе, когда ученики, классная руководительница и — да, да, очень кстати оказалось, что с ней, с руководительницей, как раз беседовала директрисса, Мария Семеновна — когда все они увидели вошедшего Игорька Куйбышева в новых, совершенно невероятных брюках.

На уроке Игорю так и не удалось поприсутствовать и брюки эти он больше в школу не надевал.

Мария Семеновна тут же отправила его домой переодеваться, он переоделся, вернулся к следующему уроку, но на этом неприятности Куйбышева не закончились. Оказалось, что никакой клеш его не спасет от привычного уже позора — когда вечером Игорь вышел на улицу, все-таки, напялив на себя криминальную обнову, когда он, вместе с товарищами уселся на лавочку и вытащил из внутреннего кармана школьного пиджака пачку «Шипки», мельком посмотрел на свои ноги и выронил зажженную спичку.

Роскошные «клеши» повторили ту же пакость, что и старые школьные брючки. Левая штанина уехала наверх, до неприличия обнажив голень. Мало того, на фоне развевающегося суконного «колокола» голень Куйбышева являла собой зрелище не то, чтобы смешное, а просто жалкое. Она была тонкой, бледной, хилой — не нога, а просто рудимент какой-то, отмирающий за ненадобностью орган.

Игорь комплексовал до тех пор, пока не купил свои первые джинсы. Американская рабочая одежда преобразила его чудесным образом — длинные не по размеру штанины можно было подвернуть, выровнять их длину и физический недостаток Куйбышева, испортивший ему столько крови и, к слову сказать, заметно снизивший успеваемость ученика, недостаток этот для окружающих перестал существовать.

Но Куйбышев, в свою очередь, не перестал завидовать ладным мужчинам в хороших пиджаках и брюках. Игорь продолжал лелеять тайную мечту когда-нибудь, как-нибудь, неким чудесным образом раздобыть себе такой костюм, надев который не нужно будет засовывать левую руку в брючный карман и тянуть его вниз, чтобы хоть как-то выправить положение, чтобы не выглядеть уродом, чтобы не казаться нелепым «совком».

А тут — на тебе — Васька Леков, который не признавал другой одежды кроме футболок, потертых джинсов и старых, разношенных кед, вдруг этот самый хиппан Леков, отрицавший все, что так или иначе связано с истеблишментом и костюмы в том числе — вдруг он наряжен как какой-нибудь инструктор районного комитета комсомола.

— Ну ты дал, — покачал головой Царев. — Откуда такой?

— Меняю имидж, — Леков хитро усмехнулся, при этом его широкое, красивое лицо покрылось сеточкой мелких морщин. Царев, считавшийся близким приятелем Лекова всегда удивлялся тому, как это молодое, пышущее здоровьем лицо Васьки вдруг, мгновенно, может приобрести совершенно старческое выражение, сморщиться, как будто уменьшаясь в размерах, заостриться, побледнеть, глаза Лекова, голубые, яркие, вдруг гаснут, тускнеют, ресницы начинают дрожать, губы неприятно шевелиться, да и сам он вдруг начинает сутулиться, делаясь ниже ростом — правда, эти странные метаморфозы замечали далеко не все, ибо превращение молодого, красивого парня в неопрятного старика длилось не более секунды, а через миг снова пред взором собеседника представал прежний, хорошо знакомый и понятный Васька Леков — пьяница, бабник, жизнелюб и отличный музыкант.

Вот и сейчас Царев успел заметить быструю смену выражения лица своего товарища — словно примерил Леков маску, доселе спрятанную за спиной, провел ею перед своим лицом и снова убрал. Не понравилась, должно быть.

— Меняю имидж, — повторил Василий. — Не бухаю больше. Как выгляжу? Нравится?

— Ничего, — с достоинством заметил Ихтиандр. — Неплохо. Теперь,

хоть, в менты брать не будут... Где костюм-то взял?

— Хороший? — растягивая губы в широченной, от уха до уха улыбке и явно гордясь, судя по всему, недавно приобретенной одеждой переспросил Леков.

— Класс. Сам бы носил.

— Стараемся, — Леков посерьезнел. — А чего это у вас?

Он кивнул на рюкзаки.

— В поход собрались?

— Ага, — Царев кивнул. — В поход. В деревню «Большие Бабки».

— О-о... Это интересно. Не возьмете в компанию?

Белая «Волга» застонав тормозами остановилась рядом с Ихтиандром. Куйбышев быстро, оценивающе посмотрел на Лекова, еще раз скользнул взглядом по его костюму.

— Время есть? — спросил он, посерьезнев.

— Времени навалом.

— Садись тогда.

— Куда едем, молодежь? — Дверца машины распахнулась и пожилой водитель в хрестоматийной кожаной тужурке высунулся из салона почти по пояс.

— В центр. Договоримся, папаша. Багажник откроешь?

— Какой я тебе, на хрен, папаша? Куда в центр-то?

— На Марата.

— Я в парк еду, ребята. Пятерочка будет.

— Нет проблем.

Водитель, кряхтя, вылез из машины и пошел открывать багажник.

— Ну чего? — спросил Царев, поднимая с земли рюкзак. — поедешь?

— Он спрашивает! — ответил Леков. — С вами, братва, хоть на край света. Слушай, а правда, что ты Полянскому кота подарил?

— Правда.

— Знаешь, мне Огурец рассказывал, что твой котяра ему всю квартиру заблевал.

— Вот сука... В табло ему надо дать, давно пора. А Полянский пацифист, мать его... За такие вещи — в табло, в табло, пару раз по зубам и отучится. А если сопли распускать, так он и будет блевать всю жизнь. Коты — они же как люди — с ними построже надо.

— Это точно, — усмехнулся Леков. — Дашь слабину, тут же на шею сядут. Вон, как горничная Глаша на шею Сашке Ульянову села. А брат его, Володя, взревновал. Хотя по малолетству не понимал, что ревнует. Оттого и революция приключилась.

— Кто тебе такое поведал, — хмыкнул Царев.  
— Да Огурец, кто же еще, — сказал Леков.  
— Ты его слушай больше, — пробурчал Царев. — Он тебе еще и не то порасскажет. Ему бы в писатели пойти. Такой талант пропадает.  
— О, какие телки классные заметил Куйбышев, увидев из окна уже тронувшейся машины двух девушек, медленно бредущих по Московскому проспекту.  
— Может, возьмем с собой, — с готовностью отреагировал Леков.  
— Некуда. Куйбышев поерзал задом на сиденье. — Разве, на колени посадить.  
— Да ну их к бесу, — сказал Царев. — О деле нужно думать.  
— И то верно.  
Леков повернул голову и проводил глазами девушек.  
— А та, светленькая, и вправду, ничего.

\*

Машина с тремя мажорами проехала мимо.  
Светленькая поморщилась.  
— Господи, как я этих фарцовщиков не люблю... Тупые, как пробки. Одни только бабки на уме.  
Светленькая помолчала, потом обратилась к подруге, продолжив давно начатый разговор.  
— Слушай, а сколько ему лет вообще?  
— Не знаю. Кажется, двадцать пять. А, может, двадцать четыре...  
— Такой молодой? Я думала — лет тридцать.  
— Да ну, нет. Это Дюку тридцатник. А он — помоложе.  
— Ни фига себе! А выглядит, прямо, солидол...  
— Какой, к черту, солидол? Он же алкоголик. Настоящий алкоголик. Представляешь, с таким жить?  
— А что такое? Подумаешь, пьет? Все пьют. Нормально. Ничего страшного. И тоже. сказала — «алкоголик»... ты что, алкоголиков не видела? Алкаши — это «соловьи». У пивных ларьков, работяги... Ты его не равняй...  
— А я и не равняю. Все пьют. И я пью. Подумаешь?.. Только он-то без vine жить не может...  
— Большое дело. Хемингуэй тоже пил. И Джимми Пэйдж. И Лу Рид. И Моррисон... Вот проблема века, большое дело...



— Ну да, согласна. Тем более, что wine, все-таки, освобождает сознание... расширяет...

— Ну-ну. Говори.

— Да ты понимаешь... Да?

— Да. Песни у него, конечно, гениальные. Таких никто не пишет. И не напишет никогда.

— Ты знаешь, я, ведь, люблю его...

— Да? Ты что, совсем дура?

— Почему?

— На хрен ты ему нужна? И потом — я, как представляю себе, что я бы с ним гуляла — нет, не хочу... Врагу не пожелаешь...

— Да? Ой ли?

— Вот тебе и «ой ли»! Он же бабник, бабник жуткий. А я ревнивая...

— И я. Я бы его не пустила от себя никуда. И ни к кому.

— Так бы он и послушал тебя, дуру.

— Сама ты дура.

— Ладно, не будем о грустном. И потом — он, ведь, с этой сукой живет, с Ольгой.

— Со Стадниковой?

— Ну.

— Вот, стерва! И почему такие парни достаются исключительно сукам?

— Да они — два сапога — пара. Стадникова, ведь, тоже, гуляет, тварь, трахается со всеми подряд.

— Хоть бы ее трепак пробил!

— А, может, и пробил уже? Откуда нам знать? Может, и он сам из КВД не вылезает...

— Ну, прямо. Известно бы было.

— Откуда?

— Ну, как? Он же — человек известный. А в нашем городе сразу все на виду... Как в деревне.

— Да-а... Это точно. А, все равно, я бы хотела с ним...

— Чего? Трахнуть?

— Ну да. Интересно...

— Хм. Мечтать не вредно.

— А что? Подумаешь, большое дело? Мужики все одинаковые. Я забиться могу, что, если захочу, трахну его. Спорим?

— Не хочу.

— Почему?

— Я люблю его. Вот почему.

— Ну и дура!

— Очень может быть. Только — люблю. Так люблю, что даже знакомиться с ним не хочу.

— Как это?

— А вот так. Не хочу. Вдруг он окажется подонком? Или — импотентом. Я этого просто не переживу. Люблю его... Очень люблю.

— Да ты сумасшедшая просто.

— Наверное. Только лучше его для меня никого нет. Он — бог. Настоящий бог. Такие песни может писать только бог... И петь так, как он...

— Ну да, конечно... И пиво хлестать, и портвейн... И, кстати, говорят, что когда его в менты забирают, он сдает всех... Сразу колется, все выкладывает... Всех закладывает...

— Не верю. Он не может.

— Ты почему знаешь?

— Я знаю. Я его чувствую. Я им только и живу.

— Так пошли в «Сайгон», познакомишься... Он там все время вечерами толчется.

— Нет. Не пойду. А, между прочим, я знаю точно, мне Огурец рассказывал, что они как-то ездили в Крым, там, на пляже, к ним гопники местные пристали, так все приссали, все наши рокеры, ну, с кем он ездил... А он один отбил. Он и Славка из Москвы. Огурец сказал, что он — настоящий мужчина. Что он такого еще не видел, чтобы один, ну, то есть, вдвоем со Славкой против целой коды... А ты говоришь — «менты», ты говоришь — «сдает».... Это люди добрые от зависти придумывают. Завидуют ему. Его таланту... Его красоте, если хочешь. Он же красив, красив невероятно... Эти его волосы — одни волосы чего стоят... Я таких прекрасных волос не видела ни у кого... Черные, как ночь... Да, я бы за одну ночь с ним, за одну только ночь, чего бы я не отдала... А ты говоришь — «менты»...

— погоди, какие это у него черные волосы? Он же блондин!

— Ну, я не знаю. Я ходила на концерт, ну, на квартирник — черные волосы.

— Да блондин он, говорю тебе! Может быть он покрасился?

— Я не знаю... Я его видела только с черными волосами. Раньше только в записи слышала...

— Да нет... Не может быть... Он еще и красится... Не может быть...

## Глава 5. Большие Бабки

*Вы не поверите, насколько накалена была обстановка, когда я покинул Штаты...*

*У. Бэрроуз. Мягкая машина*

— Это он, — сказал Ихтиандр. — Его шаги.

Ольга Стадникова подошла к плите и, включив газ, поставила на огонь серый чайник с мятыми, грязными боками.

Царев и Игорь — Ихтиандр — Куйбышев уже три дня жили в комнате Стадниковой. Комнату эту она снимала за какие-то символические деньги у своего случайного знакомого, плотника, работавшего в Театре Юных Зрителей, где когда-то трудился Огурцов. Огурец и познакомил Ольгу с Борисычем в момент совместного, как говорили милиционеры, задержавшие в тот же день и Огурца, и Лекова, и Олю Стадникову и самого Борисыча, «распития спиртных напитков в общественном месте».

А всего-то делов — присели молодые люди и приставший к ним за неимением наличных денег театральный плотник Борисыч на лавочку возле Театра Юных Зрителей, выпили пять бутылок портвейна — большое дело...

— Распиваем?

— Да нет, просто пьем.

— Пройдемте...

Прошли. Посидели в отделении. Что такое пять бутылок на четверых? Трезвые. Ну, не как стекло, но, все-таки... До вытрезвителя дело не дошло, однако дружбу посиделки в отделении укрепили и, по выходе из отделения Борисыч являлся уже полноценным членом компании, если и не другом «не разлей-вода», то равным среди равных.

Настроение у всех задержанных было чрезвычайно благодушное, какое приходит после определенного количества выпитого портвейна. Если чуть переборщить — беды не миновать. Но в тот день Лекову сотоварищи везло — доза оказалась нужной и это отразилось на беседах с представителями власти. Вежливо вели себя и Огурец, и Леков, и Стадникова, не говоря уже о Борисыче. Вежливость очень часто помогает в критических ситуациях. Вот и сейчас стражи порядка даже не отобрали у Огурца оставшиеся у него деньги.

Выйдя из отделения друзья купили еще портвейна, отправились в Летний Сад, где, благополучно, без неприятных происшествий, выпили за освобождение, а Борисыч, совершенно разомлевший от портвейна и обходительности молодых собутыльников вдруг предложил имеющуюся в его распоряжении комнату.

— Сдать хочу фатеру, — сказал Борисыч, почесывая лысину. — Я, мать его, один хрен, в Павловске живу... Воздух, етти ее налево, огород... А в городе мне тоскливо. Комната от жены осталась, царствие ей небесное... Так я там как заночую, так обязательно нажрюсь. А как нажрюсь, так на работу не выйду. Одно расстройство. Опять-таки, сдать кому ни попадя — боязно. Такой народ ушлый... Засрут комнату. А она от жены, все-таки... Хочу в порядке содержать жилище. Память.

Сказавши многозначительно про «память», Борисыч выпил еще полстакана и вопросительно посмотрел на Огурцова.

— Не надо никому? Хорошим людям за дешево сдам.

— «За дешево» — это за сколько? — спросил Леков.

— А это смотря кому. Ежели тебе — так договоримся.

— Хм... А соседи?

— А соседей, почитай, что и нету вовсе. Парень один жил, так сел. Подрался по пьяни... Сидит теперь.

— Так если сидит, у него жилплощадь отобрать должны. По нашим советским законам.

— Не-а. На мать комната записана. На мать его, — уточнил Борисыч. — Так что дверь закрыли и все. Считай, отдельная квартира теперь. Живи — не хочу.

— Хочу, — сказал Леков. — Хочу. А где комната-то?

— На Бассейной. В районе Софийской.

— А дом?

— Девятиэтажка. Панельная. И телефон есть.

— Ну, супер. Оля, это просто супер. Значит, о цене договоримся?

— Да, раз хороший человек, конечно, сговоримся... Плесни-ка еще...

Борисыч протянул Лекову пустой стакан. Сделка состоялась.

Через два дня Ольга и Леков переехали на новое место жительства. Стадникова, впрочем, несмотря на то, что уже довольно давно была известна в своем кругу как «девушка Лекова» до сих пор не знала, где прежде жил ее любимый.

Леков никогда не говорил о доме, где он, как принято говорить, «вырос». О его родителях, близких, родственниках, о его детстве, школьных годах, его семье Стадниковой не было известно ничего. Она

несколько раз пыталась вывести Лекова на эти темы — женское любопытство брало верх — но Леков либо отшучивался, либо просто делал вид, что не слышит вопроса. Либо — либо просто подходил медленно, как он умел, выдерживая длинную паузу перед тем, как начать расстегивать ее джинсы... И было уже не до вопросов.

Леков появлялся неожиданно и когда ему заблагорассудится — он мог просто встретить Стадникову в тот момент, когда она выходила из магазина с сеткой, набитой продуктами — как он мог догадаться, что она окажется именно в это время именно в этом магазине — одному Богу известно. Первое время Ольга удивлялась, потом, привыкнув, перестала. У Лекова были, вероятно, свои и, вероятно же, метафизические источники информации о Стадниковой.

Они проводили дни и целые недели, ночуя по квартирам друзей и знакомых, благо, у Лекова их было бесчисленное множество, да и Стадникова считала себя человеком вполне коммуникабельным и на одиночество не жаловалась никогда. Однако, сколько ни было у нее друзей и подружек, количество «вписок», то есть, мест, где можно погостить и переночевать, а, при случае, если обстоятельства сложатся благоприятным образом, и пожить несколько дней, поражало Ольгу.

Ей иногда казалось, что Леков знаком едва ли не с каждым жителем города — он общался с мужиками, толкущимися возле пивных ларьков как со старыми знакомыми, которые просто слишком давно расстались и подзабыли друг друга так иногда бывает с одноклассниками которые в пору ученичества не очень между собой дружили, а через двадцать лет вдруг встретились и с трудом узнали друг друга — путая имена, фамилии и годы, но подсознательно понимая, что встретившийся человек — не совсем чужой. И, как оказывалось, многие из них, суровых любителей дешевого пива таковыми и являлись. Другие просто шли на контакт с Лековым так, словно он работал на том же заводе в соседнем цеху.

Он знал всех, как, по крайней мере, казалось Ольге, авангардных, «подпольных» писателей, художников, музыкантов, артистов, непризнанных гениев режиссуры, кинематографистов, снимающих на 8-ми миллиметровой пленке шедевры «параллельного кино». Не все из них его любили, многие просто терпеть не могли, однако — знали же, знали.

И даже степень неприязни, которую вызывал Леков у вполне уважаемых и известных всей полуподпольной художественной общественности фигур вызвала у Ольги уважение к беспечному и поплевывающему на оскорбления возлюбленному.

Возлюбленный и правда поплевывал на грязные полы крохотных

комнаток мастерских, в которых ютились непризнанные гениальные художники, хлопал железными воротами секретных объектов охраняемых непризнанными гениальными музыкантами, философами, поэтами и, игнорируя злобное шипение заросших густым волосом творцов, спокойно шел в другие мастерские, сторожки, котельные, коммунальные клетушки где его принимали с радостью, заставляли петь, угощали портвейном и марихуаной, оставляли на ночлег такие же с виду обросшие бородами и «хайрами» поэты, музыканты или художники.

Для Ольги вся эта публика была поначалу совершенно на одно лицо и она никак не могла определить — чем же Леков не угодил одним и заинтересовал, до влюбленности очаровал других. Разбираться начала только после года кочевой жизни, но до конца так и не разобралась. Те, кто принимали Василька — кличка эта приклеилась к Василию Лекову так давно, что никто не мог сказать, с чьего легкого языка она сорвалась в первый раз — те, кто давали ему кров, пищу, вино и траву, в большинстве своем, даже при общей нищете, были людьми уже более или менее состоявшимися. Состоявшимися именно на своем поприще. Потенциально состоявшимися, ибо ни выставок, ни больших концертов, ни книг, слепые рукописи которых передавались из рук в руки и зачитывались до дыр в буквальном смысле этого слова — ничего этого не было. Но сверкал в глазах всех тех, что дружили с Лековым огонек удачи. Пусть будущей, далекой, но удачи.

Год они жили по чужим квартирам — Ольга терпела бесконечные стенания родителей, слова «шалава» и даже «блядь» в родительских устах ее уже давно не обижали, однако, она стала уставать от постоянных скитаний по чужим квартирам. Кроме общей усталости у нее имелись и чисто гигиенические соображения. В последнем месте проживания Ольги и Лекова, например, вопросы женской гигиены встали во всем своем устрашающем величии.

Отдельная квартира на Васильевском острове, от метро недалеко, при этом хозяева — прекрасные, чудные, уважаемые люди. Она — тележурналист, он известный музыкант, оба гостеприимные и незлобивые... Приняли Лекова с Ольгой как родных, живи — не хочу...

Ольга первая сказала «не хочу». Ванна на кухне, а на кухне с утра до утра выпивают гостеприимные хозяева, доказывающие свое гостеприимство не на словах а на деле. Туалет, правда, изолированный, но от унитаза осталась ровно половинка — вторая под воздействием какой-то страшной силы откололась и валялась рядом — ровненькая, беленькая, в отличие от той, что стояла на низеньком бетонном постаменте и была, как

бы, «рабочей».

Квартира же, хоть и отдельная, была однокомнатной и, ясное дело, хозяева спали на единственном диване. В этой связи Ольге с Васильком приходилось постоянно импровизировать — либо залечь в ногах у хозяев, либо пересидеть ночь на кухне за столом, уставленном бутылками с дешевой водкой и портвейном, а поутру, когда волна гостей схлынет, залечь здесь же — на матрасике, заехав головами под стол.

Такая жизнь была бы хороша для начала, в романтический период знакомства, в качестве такого авангардного медового месяца. Но по прошествии года бродяжничества Ольга, пролежав неделю под кухонным столом, взвыла. Леков откликнулся на стенания любимой традиционным образом предложил пойти прогуляться и выпить портвешку.

Именно в этот день и состоялась их встреча с Огурцом и Борисычем и, конечно, Стадникова думала что сам Бог, сошедший с небес на этот раз в образе пожилого, небритого и полупьяного работника услышал ее мольбы и выделил отдельное жилье.

\*

— Его шаги, — повторил Ихтиандр. — Сука. Ну, сейчас я ему устрою.

Стадникова покосилась на Куйбышева, но на защиту своего любимого не бросилась.

— Может быть, он, все-таки, с бабками? — с робкой надеждой в голосе произнес Царев. — Всякое бывает.

— Ага. Бывает. Много чего бывает. Я однажды с бодуна стакан подсолнечного масла махнул. Думал — сухое вино.

Ихтиандр мрачно усмехнулся.

— Бывает такое, да. Только, чтобы этот мудак с бабками пришел — такого не бывает. Такого не было и не будет никогда.

— У, е-е.... тать! — Царев хлопнул ладонью по столу. — Ты же сам дал добро.

— Я?

Ихтиандр поднял голову и посмотрел на потолок. Потолок пузырился желтоватой эмульсионкой.

— Да, я, — с отвращением констатировал Ихтиандр. — Бля, живем, как свиньи... Он смачно плюнул на пол. Стадникова вздрогнула, но снова промолчала. — Я, — повторил Ихтиандр. — Но как складно он пел... И, главное, бабки же взял! Это мы мудаки с тобой. Нужно было за ним в

Москву лететь! И брать на месте. А теперь... Теперь что с него возьмешь, с козла...

— Чай будете? — спросила Стадникова замогильным голосом.

— А водка кончилась?

Царев посмотрел на хозяйку глазами, полными тоски.

— Водка кончилась.

— Как это — кончилась?

Непонятно, как он умудрился открыть входную дверь настолько тихо, что никто из сидящих на кухне этого не услышал. Ведь шаги, шарканье и даже тяжелое дыхание поднимавшегося по лестнице Лекова не обмануло слуха ни Ихтиандра, ни Царева и уж, тем более, Стадниковой.

— Как это — кончилась?

Леков, бесшумно появившийся на кухне, улыбался.

— Гх... — задохнулся Ихтиандр — Гх... Это ты?..

— Нет, это Джон Леннон. Водка есть! Знаете, был такой писатель — Марк Алданов?

Стадникова, Царев и Ихтиандр молча смотрели на Лекова. Посмотреть было на что.

— Так вот, — продолжил Леков. — Алданов — великий человек. Друг Набокова, между прочим.

— Кого? — спросил вспотевший от гнева Ихтиандр.

— Да не важно, — махнул рукой Леков. — Короче, он сказал... В смысле, Алданов, конечно... Сказал — водку пить любую можно и должно.

Василек был одет в старые, вытянутые на коленях тренировочные штаны, клетчатую, застиранную, давно потерявшую цвет рубашку и домашние тапочки. Приглядевшись, зрители заметили, что тапочек, собственно, был один и надет он был на левую ногу. Сам же тапочек, при этом, был, явно и безоговорочно правым.

Стопа левой ноги весело улыбалась кончиками испытанных, по-видимому, самые разные перипетии долгого путешествия из Москвы в Петербург пальцев, выглядывающих из дыр грязного черного носка. В одной руке Леков изящно держал букетик полевых цветов, в другой — литровую бутылку «Столичной» в экспортном исполнении. Бутылка была открыта и наполовину пуста.

— Ну, наливай, — пустым голосом сказал Ихтиандр.

Леков бодро шагнул к столу, икнул и посмотрел на Стадникову.

— Олюшка! Солнце мое! Будешь водочку?

— Ты деньги привез? — спросила Стадникова.

— Деньги? Что такое деньги? Тлен! Вот тебе цветочки, радость моя, я



сам собирал, сам рвал, сам нес... Любовь моя не знает границ...

— Дай-ка мне, — Царев осторожно вынул из дрожащих пальцев Лекова бутылку, налил в стоящие на столе рюмки и посмотрел на Ихтиандра.

— Ну, что делать будем?

— Пить! — крикнул Леков, энергично махнув букетом, смазав при этом Стадникову по лицу. — Пить! А что нам еще остается? За наше светлое будущее! За нашу победу! За то, что солнце еще светит, а трава... Это... Зеленеет. Ура!

Леков стоял от стола метрах в двух, но Ихтиандру вдруг показалось, что Василек схватил рюмку не сходя с места. Она как-то мгновенно оказалась в его руке, Василек поднес ее к губам, поцеловал и поднял над головой.

— За то, что мы живем! За то, что мы любим друг друга! За то, что у нас есть музыка, у нас есть прекрасные женщины! За то, что мы молоды и что у нас все впереди!

Ихтиандр прикрыл глаза, быстро опрокинул в рот водку, рыгнул и, не поднимая век, тихо спросил:

— Деньги где?

— Деньги? Что такое деньги? Тлен и прах. Деньги — пустое. Пошли, лучше, братья мои, прогуляемся. Погодка — полный ништяк...

— Деньги где? — Ихтиандр повторил вопрос, на этот раз с открытыми глазами. И глаза эти ничего хорошего Лекову не сулили.

— Деньги... Да привезу я деньги, е-мое...

Леков поднес ко рту стакан, икнул, выронил его на пол, попутно залив водкой свои грязные спортивные штаны, согнулся пополам и мелкими шажками, но с удивительной быстротой зашаркал в сторону туалета.

— Попали, — тихо констатировал Царев. — Вот попали, так попали.

— И как же, сука, нас так убедительно напарил? — покачал головой Ихтиандр. — Придется тебя Суле сдавать. А что делать? Что?

Он посмотрел на Стадикову, которая безучастно пила водку медленными глотками, как будто это и не водка была, а так, чаек тепленький.

— Нечего делать, — ответил он сам себе. — Нечего.

— Да брось ты, елы-палы!

Леков сделал шаг к Куйбышеву и обнял его за плечи.

— Брось! Пустое это! Найдем мы денег!

— Где, если не секрет?

— Не знаю. Не знаю. Но, уверен — найдем!.

— Родишь ты их, что ли? — с нескрываемой злостью в голосе вскрикнула Стадникова. — Родишь? А?

— Это ты родишь, Оленька!

Леков широко улыбнулся.

— Слушайте, братцы!

Леков похлопал себя по бедрам, забыв о том, что в тренировочных штанах, сползших с его худого живота и норовивших сползти еще ниже, нет карманов.

— Братцы! — повторил он. — У вас есть бабок маленько? Может еще водочки возьмем, а? Я в доле буду... Ну. потом, когда раскручусь, отдам. Вы же меня знаете.

— Теперь знаем, — сказал Царев. — Ну чего, я пошел в магазин. По такому случаю грех не нажраться...

— Дать бы тебе по жбану хорошенько, — заметил Ихтиандр, скрипнув зубами. Замечание было направлено, разумеется, Лекову, который закивал головой и улыбнулся еще шире, хотя, казалось, что шире уже нельзя.

— А у меня есть, есть, — затараторил он, снова вытягивая руку в сторону и цепляя ею Стадникову. — Вот она, моя ласточка, вот она...

— Сука ты, — Стадникова брезгливо отлепила от своей груди грязноватые пальцы Лекова. — Настоящий подонок.

\*

Такси остановилось возле дома Полянского.

— Ну что, братцы?

Леков, первым выскочив из машины и элегантно подпернув лацканы пиджака весело улыбнулся.

— Ну что? Водочки для заводочки? Или по пивку? А, может быть, винца?

— Погоди ты.

Куйбышев, крикнув, вытащил из багажника, предупредительно распахнутого водителем один из рюкзаков и аккуратно поставил его на асфальт. Царев вытащил второй и сразу закинул за спину.

— Погоди, — повторил Ихтиандр. — Давай сначала подыдем... К Дюку забросим. — он кивнул на рюкзак. — А то чего с такой тяжестью бродить?

— О кей!

Леков бодро зашагал в темноту арки проходного двора.

Куйбышев и Царев последовали за ним и через пару минут, вытирая со лбов пот уже стояли перед дверью квартиры Полянского.

— Е-мое! Забрался, черт, на верхотуру, — бормотал Куйбышев. — Хоть бы лифт был, мать его...

— Ничего, ничего, это полезно, пешочком побегать, — весело ответил Леков, нажимая на щербатую, заляпанную старой краской кнопку звонка.

Дверь приоткрылась и в образовавшуюся щель высунулась голова Полянского.

— О! Да ты квашишь! — воскликнул Леков, поведя носом. — Шмон, друг мой, правильный. Ой, правильный!

— Ничего я не квашу, — ответил Полянский шмыгнув носом. — Я похмеляюсь.

— В дом-то пусти, — заметил Куйбышев.

Полянский подозрительно взглянул на рюкзаки, оттягивающие плечи незваных гостей.

— А это чегой-то?

— Да открой ты дверь, екальный бабай, сейчас мы тебя похмелим! — устало сказал Царев.

— Да? Ну тогда заходите.

— Слушайте, пацаны, вы проходите, — затараторил Леков, — а я сразу в магазин. Бабла только насыпьте. Я пустой.

— Залезь в карман, — Царев неловко, задев рюкзаком Куйбышева, повернулся боком к Лекову. — Возьми там... Только не все.

— Все — не все, разберемся!

Леков вытащил из кармана царевских брюк пухлую пачку мятых купюр и не считая спрятал в глубинах своего пиджака. — Ждите, пацаны! Сейчас буду!

Полянский, продолжающий выглядывать из узкой щелки проводил глазами запрыгавшего по ступенькам Лекова, вздохнул и медленно открыл дверь.

— Кинет, — убежденно сказал он, пропуская гостей.

— Да нет, что ты! Ни фиги не кинет!

— Забьемся, что кинет?

Полянский говорил тихо, но очень уверенно.

— А, может, и вправду?

Куйбышев, пыхтя под тяжестью ноши, шаркая ногами и продолжая потеть, медленно двигался по коридору.

— Может, и вправду свалит сейчас с баблом? — задумчиво повторил он.

— Чего вы его притащили-то? — спросил Полянский, открывая перед Царевым и Ихтиандром дверь своей комнаты. — Он же беспредельщик.

— А то ты с ним ни разу не бухал?

— Бухал. Поэтому и говорю — чистый беспредельщик. Себя не помнит.

— Ладно. Все равно, у нас тут дело на сто тыщ...

— Серьезно?

— Да. Точно говорю. Попадалово над нами нависло.

— Ну, тады, давайте по полтинариусу, — Полянский, войдя в комнату и ловко пробравшись к столику у окна элегантным жестом, совершив при этом легкий полупоклон указал гостям на бутылку водки, судя по всему, только что открытую. — Присаживайтесь, поговорим.

\*

Леков не обманул. Он влетел в комнату уже минут через пятнадцать, когда Полянский сотоварищи уже приняли «по полтинариусу», да и по второму. Дверь со стуком распахнулась, заставив Полянского вздрогнуть и пролить водку из своей рюмки.

— Кто дверь открыл? — недовольно спросил он покрасневшегося Лекова.

— Да эта, как ее... Соседка твоя. Короче, я все купил. А вы тут что употребляете? Водочка? Дело. Я пива принес. И вина. Водка без пива — деньги на ветер...

— Наоборот, — хмуро сказал Полянский. — Это пиво без водки...

— Да какая, на хрен, разница? Ну, пиво без водки. А еще, знаешь, Леков быстро выгрузил содержимое полиэтиленового пакета на стол. — Вино на пиво — это диво. А пиво на вино — полное говно. Так что, можно экспериментировать. У нас теперь все есть.

— Тому, кто любит «Каберне» опасный стронций страшен не, — помягчевшим голосом отозвался Полянский, крутя в руках бутылку красного сухого из тех нескольких, что принес Леков.

— Слушай, я в Москву звякну от тебя?

Леков проникновенно заглянул в глаза хозяину комнаты.

— Можно?

— Кому?

— Папе Роме, кому же еще?

— Кудрявцеву?

— Ага. Нужно же это барахло слить.

Леков кивнул на рюкзаки, грязно-зеленой кучей лежащие под столом.

— Хм...

Полянский посмотрел в потолок.

— Мысль интересная. Можно табаш хороший срубить.

— Слушайте, други...

Царев с тихим, приятным слуху хлопком выдернул штопором пробку из бутылки.

— Други! А точно этот ваш кореш все возьмет? Может, тогда нам вместе рвануть? Я в Москве давно не был...

— Не-е.

Леков энергично замотал головой.

— Не-а. Он чужих не любит. На него и так КГБ стойку держит. Застремается. Лучше я один. Скажи, Дюк, Рома, ведь, очень человек осторожный.

— Это есть. Только ты-то доедешь? — усмехнулся Полянский. — Не свинтят тебя по дороге? Хотя... В таком виде, вряд ли свинтят. Ну и мне, господа, долю малую...

— Тебе?

Ихтиандр поковырял пальцем в зубах.

— Тебе? Н-да...

— Хочешь спросить — «за что»?

— В общем...

— Скажем так — за консультации.

— За какие еще консультации?

— Я господина Василька проинструктирую — что говорить, сколько за что просить... Чтобы у всех у нас, — Полянский обвел глазами всех присутствующих, — чтобы у всех свой интерес был.

— Ладно. Наши цифры мы тебе скажем, а дальше рубитесь сами. Только все нужно делать срочно. У нас там еще кое-кто в доле.

— Кто же?

Полянский откинулся на спинку кресла и сощурился.

— Да ты не знаешь, — отмахнулся Куйбышев.

— Отчего же?

Полянский снял очки, протер их специальной тряпочкой и снова аккуратно водворил на прежнее место.

— Отчего же? Я сам штанами торговал. И многих знаю из мажоров. Из старых, правда. Но — если человек ваш серьезный, то вполне могу и знать.

— Суля.

— Ой ты, еш вашу мать!

Полянский схватил недопитую бутылку водки, быстро наполнил свою рюмку и одним махом опрокинул ее в рот.

— Да что вы, совсем разума лишились? С кем связались? Это же бандит!

Царев и Куйбышев переглянулись.

— Ну, — Царев пожал плечами. — Подумаешь — бандит. Знаем мы, что он бандит. Но с ним дела иметь можно...

— Ну да, ну да...

Полянский повертел в руке пустую рюмку, снова взял бутылку и налил себе еще порцию.

— Оно, конечно... Ладно, смотрите сами.

— Короче, я пошел звонить! Мне по фигу — Суля, не Суля...

Леков пружинисто поднялся со стула.

— По фигу мне, — повторил он. — Я товар скину, деньги получу, сколько надо — отдам, а вы с вашим Сулей сами разбирайтесь.

\*

Все сложилось на редкость удачно. Леков дозвонился в Москву, поговорил с Кудрявцевым, с которым дружил уже несколько лет, пару раз оказывался в его квартире вместе с Полянским, выпивал-закусывал, ездил на дачу Романа, что пряталась в сосновом лесу Николиной горы и через два дня Царев с Куйбышевым проводили его в столицу. Напутствий на вокзале Лекову не давалось — все было обговорено заранее, Леков был трезв, гордо вышагивал по перрону в своем новом костюме, за ним следовали Царев и Ихтиандр, по такому случаю перегрузившие свое добро из грязноватых рюкзаков в два вполне приличных чемодана. Чемоданы больше соответствовали респектабельному облику их курьера и шансы на то, что Лекова по дороге в Москву «свинтят» сводились почти к нулю.

Первые известия из Москвы Ихтиандр с Царевым получили через два дня. Игорю Куйбышеву позвонила Стадникова и радостным голосом сообщила, что ее любимый звонил от Кудрявцева, что товар отдан, деньги получены и он ночным поездом выезжает в Ленинград.

— Ништяк! — крикнул Ихтиандр. — Олька, я, честно говоря, не верил, что все получится.

— Не верил, — хмыкнула в трубку Стадникова. — А чего же тогда вы все ему отдали? Там же хренова туча денег.

— А черт его знает, — растерянно ответил Куйбышев. — Так хорошо сидели. И потом он, Василек, действительно, как будто заново родился. И не пил почти. Все то с Кудрявцевым этим по телефону базарил, то Дюка подкалывал. Я точно говорю, почти не бухал. Сухенького пару стаканов принял и все. Убедил нас, короче. Поверили ему просто. Знаешь, так, по-человечески. Нужно же иногда с людьми по-человечески. А? Как скажешь?

— Скажу, что повезло вам, — ехидно сказала Стадникова. — Так что, номер поезда сказать? И вагона? Может, встретите его?

— Точняк, — деловито согласился Куйбышев. — Точняк. Обязательно надо встретить. Такие бабки...

— Да, бабки большие, — согласилась Ольга. — ну, записывай. Слушай-ка!

— Да?

— Так давайте, я с вами на вокзал поеду?

— Давай. Отличненько. Пивка вместе попьем. И Васильку приятно будет.

— Думаешь? — с сомнением в голосе спросила Стадникова.

— Ну. я не знаю. Это ваши дела. Мне бы приятно было, если бы меня на вокзале такая красивая девушка встречала.

— Ну да, конечно... Ладно, давай. короче, на вокзале у Головы в половине девятого.

— А поезд-то во сколько приходит?

— В девять с копейками.

— А... Ну ладно. Рановато, вообще-то.

— Брось. Вы же все равно опоздаете.

— Нет уж. На такие встречи мы не опаздываем.

\*

Они встретились у Головы ровно в половине девятого. Народу на Московском вокзале в это время много, но окрестности Головы были той площадкой, потеряться на которой было невозможно, даже если бы количество приезжающих, встречающих, провожающих, отъезжающих и просто празднующих увеличилось бы вдвое, втрое, да, пожалуй что, и вдесятеро.

Голова была центром главного зала, она возвышалась на темном параллелепипеде не слишком высоко, но, как-то, очень значимо, очень солидно и крепко сидела голова на каменном постаменте.

Голова была нейтрального серого цвета, стирающего все предполагаемые эмоции. Предполагаемые — потому что их, в общем-то и так не было обозначено на лице Головы, но цвет усиливал ее нейтральность, равнодушие к копошащимся под Головой людям, подчеркивал уверенность Головы в собственной значимости и в правильности выбранного Головой пути.

Живой прототип Головы, точнее, давно уже не живой, но когда-то, все-таки, дышащий, разговаривающий, машущий руками, кричащий с дворцовых балконов и топающий ногами, пьющий пиво в Женевских кафе, сосредоточенно строчащий бесчисленное количество статей, тезисов, докладов, памфлетов, занимающийся любовью, трясущийся в автомобиле по московским улицам, живой прототип, конечно, эмоциями обладал. Даже больше чем нужно было у него эмоций. Слишком был эмоционален. Но задачи прототипа и Головы были совершенно разные. Прототип решал проблемы, Голова их решила. Прототип ломал, строил и снова ломал, перекраивал уже сделанное на новый лад, юлил, хитрил, садился сразу на два стула, проскальзывал ужом между сходящимися жерновами опасности, Голове же все это было ни к чему. Голова являлась символом стабильности и хорошо выполненной работы. Настолько хорошо, что результат этой работы менять не следовало. Ни к чему было что-то менять. Опасно было менять. Категорически нельзя. Под страхом смерти — кого угодно и скольких угодно — нельзя. Сотни тысяч Голов и Головок, разбросанных по стране, закатившихся в самые дальние и потаенные ее уголки, словно грузила удерживали над страной невидимую сеть, под которой, в тине, тихо спали старики и дети, солдаты и матросы, мужчины и женщины, воры и милиция — спали и знали, что Головы хранят их покой.

Утро на Московском вокзале — время суетное. Электрички каждые пять минут выдавливают из зеленых вагонов толпы заспанных, хмурых, в большинстве своем граждан, спешащих на службу, московские дорогие поезда высыпают под крыши перронов дробь пассажиров дальнего следования. Снуют, выкрикивая в утреннее небо слова предостережения носильщики, толкающие перед собой железные, лишенные цвета тележки, бродят одетые в нелепые серые костюмчики милиционеры, в общем, суета царит на Московском вокзале по утрам, суета неупорядоченного и не вошедшего в рабочий ритм движения чужих — пассажиров и встречающих и своих — проводников, носильщиков, милиционеров, уборщиц, ларечных продавщиц и дворников. Днем все войдет в деловой, четкий ритм, но до этого еще далеко. Нужно еще окончательно проснуться, опохмелиться, вспомнить, какое нынче число или день недели, осознать, сколько осталось



до полочки и сколько мелочи в кармане, в общем, непросто утром сориентироваться в бестолковой вокзальной суете.

И только в непосредственной близости Головы можно расслабиться, застыть на месте, уставившись остекленевшим спросонья взором в ограниченное стенами серого зала пространство и быть уверенным в том, что тот, кого ты ждешь увидит тебя наверняка. Можно не водить глазами по сторонам, не выискивать в толпе знакомых — они сами увидят тебя, промахнуться, пройти мимо Головы невозможно.

— Какая точность! — Стадникова улыбнулась и даже игриво раскланялась, едва ли не книксен сделала перед хмурым Ихтиандром.

— Привет, — кивнул Куйбышев. — Ты тоже не задерживаешься. Соскучилась по своему-то?

— А Царев где?

— За пивом пошел, — так же хмуро ответил Куйбышев.

— За пивом? А где это здесь в такое время пиво продают?

— Он найдет. Не было случая, чтобы Царев пива не нашел. У носильщиков возьмет, у проводников... Не знаю, на парь меня, репа болит...

— Нажрались вчера?

— Ну так, — неопределенно ответил Куйбышев. — Слегка так... Чуть-чуть... Вон он идет.

— Пошли на платформу, — буркнул Царев, не поздоровавшись со Стадниковой. В сумке, висящей на худом, квадратном плече Царева громко звякнули бутылки.

Когда из седьмого вагона вышел последний пассажир — пожилая женщина в плюшевом жакете и черной, неопределенной ткани юбке, Ихтиандр кашлянул и покосился на Стадникову.

— А точно вагон седьмой?

— Точно...

— И поезд этот?

— Да.

— Ну что же... Давай пивка, что ли?

Царев молча вытащил из сумки две бутылки пива, сцепил их пробками и дернул резко, с поворотом. Пена с шипением полилась на асфальт платформы, глухо звякнули пробки — Царев умел открывать две бутылки одновременно.

— А девушке? — спросил Ихтиандр.

Царев молча вытащил третью бутылку, ощерясь, закусил пробку и сорвал ее с необыкновенной легкостью, ничуть не изменившись в лице.

— На, Оля...

— Что делать будем? — спросил Ихтиандр, сделав несколько больших глотков.

— Что-что...

— Поехали ко мне, — печально предложила Стадникова. — Он, если что случилось, будет домой звонить...

— Да.

Куйбышев влил в себя остатки пива и согласно кивнул.

— Да. Других вариантов нет.

\*

— Он у тебя был?

Стадникова приложила палец к губам и покосилась на телефонную трубку, которую она прижимала к уху.

— Был? Сколько? Три дня? А потом? Выгнала? А куда он отправился? Ясно... Ну ладно, извини... У меня нормально. Слава Богу... Да, да. Все, целую... Да, слушай, если что, может, я перезвоню еще? Спасибо... И ты звони если что-нибудь узнаешь, ладно? Ну, целую.

— Вот сука! — Ольга шваркнула трубкой об аппарат, трубка скользнула по черному пузатому боку старинного телефона и, не удержавшись в держателе, полетела на пол. Не долетела, закачалась, запрыгала как древняя детская игрушка «растягайчик», крутясь вокруг своей оси на витом, перекрученном шнуре.

— Сволочь! Гад! Ненавижу!

Стадникова кричала, топала ногами, не обращая внимания на вопросительные взгляды Царева и Куйбышева.

— Ну что там происходит, — Цареву наконец удалось поймать паузу в стенаниях Стадниковой и он не преминул ею воспользоваться. — Что там, Оля?

Поиски Лекова начались три дня назад, сразу по возвращении с вокзала в квартиру Стадниковой. Точнее, формально Стадниковой — Лекова, но Куйбышев и Саша Царев быстро поняли, что стационарно проживала здесь Ольга. Леков же болтался Бог знает где, иногда брал с собой свою любимую, как он любил выражаться «в концерт», или «на вечеринку», но чаще — исчезал на трое-четверо суток, а то и на неделю, исчезал в совершенно неизвестном направлении, исчезал внезапно и так же внезапно появлялся — иногда совершенно пьяный, разухабистый и

веселый, иногда с похмелья — побитой собакой заглядывал Ольге в глаза, дрожащими губами шептал слова извинения, вымаливал прощение и мелочи на кружку пива...

— Слушай, а мы его встретили — такой респектабельный... Думали исправился парень. Деньги начал зарабатывать...

— Ну да. Меня бы спросили. Этот костюм ему приятель один подарил. Они здесь, в этой квартире неделю квасили. Какой-то журналист московский. Насосанный как черт. Бабок немеряно. И одежды с собой навез — целый чемодан. Ну, когда уезжал, костюм и оставил Васильку. Леков-то к тому времени совсем поизносился, — ответила тогда Ольга.

Звонить в Москву начали сразу же. Кудрявцева застали на даче — на Николиной горе. Дача у Романа была настоящая, московская — с телефоном, канализацией, со светом и газом, с ванной — даже дачей эту домину было называть как-то неудобно. Впрочем, до понятия «особняк» она тоже не дотягивала. Деревянный дом, двухэтажный, с башенкой, а в башенке, по витой лестнице подняться — и комнатка с небольшим оконцем. Леков любил в этой комнатке жить. Дружили они с Кудрявцевым — Ольга никак не могла понять, что нашел респектабельный, солидный Роман в Лекове — ленинградском алкаше, правда, и блестящем музыканте, но его выходки, по крайней мере для Ольги все чаще перекрывали музыкальный талант любимого.

Любимого...

Она много раз задавала себе вопрос — зачем ей нужен этот парень, оказавшийся невероятным эгоистом, трусоватым и слабым, случись что — бегущем плакаться ей в жилетку, а через час уже напивающимся водкой до судорог и трехдневной тошноты... Ответить не могла. Чертова любовь... Все равно она не променяла бы его ни на кого из знакомых. Да, пожалуй что, и незнакомых. Песня была такая у Лекова. «Кобелиная любовь»... Часто слушала ее Ольга, пожалуй, чаще чем что бы то ни было. Сучья любовь...

— Я его на вокзал вчера проводил, — озабоченно ответил Кудрявцев на вопрос Стадниковой. — Я на дачу ехал ночевать. Довез его, на вокзале высадил. Он трезвый был. Да, и с деньгами. Нет, нет. все в порядке трезвый, в костюме, чистый, красивый... Я его до перрона довел... Нет, в вагон не сажал. Но до поезда довел. Нет, без чемоданов. Чемоданы он у меня оставил. Сказал, что потом заберет. Да и то — денег у него — на сто таких чемоданов. Сама посуди, Оля — трезвый, стильный молодой человек, до поезда я его, тем более, едва ли не за руку проводил. Может быть, в дороге что случилось?

В дороге его не было, это Ольга знала точно. Так же, как и Царев с Куйбышевым. Они спрашивали у проводницы — тринадцатое место, которое должен был занимать Леков оставалось свободным от самой Москвы. Никто на это место не садился.

Трое суток сидели Саша Царев и Игорь Куйбышев по прозвищу «Ихтиандр» в квартире Стадниковой. Иногда они выходили в магазин, иногда засыпали принадлежностей для этого в гостеприимном доме молодого рокера было в достатке. Три спальных мешка неизвестного происхождения, кажется, как и костюм, подаренных какими-то заезжими хиппи, матрас на полу, диван, который занимала хозяйка дома.

\*

На вторую ночь Царев предложил Ихтиандру переночевать в собственных домах, но тот покрутил пальцем у виска.

— Ага. А там Суля до нас дозванивается. То-то приятно будет побеседовать. Врубился?

— Врубился. Ну что, уходим в подполье?

— А чем вам тут плохо? — спросила Стадникова. — Сходите-ка, лучше, в магазин. Деньги-то у нас еще есть?

— Есть малехо, — ответил Царев. Ихтиандр же, пошарив по карманам, поморщился, но кивнул согласно.

Ольга обзвонила всех своих московских знакомых, нашла на подоконнике старую записную книжку Лекова и пошла по алфавиту — об исчезнувшем невесте куда Васильке никто ничего не знал. Два дня прошло в беспомощных и бесполезных попытках выйти на след растворившегося на Ленинградском вокзале курьера — Стадникова обзванивала теперь уже ленинградских знакомых, выявляя косвенные связи, о которых прежде не знала. Устроители подпольных концертов. Журналисты, бабы, какие-то забубенные алкаши, ни имени ни фамилии которых ленинградские друзья не знали, а представляли исключительно по кличкам «Новорожденный», «Железный», «Мойва», «Приостановленный», «Нырок» некоторые из них подходили к своим московским телефонам, но отвечали Стадниковой невнятным мычанием, лишь по интонациям которого догадывалась Ольга, что они не видели своего старого собутельника уже очень долгое время. И где он находится в данный момент они понятия не имеют.

Телефон девушки Юли дал Стадниковой Митя Матвеев.

Она очень не хотела звонить Мите, но, в конце концов, решив, что цель

в данном случае оправдывает средства, набрала его номер.

Митя долго мурлыкал в трубку, не скрывая своей радости от того, что Ольга ему позвонила, предлагал немедленно встретиться, услышав о невозможности randevu предлагал встретиться завтра, послезавтра, через неделю. Когда же наконец Стадниковай удалось растолковать ему суть проблемы он обрадовался еще больше.

— Юльке позвони! — едва ли не крикнул он. — Он у Юльки наверняка тусуется.

— Кто это — Юлька?

— Ну, как тебе сказать, Оля... Девушка такая. Москвичка. Ты не знала? Я не хотел тебе говорить...

«Вот сволочь какая, — подумала Стадникова. — Слизняк сраный. Не хотел он говорить. Да он от радости просто булькает. Заложил приятеля... Думает, что теперь ему от меня обломится... Думает, что я Лекова пошлю и он его место займет. Да ни хрена! Я Васильку устрою, конечно, он, подонок, по полной схеме у меня получит. Но этот гаденыш никогда со мной в койку не ляжет. Ладно. С паршивой овцы хоть шерсти клок...».

— Дай телефончик этой Юли.

— С удовольствием. Записывай.

— Кто там еще образовался? — спросил Куйбышев, когда Ольга повесила трубку.

— Какая-то курва московская, — хмуро ответила Стадникова. — Позвоню, узнаю.

Юля оказалась, как быстро поняла Стадникова по голосу и интонациям девушки, вовсе не «курвой». Она была очень недовольна поведением Василька, сказала, что он приехал к ней без звонка, прямо с вокзала, объяснив свое появление тем, что его внезапно «пробило». Ну, пробило, так пробило. Юля, давняя знакомая Кудрявцева и не последний человек в жизни московского андеграунда, пустила бедолагу переночевать, но среди ночи бедолага куда-то исчез, появился под утро в стельку пьяный с двумя бутылками водки, которые Юле пришлось выпить с ним на пару. Ольга не сомневалась, что именно так все и происходило. Уговаривать Василек умел, особенно женщин, что у него было, то было.

В конце концов, на второй день Юля поняла, что времяпрепровождение, предложенное ее ленинградским гостем может продолжаться довольно долго денег у Лекова было более, чем достаточно, деньги эти он Юле показывал и говорил, что проблем с выпивкой и едой не будет.

И, действительно, он несколько раз бегал в магазин и проносил в

избытке все самое дорогое из того, что можно было купить в московских гастрономах или на рынках.

Улучив момент, когда Леков находился в расслабленном и податливом состоянии, Юля вытащила у него из кармана пятьдесят рублей, взяла такси и поехала на Ленинградский вокзал. Там она купила билет на ночной поезд, вернулась, вручила его разомлевшему Васильку и, применив физическую силу, выставила засидевшегося, а, точнее, залежавшегося гостя за дверь.

— Слушай, — спросил Царев. — А деньги-то она не свистнула?

— Нет, — ответила Стадникова. — Нет. Я женщин знаю. И Лекова знаю. Он уехал с деньгами.

— Так...

Ихтиандр потряс над стаканом пустую бутылку.

— Кто пойдет?

— Я, — Царев встал. — Моя очередь.

— И где теперь его искать? — Ихтиандр мрачно покачал головой.

— На верхней полке.

Стадникова посмотрела на Царева с интересом. Степень угрюмости в голосе Куйбышева была столь высока, что более депрессивно, по ее мнению, уже ничей голос звучать не мог. Однако Цареву удалось побить рекорд своего друга.

Шаркая ногами он подошел к двери, ведущей на лестницу, замер, медленно повернулся к Стадниковой и совсем уже замогильно вымолвил:

— Позвони-ка этой твоей Юле.

— Так я же только что...

— Позвони, — неожиданным басом повторил Царев. В обычных условиях голос его имел баритональный диапазон, иногда даже переходил на тенор.

— А что сказать-то?

— Пусть узнает телефон ресторана на Ленинградском вокзале.

— Зачем?

Куйбышев тяжело вздохнул.

— Ты, Саня, иди в магазин. А то совсем свихнешься. Какой, к черту, телефон ресторана?

— Любой. Администратора, директора, охраны... Любой телефон. Ты сам подумай, Игорь... Ты же его знаешь.

— Слушай! Точно!

Куйбышев вскочил с табурета, едва не уронив его и неуклюже хлопнул себя руками по округлым бокам.

— Точно! Оля! Давай, звони!

— О, Господи... Да ради Бога. Мне уже все равно.

— Тебе-то, может быть, и все равно, а нам, вот с Царевым далеко не все равно. Это когда мы с Сулей встретимся без бабок — вот тогда нам уже будет все равно.

\*

— Я вас слушаю.

— Простите, нам бы администратора...

— Я администратор. Что вы хотели?

— А нельзя ли кого-нибудь из официантов?

— А вы кто, собственно, будете?

— Мы, понимаете ли, из Ленинграда звоним...

— И дальше что?

— У нас пропал товарищ...

— А я здесь при чем?

— Понимаете, мы думали, что он пошел в ресторан... Он, вообще, если честно, выпить любит... Думали...

— Стоп, стоп, стоп. Это из Питера, что ли?

— Ну да, я же говорю...

— Ха... Ну, вы даете, ребята. И как он выглядел, товарищ ваш?

— Такой приличный. В синем костюме... Волосы светлые... Приличный такой, в общем. Ну, приличный...

— Приличный. Сейчас, минуту подождите. У нас таких приличных полный зал каждый вечер.

Куйбышев сделал большие глаза и поднял руку, требуя тишины, хотя ни Стадникова, ни Царев, который по-прежнему стоял возле входной двери и без его предостережений боялись даже дыханием порвать тоненькую нить, которая, кажется, вела к исчезнувшему в столице Лекову.

— Але. Ну чего вам?

Куйбышев набрал в грудь побольше воздуха, словно собираясь нырнуть на максимально возможную глубину.

— Простите, а вы не официант?

— Ну, официант.

— Мы из Ленинграда звоним... Насчет товарища нашего.

— В синем костюме? Приличный такой? — московский официант сделал паузу и уточнил, — костюм, в смысле, приличный у него был, да?

— Был? — переспросил Ихтиандр.

— Ну, что, я вам не справочное бюро, — раздраженно сказал официант. Чего надо-то?

Ихтиандр просиял и поднял большой палец. Стадникова кинулась к нему и прижалась щекой к виску Куйбышева, пытаясь услышать, что говорит официант из Москвы.

— В синем...

— Ну, ребята, встречайте друга вашего завтра. Мы его на поезд посадили.

— Посадили?

Ольга побледнела и отпрянула от Ихтиандра. Царев, вероятно, решив, что все кончено, забыв о приличиях плюнул на пол.

— Ну да. Он совсем уже никакой был. Не бросать же его на вокзале. А у нас ночевать негде. У нас ресторан, а не гостиница. Да его и в гостиницу уже не того... короче, встречайте.

— А поезд какой?

— Богато вы живете там, в Питере, — не ответив на вопрос сказал официант. — Молодцы. Завидую.

— А поезд?..

Ответом Куйбышеву были короткие гудки.

— Ну что там? За что его посадили?

Ольга сидела на подоконнике спрятав лицо в ладонях. Слезы капали на пол, просачиваясь сквозь пальцы.

— Не ссы, Оля. Никуда его не посадили. Едет он. По крайней мере. официант этот так мне сказал. На поезд, сказал, посадили.

— На какой?

— А хрен его знает. Только, думается мне, что...

— Что? — быстро спросила Стадникова.

— Да ничего. Завтра посмотрим. Ну иди, иди, чего застыл, — с неожиданной злостью обрушился он на Царева, угрюмо рассматривающего след от плевка. — иди в магазин, е-мое, если я сейчас не выпью, то с ума сойду!

\*

— Сука, повторила Стадникова. — Как ты мог? Леков, как ты мог так?...

— Понимаете, братцы, — ответил Леков. — Ну, бывает... Ну, заехал к подруге... Ну, выпил... А бабки у меня были все до копейки. Я на свои пил.



На свою долю. А потом в кабак этот... А там, сами знаете, какие-то ухари подвалили... Ну. вмазали с ними. И с официантом... Очнулся — а на мне вот это все...

Леков усмехнулся, взялся пальцами за свои тренировочные штаны и оттянул их на бедрах, превращая в подобие галифе.

— Потом опять рубанулся. В поезде только очухался. Ни бабок, ничего... Ну, в купе скорешился там с одним. Он мне водки дал с собой... Пожалел, короче. Бывает, мужики. Разберемся. Вы что, меня не знаете?...

Звонок в дверь прервал монолог Василька.

— Кого там еще черт несет?

Стадникова вышла в прихожую, загремела дверной цепочкой, щелкнула замком.

— День добрый, — все сидящие на кухне услышали мужской голос. Леков никак на него не отреагировал, Куйбышев вздрогнул, а Царев, напротив, широко улыбнулся.

— Вот и кранты, — сказал он. — Вот и финита ля.

— Суля, — обреченно выдавил из себя Куйбышев. — Вычислил.

## Глава 6. Суля

*Повседневные неприятности никогда не бывают мелкими.*

*М. Монтень*

— Ну что решили, голуби мои? — спросил Андрей Сулим. Он сидел в мягком глубоком кресле закинув ногу на ногу. В руках Сулима дымилась сигарета «Мальборо», на журнальном столике, стоящем по правую руку Андрея поверх стопки ярких журналов с англоязычными заголовками лежали два красно-белых запечатанных сигаретных блока.

Царев глубоко вздохнул, а Ихтиандр потянулся к открытой сигаретной пачке, валяющейся рядом с блоками «Мальборо». Для этого ему нужно было встать со стула, но он, почему-то решил придвинуться вместе с сидением, не вставая, цепляя за ножку ботинком, протащил его по паркету, пыхтя вытащил из пачки сигарету, сунул в рот и, царапая пол, начал отъезжать на исходную позицию. Суля с ехидным выражением на лице следил за манипуляциями Куйбышева.

— Так я не слышу ответа. Когда бабули-то мои придут?

— Скоро, — выдавил из себя Царев. Ихтиандр хотел что-то сказать, но закашлялся, подавившись дымом.

— Тяжелые сигареты, да? — спросил Суля. — Ты на «Приму» переходи. Может, кашлять не будешь. Так я не понял, голуби, «скоро» — это когда? Через полчаса? Или через час? У меня со временем туго, сами знаете, голуби. Может, поспешите, а? Я и так ждал уже незнамо сколько. Заждался, можно сказать.

— Отдадим, Андрей. Ты же нас знаешь.

— Хорошо. Базар серьезный будет. Харе шутить, голуби. Я включаю счетчик.

Суля посмотрел а электронные часы — последний писк фарцовочной ленинградской моды.

— Сейчас у нас четыре. Вот так. Один процент в день. Вы согласны, как все барахло мои покупатели оценили?

— Ну, Андрей, тут тоже можно вопрос поднять, — начал было Ихтиандр, который к этому моменту уже проглотил злосчастный дым и немного пришел в себя.

— Нельзя, — отрезал Суля. — Никаких вопросов. Время для вопросов уже прошло, голуби мои. Так что с сегодняшнего дня — один процент. Это я вам, сами понимаете, как своим. С других больше беру. Но, тоже, врубитесь, что долго я ждать не буду. Не год и даже не полгода. Вы на такие бабки — с процентами — все равно не раскрутитесь. Грохнуть вас можно, конечно...

Царев со скучающим видом поднял глаза, посмотрел в потолок.

— ...конечно, можно, — повторил Суля. — Только мне с вас бабки нужны, а не трупки ваши вонючие. Так что — крутитесь как хотите. А будете медленно оборачиваться — я помогу. Ускорю вращение капитала. Путем физического воздействия. Вам объяснять не надо, как это делается?

— Не надо, — сказал Царев.

— Ну, вот и славно. А теперь валите отсюда. Завтра позвоню. И прятаться не вздумайте. Найду, из-под земли достану. Усекли?

— Усекли, — ответил Ихтиандр. — ты не думай, Андрей. Это такой случай... Случайно, то есть, все вышло. Кто же знал? Конечно, мы все поняли, все вернем. Прокрутимся сейчас...

— Ну-ну, — покачал головой суля и снова посмотрел на часы.

— Все, разговор окончен, — строго сказал он и встал. — общий привет.

— Да... Пока...

Ихтиандр и Куйбышев, толкаясь, одновременно протиснулись сквозь неширокий дверной проем, миновали прихожую, Куйбышев отодвинул стальной засов входной двери и они, наконец, покинули негостеприимную квартиру именитого мажора с бандитским уклоном Андрея Сулима.

Суля проводил гостей взглядом, постоял с минуту посреди комнаты и снова сел в кресло. Взял телефонную трубку, покрутил диск.

— Але! Это я.

— Слышу, — ответил Грек.

— Ну, короче, озадачил я их.

— И чего?

— Сказали — вернут бабки.

— Хм. С чего они их вернут? Это же нищета воинствующая. У них денег только на жвачку, да на кабак раз в неделю. Мелкота.

— Ну, это их дела уже.

— Их дела... Их дела будут годами тянуться. В час по чайной ложке будут тебе бабки сливать. Ты-то, хоть, правильно дал им понять, чем для них вся эта история обернуться может?

— Да врубились, врубились, точно говорю. Наехал нормально.

— Нормально... Нормально — это когда баба пять раз кончит, а у тебя еще стоит. И кейс на столе. Раскрытый. А у тебя что значит — «нормально»?

— Да нормально, — разозлился Суля. — Ты меня, что, первый день знаешь?

— В том-то и дело, что не первый, — вздохнул в трубку Грек. — Ладно, бывай. Сегодня в «Пуле» меня не будет. Завтра пересечемся. Есть тема одна. Обкашлять надо вдумчиво.

«Тема у него, — Суля швырнул трубку на хлипкие рычажки импортного аппарата. — У него, видите ли, тема... У меня тоже, может быть, тема. Из этих козлов бабки выбить. Ишь, раскомандовался. Правильно наехал, неправильно наехал... Сам бы и наезжал. А то, командовать — все мастера. Начальник. Я сам, может быть, начальник. Поумнее некоторых.»

Суля снова встал, подошел к тумбочке и ткнул пальцем в клавишу огромного «Грюндига». Бесшумно завертелись прозрачные бобины и из небольших сереньких колонок успокаивающе запели шведские девушки.

«Money, money, money-у».

«Мани, мани, мани-и, маст би фанни», — невесело подпел Суля. Что делать-то? Грек всегда гордился тем, что умел принимать нетрадиционные решения. Суля, да и не только Суля — многие из их компании не представляли себе отчетливо — какими путями Грек умудряется зарабатывать столько, сколько им всем вместе взятым только присниться могло. На цеховика он не походил, хотя многие из них, цеховиков дружили с Греком и держали чуть ли не за своего.

Фарцой тоже, особенно, не занимался, во всяком случае, напрямую. Иностранцы-то у него были знакомые, и много — Суля частенько видел Грека в окружении фирмачей. При этом Грек не шугался ни оперотрядов, ни ментов, ни, даже, кажется, гебухи.

Одевался всегда простенько — летом — костюмчик совковый из универмага, зимой — пальтишко на рыбьем меху, шапка-пирожок. Ботиночки скороходовские.

А посмотреть так умел — кровь не стыла в жилах, она просто тут же начинала сворачиваться.

Нетрадиционные решения... А у него, у Сули, тоже, может быть, с башкой все в порядке. Хотя и постучали по ней в свое время на ринге — сначала институтском, а потом и на серьезном. Успел он поездить и на чемпионаты страны и, едва в Европу не попал. Если бы не драка та, в кабаке на Петроградской — точно бы в Австрию слетал. Отделал бы там

немчуру всякую по первое число.

Ну, ничего. Он их и так отделяет. На бабки столько уже лохов фирменных опустил, что не стыдно за несостоявшийся чемпионат.

Вот сейчас он очень даже нетрадиционно позвонит в Москву, пробьет — как там дела у Толика-скважины. Может быть, может быть такая тема срастется, что и Грек опухнет от зависти.

Восьмерка, ноль — девяносто пять, семизначный номер по памяти.

— Хэллоу! Это Суля говорит. Толик? Ты? Рад, что тебя застал. Слушай, тут такое дело...

\*

— Не люди, звери, в большинстве своем. Уродливые, злые тараканы!

Леков изящно поклонился и с достоинством удалился за кулисы.

Несколько секунд зал оторопело молчал, потом с задних рядов раздались жидкие хлопки, их шелест прокатился волной до первых рядов и стих.

— Что-то совсем наш друг скис, — заметил Митя Матвеев, стоящий рядом со сценой. На груди Мити висел фотоаппарат «Зенит». Рядом с Митей переминался с ноги на ногу редактор подпольного журнала «Рок-все!» Яша Куманский.

— Нет новых идей, — сказал Куманский. — Еще год, ну, полтора, — и его окончательно забудут. Не работает человек. Весь этот его авангард — курам на смех. Ты же понимаешь, Митя?

— Понимаю, — ответил Матвеев и хотел сказать что-то еще, но Куманский перебил его, схватил за рукав пиджака, притянул к себе и зашептал в ухо, заливая Митю волной горячего, сладкого перегара.

— Вот, и я говорю.... Смотри, смотри, сейчас настоящий драйв пойдет...

«С утра портвейну нажрался, — подумал Матвеев. — Черт его подери! Железный человек. Мне бы так... Я и пиво-то утром пить не могу. А этот явно, бутылку высосал. И ни в одном глазу. Только запах. Настоящий мужчина.»

На сцену гордыми шагами вышли музыканты группы «Закат». Замерли у микрофонов. Зал заревел.

Группа «Закат» считалась в Ленинграде яростно антисоветской. Вероятно, в силу своего названия. Играли они исключительно в Рок-клубе — сцены Дворцов и Домов культуры были для «Заката» запечатаны семью

печатами. Именно так на столах у руководства Домов и Дворцов лежали специальные бумажки, присланные из специального отдела Комитета Государственной Безопасности, печати были на этих бумажках и много чего еще было. В том числе — списки групп и музыкантов, не рекомендуемых специальным отделом к выступлению на публике.

Рок-клуб — это статья особая. Рок-клуб и создан был этим самым специальным комитетом. В Рок-клубе выступить мог если не кто угодно, то, во всяком случае из таинственного списка — любой. А представители специального комитета не без удовольствия (тоже люди, ведь) слушали запрещенных артистов в специально отведенном для них месте. Слушали и делали выводы. Записи тоже делали. Для истории. Или еще для чего.

«Закат» начали свое выступление с «Колоколов». Говорилось в песне о том, что певцу эти самые колокола снятся по ночам. Лежат они в траве-мураве. Точнее, это становилось понятно только со второго куплета — колокола-то, собственно, висят.

А лежат языки. Дело в том, что в первых восьми строчках не было ни одного подлежащего. Одни сказуемые да определения. Междометия пару раз встречались. Лежат, поют, стонут, висят, звенят такие-растакие, горюшко, мол, горе и одна вокруг сплошная беда.

«И поднял я натруженный язык», — «Закат» затянул третий куплет.

Слушатели, сгрудившиеся возле сцены, подняли руки вверх, сцепились друг с другом пальцами и начали ритмично раскачиваться из стороны в сторону, подпевая вспотевшему от многозначительности «Закату»: — «Головой своей к нему приник».

Дальше было что-то про родник, про то, что кто-то там сник, про дневник, который попутно ведет автор и заносит туда всякие неприятности, из которых только, как выяснялось, и состоит вся его непростая жизнь.

После описания разных гадостей, случившихся с автором в росной траве-мураве следовало очень громкое гитарное соло. Зал затих, готовясь к кульминации.

Она не заставила себя ждать. Вокалист совершенно диким скоком подлетел к микрофону, принял странную паучью позу и заголосил финальную фразу:

«Комбат бьет траурный набат».

Ре-минор, ля-минор, ми-мажор и снова — ля минор.

«Я превращаюсь в репу от такого саунда», — подумал Митя Матвеев и стал потихоньку продираться сквозь потную толпу к буфету.

— Ты куда? — крикнул вслед товарищу Яша Куманский. — Куда, Митя? Такая крутизна!..

— В буфет, — бросил Митя, но Куманский уже отвернулся от него, и начал болтать головой, пытаясь попасть в резонанс с движениями толпы.

Ре-минор, ля-минор, ми-мажор.

Вот, вот для чего «Закат» этот мудацкий хорош. Во время его выступления в буфете народу поменьше.

Митя взял себе сто граммов коньяку, бутерброд с вареной колбасой. Буфет в Рок-клубе был знатный. Не во всяком театре можно было покушать так, как в рок-клубе. Организаторы постарались. Для себя, ведь, отчасти, делали. Сами здесь и отдыхали порой.

— Здорово, Мить!

К столику у сводчатого окна, за которым приютился Митя легким спортивным шагом приблизился Андрей Сулим.

— О, Андрей!

Митя был знаком с Сулей года три. Сошлись они в Доме Дружбы народов. Митя тогда еще школу заканчивал. По комсомольской линии попал в Дом Дружбы. Такое было мероприятие — встреча с немецкими спортсменками. Сперва консул выступал, по-немецки что-то бухтел-бухтел. Митя тихонько в туалет вышел из зала.

Туалет пустой был — все в зале трепетали, на немецких спортсменок глазели. Было на что поглазеть. Фройлянен все как на подбор — белокурые, бестии, отъевшиеся, такая если за ряд скрепленных между собой стульев зацепит случайно, когда по проходу прет — так весь ряд вместе со зрителями, с мясом выкорчует из пола.

В одной из кабинок заревела спускаемая в унитаз вода. Хлопнула деревянная дверца и рядом с Митей возник высокий, статный юноша неопределенного, впрочем, возраста. Юноша был одет в хороший пиджак с комсомольским значком и — Митя задержал взгляд не в силах оторвать его от вожака части гардероба — в новенькие джинсы, ярко-синие, в обтяжку, простроченные желтой ниткой, чуть расклешенные.

С джинсов, оно все и началось.

Разговорился Митя со статным юношей, тот его в буфет повел, шампанским, от которого Митя стремительно опьянел, угостил. Телефон свой оставил и растворился среди дружественных фройлянен.

Виделись они не часто, но каждая новая встреча оборачивалась для Мити чем-нибудь приятным — в зависимости от того, сколько денег мог он выложить перед Сулей за это приятное. Или диск хороший принесет улыбчивый знакомый, или носки фирменные. И до джинсов, наконец, дело дошло. После стройотряда Митя, наконец, позвонил Суле и, трепеща от нетерпения, сообщил, что готов и «штаны» взять.

— Что куришь? — спросил Суля, присаживаясь рядом с Митей.

— Да вот... — . Митя полез, было, в карман, но Суля, как всегда, обаятельно улыбнувшись, поднял вверх указательный палец.

— Угощайся.

В руке Андрей Сулима волшебным образом появилась красно-белая пачка с заветным, убедительно-черным цветом пропечатанным словом «Мальборо».

— Спасибо, — сказал Митя, вытягивая из пачки сигарету. — Пойдем, что ли, покурим?

Суля чиркнул зажигалкой.

— Здесь нельзя, Андрей...

Митя опасливо посмотрел в сторону буфетной стойки, над которой висела табличка, повествующая о том, что «У нас не курят».

Суля никак не отреагировал на замечание приятеля, прикурил, затянулся, выпустил дым, стряхнул крошки пепла в пустое блюдце.

— Слушай, у меня три диска «Цеппелина» пришло. — Для тебя тормознул. Надо тебе?

— О-о... Митя взял со стола зажигалку, зажег свою сигарету. Если что, Суля будет разбираться. Он первый закурил.

Повертел в руках зажигалку. «Зиппо» — непонятное слово.

— Бензиновая, что ли? — разочарованно спросил Митя.

— Да ладно тебе.

Суля отобрал у Матвеева зажигалку и сунул в карман пиджака.

— Так берешь?

— Андрей... Мне-то надо, конечно, только с бабками сейчас...

— Да потом отдашь. Мы же свои люди. Так как?

— Беру, — выдохнул Митя. — А какие?

— Четвертый, пятый и «Презенс».

— О, кайф... Беру, точно — беру.

— Слушай, — Суля выпустил в потолок тонкую струйку дыма. — А ты этого певца-то знаешь?

— Которого? Из «Заката», что ли?

— Да что ты, Митя... Ты же в музыке сечешь. Нет, того, который стихи читал перед этим «Закатом». Как его... Леков, что ли?

— Конечно знаю, — ответил Митя.

— Познакомить можешь? Нравится мне, как он это все...

Суля неопределенно покрутил в воздухе пальцами.

— Да запросто. Хоть сейчас. Если он уже не нажрался за кулисами.

— Да хоть и нажрался — большое дело. Я бы тоже сейчас коньячку



треснул. Можно вместе. А? Как ты?

\*

В примерку можно было попасть двумя путями. Коротким и длинным. Короткий, наиболее естественный — это подняться по лесенке на сцену, юркнуть за кулисы и оттуда — прямо по узенькому коридорчику к заветной двери.

Однако, на сцену всходить было страшновато. На сцене пожинал лавры «Закат». Пожинал настолько неистово и самозабвенно, что приближаться к «Закату» не каждый бы рискнул. Вероятно, эта группа, действительно, обладала таинственными способностями экспортировать свою энергетику как массовому зрителю, так и отдельным личностям, имевшим неосторожность слишком близко подойти к «Закату».

Вменяемые люди старались к «Закату» не приближаться. С теми, кто случайно оказывался в непосредственной близости от «Заката» в период его творческой эрекции происходили всякие нехорошие вещи. Одних током било, у других карма начинала скручиваться и переставать быть.

Некоторые везунчики, правда, получали банальные вывихи, ушибы, или легкие сотрясения головного мозга. Некоторые, которым повезло меньше спинного. Везунчиков, впрочем, было довольно много. Настолько, что в определенный момент в городе образовалось даже какое-то подобие клуба, членами которого являлись пострадавшие от личных встреч с «Закатом».

Собирались пострадавшие в котлетной на углу проспекта Майорова и улицы Римского-Корсакова, заказывали по паре котлет, доставали из сумок купленный в соседнем гастрономе портвейн и делились друг с другом впечатлениями.

Было чем делиться. В отличие от глупых и незрелых фанатов, члены импровизированного клуба были людьми серьезными и говорили мало, но по существу.

Кто-то тихо, но с гордостью сообщал товарищам о том, что у него разыгрался простатит, кто-то, краснея от удовольствия, шептал о неожиданном искривлении позвоночника и проблемами с симфизом.

Много собиралось в котлетной на углу Майорова и Римского-Корсакова беззубых, лысых, горбатых, слабовидящих, страдающих пляской Святого Витта, золотушных, трясущихся в приступе собачьей чумки, ритмично рыдающих от гипертрихоза, изгрызенных подагрой и

полумертвых, уставших жить, изнемогающих от невыносимой легкости бытия шизофреников, мучающихся помимо этой королевской болезни острым плоскостопием.

Впрочем, все члены клуба были людьми молодыми и хорошо одетыми, в будущее смотрели с оптимизмом и недуги свои воспринимали как заслуженные и выстраданные награды.

Митя об этом знал и, может быть, в силу врожденной трусости, старался к «Закату» не приближаться.

Втянут, закружат и заразят какой-нибудь вычурной пакостью.

Лечись потом.

Поэтому и повел он Сулю путем дальним — через оркестровую яму, по винтовой лесенке вниз, в подвальный коридор, вдоль стен которого тянулись всегда по-домашнему теплые трубы непонятного предназначения. Они выходили из одной стены и уходили в другую. Какую субстанцию они перегоняли, что символизировали, в чем было их предназначение не знал никто. Ни сантехники, ни газовщики, ни представители ЖЭКа.

Трубы эти, как говорил Мите сторож Дома Народного Творчества, в здании которого и базировался Рок-клуб, пребывали здесь еще до постройки, собственно, Дома Народного творчества. Лежали на земле. Теплые на ощупь, обернутые серыми листами асбеста, магнетически-притягательные. А вокруг НЭП, военный там коммунизм, флаги кумачевые. И вообще, с каждым днем жить становилось все лучше, все веселее.

И вот от этой-то удали безысходной, от обреченной радости и общей неустроенности, в пылу трудового энтузиазма и выстроили вокруг теплых труб здание невнятного цвета.

Ну, конечно — мир хижинам — война дворцам.

Дворцы-то частью поломали. А хижины строить — запаadlo. Да и некогда. Мировой революцией заниматься нужно. Лично лев перманентной революции, Лев Давидович поход возглавить грозится.

А трубы, теплые, уютные, идущие из пошлого прошлого в безумное будущее, из никуда в никуда — под ногами. Среди битого кирпича. В трубах время журчит. И все о них спотыкаются. И красноармейцы спотыкаются, и недобитые буржуи спотыкаются, и товарищи спотыкаются. Р-раз — и споткнулись.

Уравнивали загадочные трубы классовую принадлежность граждан.

И дошел слух о трубах лично до товарища Вавилова.

Вот, в один прекрасный день, через седмицу после дня рождения Карла Маркса и приехал товарищ Вавилов.

Походил-походил, споткнулся, за маузер схватился нервно. А потом

как рявкнет. Что-то про р-рок. И про клуб.

Что за р-рок-клуб? А спросить боязно.

Вот на всякий случай и решили выстроить Дворец Народного Творчества. От греха подальше.

Лично товарищ Вавилов принимал сдачу объекта. Принял.

— Трубы-то на месте? — спросил у прораба.

— А как же, товарищ Вавилов, — вытянулся по струнке прораб Леков. Целехоньки.

— Дом-то говно, — сказал товарищ Вавилов, — за дом я вас буду расстреливать и сажать. А вот за трубу — спасибо. За трубы я вас буду награждать, премировать и посылать. Загранкомандировки — Кипр, Анталия, Коста-Брава, Венес-Бич — что хотите просите у Советской Власти. Все дам.

А прораб Леков стоит, ни жив, ни мертв. Потому что слов таких не знает.

Что за Коста-Браво, что за Анталия — черт его разберет. Ну, жена есть Наталья. Я свою Наталью узнаю по талии. Коль широка талия — то моя Наталия.

— Сто лет еще журчать будут, товарищ Вавилов, — только и нашелся, что сказать прораб Леков.

«Р-р-рок», — сказал товарищ Вавилов. То есть — по инопланетному, как только он умел. За это его в ЦК и держали, несмотря на все пьянство его забубенное, на дебоширство и половую, а также, политическую распущенность. Закрывали глаза товарищи на то, что Вавилов имеет тройню от афроамериканки Марии Мвала и дети его — Мартин, Лютер и Кинг постоянно по двору Кремля болтаются, лопочут что-то на своем, никому не понятном языке, пристают к туристам и кланчат у них папиросы и жвачку.

— R-рок, — повторил товарищ Вавилов на своем непонятном наречии. А потом опомнился, посмотрел по сторонам и, на всякий случай перевел на русский: — «Да»! Советской власти. «Да» — дворцам просвещения. «Да»! перманентной революции.

С другой стороны, не сам же он в этом виноват. Никто ни в чем ни виноват. За месяц до русско-японской войны в песках под Хорезмом был похищен товарищ (тогда господин) Вавилов инопланетянами. Битых полгода таскался с ними по звездным далям, кругозор расширял. Инопланетяне научили Вавилова пьянству, дебоширству, половой и политической распущенности, а также своему языку. Ну и объяснили, ху из ху с точки зрения классовой борьбы. Вавилов ничему инопланетян учить не

стал. Достали со своими экспериментами.

ЦК все это прекрасно понимала. И терпела. А куда денешься — страна во враждебном окружении. А с инопланетянами только товарищ Вавилов может договариваться. Понимала ЦК, что без помощи инопланетян не сдюжить стране интервенцию, разруху, нарождающийся социализм и враждебное окружение. От чего-то оказаться пришлось бы. Но ведь жалко — и интервенцию, и разруху, и нарождающийся социализм и враждебное окружение. Оттого и терпела выверты товарища Вавилова, детей его черномазых, Марию Мвалу прости господи, терпела, которая повадилась сидеть у Царь-Пушки и траву целыми днями курить прилюдно, сонно и скучно глядя на охваченный трудовым энтузиазмом Третий Рим.

А чему удивляться. Вавилов-то — он ЦК за горло держал. Приходил ночью к спальне ЦК, скребся в дверь, когтями пол паркетный царапал, был страшно, все собаки московские обмирали, шерсть на себе рвал — клочья по утру уборщица часами выметала из кремлевских коридоров и стонал нутужно: мол, умираю, открой, ЦК. ЦК терпела-терпела, но потом дверь открывала. И хорошо, ежели один был Вавилов, а не с гопотой своей инопланетной — французы (слово-то какое смешное), немцы, готтентоты, ирокезы и вовсе уже запредельные штатники какие-то. С ними-то Вавилов и пил. И излишества предавался.

А ЦК отказать ему не могла. Ибо такое получала удовольствие, когда Вавилов и вся его инопланетная шобла ЦК на постели раскладывали и начинали ей во все места купюры засовывать. Тугие, очень тугие, свернутые в трубочку пачки купюр. Ну и по мелочи, естественно — танки, звездолеты, ядерный меч, ракетный щит. Жвачка та же, папиросы опять-таки.

В общем, никто, кроме прораба Лекова не слышал, как выругался товарищ Вавилов. Тихонько так выругался, про себя. Но прораб Леков услышал.

«Smoke», — сказал товарищ Вавилов, вашу «on the water».

«If you want to save your money, fuck yourself, it will be funny», тихонько прошептал оторопевший прораб Леков, но начальник услышал. Подошел поближе. В глаза посмотрел прорабу Лекову.

— Who are you, — тихо спросил.

— I don `t know, — сказал оторопевший прораб.

— Я так и думал, — разочарованно протянул товарищ Вавилов. — Ничего вы о себе не знаете. В этом весь ужас. Для того революция и понадобилась.

— Дворец будет, — сказал прораб Леков. — Со сценой. А трубы в

подвал упрячем. На сцене представления будут. Борцы будут выступать, фокусники. Престеиджитаторы, трансовеститы, эксгибиционисты и терминаторы. Come across my swimming pool, короче.

— Прор-рок, — похвалил его Вавилов. — В натуре.

Вынул из кармана Орден Вавилова и на фуфайку прорабскую прицепил. Орден сорвался, упал в канаву и стал тонуть. Он барахтался, хватался краями звезды за скользкие глинистые берега канавы, которая казалась ему огромной, он булькал и хрипел. Леков нагнулся и быстро спас орден. Потом он порылся в карманах, булавку нашел. Согрел орден а ладонях и к фуфайке приладил.

— Молодец, — сказал Вавилов. — Сметлив. Не быть тебе прорабом...

— А кем быть? — спросил мгновенно вспотевший от ужаса Леков.

— А ты хочешь быть? Ладно, придумаем, — буркнул заскучавший Вавилов. С места, лихим каваллерийским заскоком на «эмку» прыгнул, ударил ее шпорами, ожег нагайкой и был таков.

А за «эмкой», просевшей от непомерного груза свалившейся на нее ответственности вся сотня, гремя копытами гнедых откормленных битюгов, ударилась в грохочущий аллюр и растворилась в бензиновой гари улицы Рубинштейна, обернувшись «Марсельезой».

Прораб Леков вытер пот. Что за жизнь, что за наваждение?

Ладонью коснулся груди. И перевел взгляд. На ватнике ордена не было. Одна булавка.

Убиться бы.

Наталия дома посуду моет под «Talking Heads» из дешевых динамиков, а я тут как мудака траншеи рою для товарища Вавилова. В гробу бы его видеть. Под этими самыми трубами и закопал бы. Сука совдепская.

Ми-мажор, фа-мажор, ми-мажор... Торжественно так, фламенко, мол... И импровизация, и смена тональности и — вперед, только успевайте следить за нотами моими. Эй, мальчишки-девочки, кидайте свои пальчики быстрее, чем пули, вылетающие из ваших воняющих ваксой маузеров. Вы же ваши кобуры сапожным кремом мажете, чтоб блестели, быдло. А кожаные ваши плащи — гуталином умащиваете. Плебеи. О ваших разведчиках, тех, что на «Фарманах» летают, и говорить нечего. Без кокаина внутрь и без ваксы наружу с земли не поднимаются. Принципиально. Вот она, ваша армия, вот они — ваши отморозки.

И с этими отморозками вы хотите мир завоевать?

Завоевывайте. А я котлован пойду завтра копать для товарища Вавилова. Дом Народного Творчества строить будем. Со сценой и буфетом. Где все будет не по карточкам. И копченый судачок там будет всегда, и

картоха, и спирт сухой в таблетках и плакаты Лекова, и португальское вино портвейн будет. И дрозды маринованные, консервированные, из Америки по лендлизу доставленные в двух вариантах, в двух окрасах. Дневной — малиновый, ночной — черный. Специально они так дроздов красят — под «Спитфайеры». Все там будет. Аквариум здоровенный поставим, воды нальем, карасей запустим — пусть живут. А над стойкой буфетной — клетку повесим. С дроздами певчими. А по выходным и по праздникам кино будем показывать. Разное. Про гиперболоид инженера Гарина и про фрау, у которой в спине семь ножей. И про Алису в стране дураков.

Главное котлован в блюзовый квадрат вписать. Иначе никак, дома вокруг.

Дальше — дело привычное.

Прораб Леков скрутил самокрутку, чиркнул спичкой, втянул в себя сладкий дым. Самокрутка зашипела и погасла. Над головой прораба Лекова пролетел дрозд и осквернил его самокрутку.

Проклятые дрозды! Где Вавилов — там всегда дрозды. От этого все знают. На съездах и пленумах только об этом говорят. Прикармливают он их, что ли? Стране танки нужны, самолеты. Ракетный меч нужен да ядерный щит. А тут дрозды.

Над товарищем Вавиловым орлам положено кружиться. Отточенным, мускулистым, со свежим, трезвым взглядом на жизнь мужественным беркутам, подвижным, всегда готовым к подвигу степным орлам, иноземным кондорам даже можно виться над головой товарища Вавилова. А особенно идет товарищу Вавилову эскорт белых орлов — знай наших! Как выйдет, бывало, товарищ Вавилов на Красную площадь, а над ним белый орел кружит в парадном оперении — тут вся очередь возле ГУМа головы задирает. И непонятно, на кого она глядит, очередь — не белого орла, или на товарища Вавилова. Он, ведь, высок ростом был, бывало, что и Спаса на Крови закрывал своей фигурой от любопытных взглядов туристов.

Сначала-то, до того, как уважаемым человеком стал, просто сторожем в Кремле работал. Удобно было — подойдет сторож Вавилов к Спасской башне, платок вынет носовой, плюнет на него и звезды протрет. Блестят потом целый месяц как новенькие, слюной товарища Вавилова умащенные.

Орлам можно с таким человеком рядом парить, беркутам, кондорам.

Но уж никак не этим, зажавшимся, растерявшим ум честь и совесть, обнаглевшим от собственной расторопности, наглым дроздам. И чего он их привечает, уму непостижимо. Расстреляют товарища Вавилова рано или поздно за эту его оппортунистическую орнитологию.

Митя, на самом деле, про товарища Вавилова знал очень мало. Только то знал, что в институте ему говорили о Вавилове на уроках диалектической орнитологии и сопромата. Мол, такой, Вавилов, известный дрессировщик птиц и сопроматщик знатный. И все. Но что-то слышал и про трубы, которые тянулись вдоль стен подвала Дома Народного Творчества — якобы, известный дрессировщик имел к ним какое-то отношение. Трубы-то теплые были, анализировал невнятные слухи в минуты похмелья Митя. Под ними, вероятно, он инкубатор устроил. И белых орлов разводил.

Трубы, наконец, закончились. Митя и Сулим поднялись по витой лесенке и, миновав три плана кулис, очутились в узком коридорчике, ведущем к гримерным комнатам.

— Вон он, там, — показал Митя на одну из приоткрытых дверей. Уверенно прошагал по коридору, встал на пороге и окликнул: — Васька!

Помещение гримерки было забито до отказа. Какие-то незнакомые, не рок-клубовского вида личности. «Сайгоновские» девочки в длинных, до земли, грязноватых юбках, с «фенечками», с характерным, обреченно-многозначительным взглядом — все они загораживали от взгляда Сули Василия Лекова.

Митя кашлянул, пытаясь обратить на себя внимание. Бесполезно.

— Леков, — он попытался придать своему голосу значимость. Что ни говори, а сзади сам Сулим в затылок дышит.

Две или три девушки обернулись и враждебно посмотрели на Митю.

Суля скучающе смотрел по сторонам.

— Леков! — Митя начал терять терпение.

— Ну чего еще? — Леков бесцеремонно отодвинул одну из девиц. Лицо его было красным и потным.

— Слышь, Василий, — Митя запнулся. — Короче, вот, знакомься. Это Андрей.

Леков, не вставая, из-за спин вытянул руку.

Чтобы пожать. ее Суле пришлось пересечь гримерку. Пересек. Пожал потную ладонь артиста.

— Андрей? — спросил Леков заговорщицки.

— Андрей, — подтвердил Суля.

— Андрей, — Леков понизил голос. И вдруг громко и радостно: — Держи нос бодрей.

И первый, не дожидаясь реакции окружающих, заржал, донельзя довольны собой.

— Ладно, не куксись. — Леков ухватился за кого-то и грузно поднялся со стула. Качнулся. Утвердил равновесие.

— Вы это, — он обвел взглядом почитателей. И грозно повторил: — Вы это!

— Василий.

Митя попытался перехватить инициативу. Вот ведь козел. Подонок полный. И какого хрена Стадникова в нем нашла. Дура!

Не слушая его, Леков подошел к Суле. Все стояли и чего-то ждали. Похоже, какого-нибудь аттракциона. который вот-вот отмочит их кумир.

Леков медленно повернул голову.

— Пидоры гнойные, — рявкнул он на барышень, явно путая их с кем-то. Мудозвоны.

Он показал трясущейся рукой на Сулю.

— Вот... Вот человек! А вы — кал чистой воды.

Он помолчал, собираясь с мыслями.

— Слушайте, козлы.

Одна из барышень хихикнула. Подружка ткнула ее локтем, но поздно.

— Чего ржешь, мудак! — заревел Леков. — Пойдем выйдем.

Внезапно он утерял интерес к девчужке.

— Слушайте, уроды, — голос его сделался торжественным. — Сидим мы с ним в этой, обсер... обсер... Ну там, где люди ночью сидят. С телескопами. Я ему: на хрен же ты у меня фотопластинки помыл? Это я ему так. А он молчит. Потому что не такое говно, как вы. У него этих фотопластинок... — Леков ухватился за пиджак Сули. — Преданно посмотрел ему в лицо. Потом снова уставился на слушательниц. — Много ему их надо. Потому что... Потому что это, эврибади, гений. Он... он звезду новую открыть хотел. — Точно?

Леков уткнулся лицом в Суле в грудь. Отпрянул.

— Гений он. Он звезду открывал. Ему фотопластинки во как были нужны. Когда звезду новую открываешь, до черта фотоматериалов изводить приходится. А теперь открыл и сюда пришел. А вы, козлы, не врубаетесь. — Он звезду открыл. В созвездии имени XX съезда КПСС. Скажи им! Скажи, астроном ты мой любимый!



Суля брезгливо отцепил пальца Лекова.  
— Давай-ка по коньячку.  
Суля мотнул головой Мите.  
Тот прикрыл глаза.  
— По-конь-яч-ку, — пропел вдруг Леков. — Дер-нем-мы-по-конь-яч-ку.  
Леков полез к Суле целоваться.  
— Родной ты мой. Звездооткрыватель. Star Discoverer.  
— Star Maker, — насмешливо уточнил Суля.  
— Поняли вы, — заорал Леков удивленной аудитории. — Лав мейкер он. Звезду открыл, козлы вы просто, козлы... И мне ее принес.  
— Я принес целых пять звезд, — сказал Суля и достал бутылку.  
Леков шумно упал на колени.  
— Благодетель! Батюшка. Ваше преосвященство. Благословите. Исцелите золотушного.  
Он пополз к Суле. Тот, не обращая внимание на прихипованный сброд, присел перед этим юродивым на корточки.  
— Ладно, проехали. Сейчас поедем.  
— Куда? — Леков поднял к Суле опухшее лицо. Взгляд его производил неприятное впечатление. Казалось, Леков смотрит куда-то сквозь Сулю, вдаль. И по фигу ему и Суля, и прихипованный сброд, и гримерка — все, все ему по барабану.  
— Звезды открывать. — Суля хлопнул его по плечу. — Так что, едем?  
— Летим!  
Леков тяжело поднялся с колен.

\*

Первое, что увидел Леков, проснувшись, были сосны в окне. Черные ветви сосен на фоне серебристого неба. Белые ночи.  
Сосны Лекову были незнакомы. И окно тоже. Непривычное оно было. Дома окно было другое. И форточка расположена иначе.  
Леков попытался приподнять голову. Ох, ох, ох... Мать твою! Надо поосторожнее.  
Интересно, где он оказался на этот раз?  
Несмотря на неприятные аспекты подобных пробуждений, Василий всегда умел находить в них положительные стороны. Никогда нельзя было угадать заранее, где ты очутишься.

Лекову приходилось порой просыпаться в очень странных местах. На веранде дома, где пахло сиренью, а по улицам ездили экипажи и ходили чинные люди в котелках. Среди кирпичного крошева, на полу того, что когда-то было спортивным залом школы. Там во дворе, помнится, ревел, надсаживаясь немецкий танк. На теплых трубах, под свинцовым небом, в сантиметре от хорошо смазанных сапог какого-то мудака в шинели. Мудак размахивал маузером и что-то пытался объяснить ему, Лекову. В захламленной донельзя квартире знакомой по прозвищу Маркиза, где пахло красками и скипидаром. Однажды, так вообще — в фарватере канала Герцена на траверзе Института имени Экономики и Финансов, имея в одной руке невиданного размера копченого судачка, а в другой отчего-то спиртовку. Спиртовку пришлось бросить — на дно тянула. А вдвоем с судачком выплыли. Точнее, судачок вынес, как дельфин Нереиду. Леков, правда, в тот раз не удержался, и отплатил черной неблагодарностью: сожрал его во дворе института, под брезгливыми взглядами студентов.

И иные пробуждения были. На спине несущейся во весь опор гнедой кобыле, навстречу каким-то говнюкам. В руке меч, во рту капустная кочерыжка. Почему-то в том пробуждении так принято было — перед боем по капустной кочерыжке вручать.

Вершиной же было пробуждение в шкуре белого носорога. В носороге было хорошо. И на блев не тянуло. Только недолго лафа длилась, появился кто-то с могучей берданкой и носорога завалил. Ох и жутко было после. Мрак, скорбь, многорукие боги похмелья, от которых никуда не спрячешься — ни в метро, ни в катакомбы римские, ни под одеяло — всюду дотянуться своими руками липкими и холодными.

Так где же он на этот раз оказался?

Леков полежал, размышляя и стараясь больше головой не шевелить. Затем пришла иная мысль — вспыхнула молнией, высветив главный вопрос: отчего он проснулся?

В комнате темно,  
Белая ночь в окно,  
Комары звенят...

Что каждый раз служит причиной пробуждения? Одна это причина или же некий уникальный элемент множества причин?

А если исследовать это множество?

Лекову никогда не удавалось исследовать это множество. Даже,

пребывая в белом носороге, когда, пощипывая сухую траву саванны он пришел к неожиданному выводу: данное множество является, в свою очередь подмножеством другого множества. Но тогда появился этот козел на джипе, выстрелил и с мыслей сбил.

Но здесь-то ладно. Никаких джипов, никакой стрельбы. Никаких копченых судачков.

Однако, что-то ведь заставило проснуться?

— Мы-ы, — промычал Леков, вопрошая сосны и белую ночь. — Мы-ы-ы.

Он осторожно выпростал из-под себя затекшую руку. Зашарил вокруг. Нащупал книгу. Поднес к лицу. Ишь ты! Евгений Замятин. Называется «Мы».

Леков открыл книгу и начал читать. Когда он дошел до шестьдесят четвертой страницы, истинная причина его пробуждения обозначилась со всей очевидностью: телефон же звонит где-то. Где-то неподалеку. И давно, гад звонит. Он, Леков, успел и про сосны подумать, и про белую ночь. И шестьдесят четыре страницы «Мы» прочитать, а он все звонит. Во настырный какой.

Евгений Замятин очень хороший писатель. После шестидесяти четыре страниц «Мы» похорошело настолько, что левая рука обрела некую степень свободы. И на нее стало возможны опереться, дабы чуть-чуть приподняться и, тем самым, несколько расширить свой горизонт. Увидеть, наконец, этот чертов телефон.

Похмельные боги были в этот раз милостивы. Левая рука как раз и оперлась на телефонный аппарат, который паскудно трезвонил все это время. Вот ведь людям делать нечего, набрать номер и слушать долгими часами долгие гудки. Можно подумать, он, Леков сейчас все бросит и будет по телефону кудахтать, как Стадникова поутру.

Стадникова появлялась в некоторых пробуждениях. А в других не появлялась.

Но даже когда появлялась, радости не приносила. Да и возникала в разных облициях — Медузы Горгоны, Той-Кто-Трясет-За-Плечо, Шарлоттой Корде, Жанной д'Арк обугленной приходила. Однажды только красавицей явилась. Леков даже ее захотел было. «Как тебя звать-то, красавица?» — спросил тогда Леков. «Пенелопа я» — потупив взор, ответила Стадникова.

Надо же было такое говенное имя для себя придумать! Стадникова — она Стадникова и есть. Вечно все опошлит.

Под кого бы она не маскировалась, всегда выявляла свою зловредную

суть. Выявит, изведет, всю душу вынет, а потом давай как ни в чем не бывало по телефону кудахтать. Похвалялась, гордилась собой, одновременно наводила вечерний макияж. Благо, раньше семи вечера Стадникова обычно не просыпалась.

Надо, кстати, узнать, который час.

Леков — спасибо Замятину — неверной рукой снял телефонную трубку.

— К-который час? — спросил Леков у трубки.

— Три утра, — сказала трубка мужским голосом. — Как ты себя чувствуешь?

Только сейчас Леков понял НАСКОЛЬКО плохо он себя чувствует. Так и ответил трубке.

— Ты помнишь, — спросила трубка, — что с сегодняшнего дня мы договорились начать с тобой новую жизнь.

— Да, — лицемерно ответил Леков. Не иначе, Стадникова под мужика косит.

— Но для этого мне нужна твоя помощь, — гнула свое трубка.

— Это мне твоя помощь нужна, — сказал Леков таящейся Стадниковой. Пивка бы.

— Никакого пивка, — заглобилась трубка.

— Помру же, — привычно соврал Леков.

— Слушай меня, — голос в трубке посуровел. — Подними правую руку.

— Не могу, — жалобно отозвался Леков.

— Водки хочешь? — спросила трубка.

Леков встрепнулся. Ты бы еще спросил пилота самолета, у которого не выходят шасси, хочет ли он благополучно приземлиться.

— Ты должен встать, — продолжала трубка.

Леков почувствовал себя коброй, перед которой сидит человек с дудочкой. Черт бы побрал тебя, Стадникова, с твоими издевательствами! Это каждый дурак знает, что кобра ничего не слышит. А реагирует на движения дудочки лишь потому, что этой самой дудочкой ее каждый божий день лупят по треугольной башке.

Извиваясь, расплетая кольца, Леков начал подниматься, раскачиваясь и тихо шипя.

— Молодец, — сказала трубка. — Теперь аккуратненько правой рукой назад. Осторожно, водки мало. Там полочка такая, на ней стопка. В стопке — водка.

Человеческий взгляд не успевает уследить за стремительным броском

кобры. Трубка еще договаривала: «...одка», как кобра нанесла удар. Пораженная стопка выпала из вялых пальцев.

Леков облегченно выдохнул. Откинулся назад. Снова нащупал трубку.  
— Еще есть?

Трубка ответила короткими гудками.

\*

Суля положил трубку. Так, процесс пошел.

Из рок-клуба они с Митькой повезли пьяного Лекова прямо на дачу. Еще в машине, прежде чем тронуться с места, Сулим влил в Лекова полбутылки коньяка, после чего выдающийся рок-музыкант еще минут пять поматерился, а потом вырубился окончательно.

По дороге пришлось сделать лишь одну остановку: спешно вытаскивать Лекова, чтобы не заблевал салон машины. После чего, Сулим велел Митьке влить в певца оставшиеся полбутылки, чтобы уgomонить. Остаток пути преодолели без приключений.

План действия у Сулима сложился еще по дороге.

Дача находится в сторону от шоссе и от железной дороги. Оказавшись там впервые, да еще с жуткого похмелья, просто так дорогу к городу не найдешь. Да и не до города будет Лекову после пробуждения. Он лишь об опохмелке думать будет.

На даче они уложили Лекова на диван. Еще два часа ушло на «минирование местности» — на расстановку стопок с водкой, которые предстояло обнаружить Ваське.

Леков спал беспробудным сном. Сулим оглядел напоследок помещение. Должно сработать. Метод проверенный — постепенный выход из запоя: каждые три часа — по пятьдесят грамм. К вечеру похмелье сойдет на нет, клиент уснет, а еще через сутки с ним можно будет разговаривать.

\*

Все плыло и кружилось. С утра напoлзли облака. Сделалось пасмурно. Временами снаружи начинал накрапывать мелкий дождь.

Леков уже не верил трубке. Все она врет. Он сам, сам найдет следующую стопку. А Стадниковой не жить. Что за издевательство, в самом

деле. Позвонить в три утра и предложить пятьдесят грамм. Потом позвонить снова, в шесть и опять заставлять разгадывать идиотские ребусы. Мол, по лестнице вниз — на этой лестнице Леков чуть шею себе не свернул — и там мол, под нижней ступенькой очередная порция. Порция-то положим нашлась, а вот как себя чувствовал Леков с трех до шести, то есть, между первой и второй — о том лучше не вспоминать.

И снова из-под лестницы нужно было спешить назад, в страхе, что не услышит телефонного звонка. А потом ждать, ждать.

Леков перерыл все комнату, заглянул даже под древний комод, пошарил рукой в хлопьях пыли. Стопки там не было. Не было ее и на кухне. И на веранде — там в полу подозрительная доска была, вроде выступала; Леков ее отодрал, срывая ногти — пусто.

Телефон зазвонил в девять. Нужно было подняться на второй этаж, подойти к книжному шкафу, где стояла пыльная «Малая советская энциклопедия», вытащить том на «Д» и найти заветную стопку.

Леков, не доверяя трубке, вытащил все, что было в шкафу. Больше стопок с водкой за книгами не хранилось.

С одиннадцати до полудня Леков сидел и неотрывно смотрел, как медленно-медленно ползет часовая стрелка.

Телефонный звонок раздался в три минуты первого. Вот ведь сволочь!

На этот раз нужно было идти на улицу, обойти дом, найти беседку, отсчитать направо второй куст шиповника и, обдираясь об колючки, вытащить заветную стопку, нещадно разведенную дождевой водой. Последнее особенно обидело Лекова. Могли бы и прикрыть чем-нибудь.

Леков уже не был уверен, что звонит именно Стадникова. Слишком хитроумно для нее. Стадниковой до такого никогда не додуматься. И вообще, в мужчину он могла обратиться только ранним утром.

Нет, это очевидно кто-то похитрее. Тот, кто стоит за Стадниковой. Но Стадниковой не жить все равно.

В девять вечера Леков, который уже и не представлял себе, как смог прожить этот страшный и бесконечный день (правда, выпил в три — у колодца и в шесть — на чердаке), приняв в сараюшке очередные пятьдесят грамм, махнул на все рукой и улегся спать.

\*

Утром Леков проснулся оттого, что кто-то потряс его за плечо. Он перевернулся на другой бок. Перед ним стоял человек, которого Леков

никогда прежде не видел. А, Может быть, и видел, но не помнил.

— Вставай, — хмуро буркнул незнакомец. — Хорош прохлаждаться.

— А ты кто? — спросил Леков, не вполне еще пришедший в себя. Всю ночь снилась какая-то муть.

— Сулим меня звать. В рок-клубе с тобой познакомились. Позавчера. Помнишь про звезды ты мне пел?

Леков не про какие звезды не помнил.

— А что я тебе пел? — вяло поинтересовался он.

— Разное пел, — Сулим оглядел разгромленное помещение.

— Который час? — спросил Леков. И жадно посмотрел на телефонный аппарат.

Суля проследил за его взглядом.

— Не надейся, больше водки нет, — усмехнулся он. — Это я звонил тебе вчера, если ты не врубился.

Леков сник.

— Ладно, не кисни, — подбодрил его Суля. — Не конец света еще. Все у тебя будет. Только перетерпеть надо. Ну и потрудиться маленько. Как мы с тобой договорились.

Леков пытался вспомнить, о чем таком они договаривались с этим парнем. Бесполезно. Он не помнил даже, как доиграл этот злосчастный концерт в рок-клубе. Начали-то они с утра. У ларька возле здания Ленконцерта на Фонтанке. Ну, а потом продолжили.

В рок-клуб Лекова, что называется, ввели. Потом он немного очухался, обрел способность самостоятельно передвигаться. Выше на сцену. Это последнее, о чем он, хоть смутно, но еще помнил.

А окончательно его развезло на «Кобелиной любви». А в ней Лекова всегда развозило, даже когда не пил перед этим — в организме все равно находились какие-то следы алкоголя, которые били в голову и Лекова развозило.

Но что интересно. Когда слушал себя в записи — не развозило ни разу.

Должно быть обертоны какие-нибудь пленка не фиксировала. Пленка-то говно.

— Все у тебя будет, — повторил Суля

## Глава 7. Морщина времени

*Воин, не ходит там, где свистят пули.*

*К. Кастанеда*

Толик ждал звонка Сулима три дня, потом не выдержал — вот-вот нужно было улетать в Новосибирск с большой концертной бригадой — Лукашина, пара юмористов одесских из театра Райкина, хор имени Русской Пляски, московский певец Отрадный в качестве довеска — много денег он не просил, декларировал, что, мол, чистым искусством живет. Судя по его внешнему виду, чистое искусство было продуктом достаточно калорийным и нажористым.

После Новороссийска сразу, без перерыва даже в один день следовал тур с медленно и верно выходившими в тираж белорусскими «Запевалами» в компании «Хризолитов» и «Нарциссами».

Толик хотел выехать в провинцию со спокойным сердцем, ибо знал уже, что прелести гастрольной жизни с такими людьми, как Лукашина и «Нарциссы», несмотря на все заработанные деньги, изматывают физически и разрушают морально так, что порой хотелось все бросить и вернуться в свою москонцертную конурку, в которой Толик еще год назад спокойно торговал билетами на тех же Лукашиных и «Нарциссов». Зарабатывал он тогда по нынешним масштабам полную ерунду — в ресторане за вечер они с одесскими юмористами теперь больше оставляли, чем Толик в своем Москонцерте за месяц наваривал, зато покой был, нервы в порядке и сон глубокий по ночам...

Но машина была запущена и обратной дороги не было. Да и к деньгам привыкаешь очень быстро — Толик не представлял себе теперь, как он вообще жил до тех пор, пока не пришло к нему решение изумительно простое и ясное, как все гениальное.

Теперь Лукашина, юмористы, цыгане московские, всевозможные ВИА и еще тьма артистов всех и всяческих жанров чесали по провинциальным стадионам, зарабатывали деньги не чета филармоническим ставкам и Толик свою долю малую имел. И директора провинциальных стадионов тоже в накладе не оставались.

Схема была настолько элементарной, что Толик недоумевал, как это до него никто до подобного не додумался. Ну, понятно, боялись. Боязливый



народ, десятилетиями задерганный властью. Только и горазды кичиться причастностью своей к высокому искусству, а как до дела доходит, чтобы, например, представителям того же высокого искусства заработать помочь — тут же куксятся, со скучающими лицами показывают ведомости филармонические и руками разводят. Мол, кто же в нашей стране может еще больше заработать.

И то — за два часа пребывания на сцене — пять рублей с копейками. Рабочий какой-нибудь весь день у станка за эти деньги стоит, по уши в смазке и стружке стальной.

Конечно, если рабочий более или менее грамотный, он рублей двенадцать, а то и все пятнадцать за смену мог срубить. Но ведь и артисту не заказано два-три концерта в день отрабатывать. То на то и выходит.

Но, думал Толик, работяга-то в более выгодных условиях находится, чем артист популярный. Придет к работяге кореш, скажет — выточи-ка ты мне, друган, ключ. Или еще что. А я тебе — что хошь отфрезерую. А артисту что фрезеровать? Нечего артисту фрезеровать, И вытачивать нечего. А сапоги тачать ему бесплатно никто не будет. Наоборот, последнее из карманов вынут. И не поморщатся. Почешут только шилом в затылке и подумают — мог бы и больше дать. Чай, артист, а не работяга какой-нибудь.

Не дело это, не дело, думал Толик. Не может быть, чтобы и артист не мог левак срубить. Нет, рубили, конечно, рубили, но все за те же пятерки — десятки, по-мелочи и с оглядкой.

Первый эксперимент Толик провел с Лукашиной. Напечатал афиши, в которых жирным синим шрифтом значилось, что певица Лукашина приезжает в Сыктывкар с концертом, который устраивает филармония — какого города, Толик сейчас уже не помнил. Разумеется, что в этом безымянном городе никто не про какой Сыктывкар и слыхом не слыхивал. А с директором стадиона Толик так прямо и договорился — всю выручку пополам. Быстро приехали, отпели свое и тут же уехали. А афиши — заклеить и все дела.

Прошло. Лукашина даже «спасибо» сказала, что ей, вообще-то, было не свойственно.

Прошло раз, прошло другой, а потом покатилося все как по маслу.

Артисты — а очень быстро вокруг Лукашиной и цыгане нарисовались, и рок-группы столичные, юмористы пришли последними, но оказались очень кстати. Толик долго юмористов в свою бригаду брать не хотел, но как-то выпили сильно в «Праге», рассмешили юмористы Толика, он и взял их в следующую поездку.

Слухи, однако, до столицы доходили, хотя и молчали артисты как рыбы кому охота лишаться денег, которые валяются в буквальном смысле с неба. Когда, к примеру, на открытом стадионе под звездным небом где-нибудь в Тбилиси поешь, а потом, спустя пять минут, в гримерке получаешь свою тысячу. А то и больше. Натурально — отпел, отыграл — получи. С неба, откуда же еще.

Но слухи доходили — Москва — она приезжим людям живет, а приезжие и делились со своими московскими родственниками да друзьями впечатлениями. Мол, у нас в Воркуте не хуже, чем у вас тут. У нас и Лукашина поет раз в месяц, и цыгане пляшут, и юмористы полузапрещенные такие байки загибают, что ухохочешься и даже «Нарциссы» декадентские свой антисоветский рок вовсю со стадионной сцены двигают. В общем, неизвестно, где еще лучше — в нашей Воркуте, где северные идут, между прочим, полярные, запредельные, или у вас тут, с вашей зарплатой в сто двадцать и с очередями в ГУМе.

Пришлось Толику делиться с важными людьми, но все прошло мирно и, на удивление тихо. Вот после этого дело и закрутилось по-настоящему.

Настолько сильно закрутилось, что возникла проблема расширения репертуара. В регионах начали появляться конкуренты — мелочь правда, но Толик понимал отчетливо, что это ПОКА они мелочь. А пройдет годик-другой — и придется зубами каждый концерт выгрызать. Кончится синекура. Того гляди — и переманит какой-нибудь донецкий администратор ту же Лукашину. А кто ее заменит? Искать нужно, искать, так работать, чтобы всегда под рукой артист-другой лишний сидел. Если что-то срывается — сразу на замену равноценную звезду.

Контрактов-то никаких не было — только устные договоренности. Частный бизнес, он в СССР был не в фаворе. Попади в руки ОБХСС хоть одна бумажка, повествующая об этих диких концертах, на этом бы все и закончилось. Для всех и надолго. А для Толика — может быть, и навсегда.

Сулим позвонил — старый ленинградский приятель, хорошую мысль подкинул.

Толик ничего не знал о музыканте Лекове, которого Суля взхлеб расхваливал, сказал только, что можно попробовать. Обещался Сулим через пару деньков звякнуть и пропал.

А это было не в его правилах. Суля — он бизнесмен серьезный, он за базар всегда отвечал.

Суля прозвонился на исходе третьего дня, когда сроки уже поджимали более чем серьезно.

— Ну что там у тебя? — неласково спросил Толик.

— Да, понимаешь, такое дело... Он же артист, со своими тараканами в башке. В общем, я его из запоя выводил.

— И как? — настороженно поинтересовался Толик. — Это у него, вообще, часто?

— Вообще, если честно, то часто. Но проблема решается.

— Вот уж реши пожалуйста.

Толика запои артистов не очень-то волновали, но цену для Сули нужно было набить. Тем более, что Сулим, явно, не представлял себе всего размаха работы Анатолия Бирмана, который был для него просто московским собутыльником, владельцем хорошей квартиры и машины, покупателем аппаратуры и фирменных шмоток. Знал, естественно, Суля, что Бирман концерты делает, поэтому и предложил ему этого своего Лекова, но, конечно, даже понятия не имел, в какую игру он своего паренька запойного вводит.

А что он запойный — так кто не запойный? Все, с кем Толик ездил, начиная с той же Лукашиной и заканчивая цыганами пили по-черному. О юмористах и говорить нечего. Им это по рангу положено.

Так что запой — это семечки. Главное, чтобы амбиций не было.

— Ты привезти его когда сможешь? — спросил Толик. — Я же скоро...

— Я в курсе, — быстро сказал Суля. — Могу завтра.

— Уже? Что-то, несерьезный запой у твоего мальчика.

«Мои-то, бывает, месяцами в себя приходят», — подумал Толик, но вслух говорить не стал.

— Завтра не надо, — после короткого размышления сказал Бирман. Давай недельки через три, когда я снова в Москве буду. А ты уверен, вообще, что он потянет?

— Уверен, — ответил Сулим. — Этот потянет. Жаль, конечно, что столько ждать...

— Да не столько ждать. Ждать больше придется. Кто его знает, твоего этого подпольного гения? Нужно же его как-то преподнести...

— Ничего не надо преподносить. Его вся страна знает. Пленки магнитофонные повсюду бродят. Я справки наводил. Он для провинции — почти как Владимир Семенович, царство ему небесное. Ты его только на большую сцену выпусти. Афишу сделай, чтобы народ прочитал — увидишь сам, что будет.

— Сумлеваюсь я, однако, — протянул Бирман, но решение уже было принято. — Давай, знаешь, как сделаем? Возьму его в солянку, без афиши. Если реакция будет — будем думать.

— Реакция будет. Так когда?

— Ну давай тогда, завтра привози. Через пару дней у меня выезд. Воткну его в какой-нибудь концертник. Поглядим, что за гений.

— Заметано, — хмыкнул Сулим и повесил трубку.

\*

Толику было за пятьдесят. В силу возраста и количества денег, которые давали ему возможность общаться с людьми значительными и проводить досуг в местах дорогих, красивых и для широкой публики недоступных, он очень придирчиво оценивал каждого своего нового знакомого.

Утром, когда раздался звонок в дверь и Толик, перед тем, как открыть ее, привычно заглянул в глазок, он был слегка разочарован. На площадке стоял Андрей Сулим, как всегда, одетый с иголочки, в новехоньких джинсах, белых кроссовках, только начавших входить в моду и цветастой, «гавайской» рубаше, а рядом с ним — совершенно заурядного облика молодой парнишка неуловимо провинциального вида.

Длинные темные волосы, небритый подбородок — и борода-то на нем не росла, а так — кусты редкие и неопрятные, несвежая даже в глазок футболка, штаны — «самосторок» защитного цвета и китайские стоптанные кеды.

«С ним, конечно, нужно будет повозиться, — подумал Толик, не открывая дверь. — Если, вообще, из такого чучела что-то путное можно сделать».

— Это я, — сказал Сулим, глядя в глазок. — Открывай давай.

— Да вижу я. — проворчал Бирман и не спеша скинул цепочку, повозился с замками и, наконец, распахнул дверь.

— Заходите. Кофе будете?

— Будем, — угрюмо буркнул парнишка, которого никто не спрашивал. Множественное число, в котором был поставлен вопрос являлось данью привычной деловой вежливости. Мнение волосатого юноши интересовало Бирмана в последнюю очередь, а сам вопрос адресовался исключительно Сулиму.

«Да он еще и хам к тому же», — подумал Толик, аккуратно посторонившись, чтобы не прикоснуться паче чаяния к вонявшей потом футболке молодого гостя. Гость, между тем, втащил с площадки гитару в синем матерчатом чехле и, не снимая кед, двинулся на кухню с таким видом, словно бывал в квартире Бирмана уже много раз.

— Ну, здорово.

Суля протянул Бирману руку.

— Кофе растворимый? — донесся из кухни голос юного дарования. — Если есть молотый, то, давайте, я сварю. Я умею как надо.

— Сейчас, — буркнул Толик себе под нос. — Разбежался... Это и есть твой гений?

— А что? — загадочно улыбнулся Сулим. — Ты погоди, ты его послушай...

— Если бы я всех, с кем работаю, слушал, я бы давно уже в психушке сидел, а не кофе с твоими приятелями распивал. Мне важно, как на него народ пойдет. А я в музыке вообще ничего не понимаю, мне-то что... Пусть хоть «Князя Игоря» поет. Лишь бы бабки шли.

— Кстати, насчет бабок, — заметил Суля, придерживая Толика за локоть. Давай сразу этот вопрос решим. Сколько ты за него хочешь получить?

— Сейчас ничего сказать тебе не могу. — Толик неприязненно посмотрел в сторону кухни, откуда доносилось позвякивание передвигаемой на столе посуды. — Сейчас сделаем пробу. Ну, понятно, что-то он заработает... А потом уже решим.

— Хорошо. После конкретизируем. — улыбнулся Сулим. — Ну, пойдем на кухню, что ли? А то там он у тебя беспорядок устроит. Ты же не любишь, когда у тебя беспорядок?

На кухне остро пахло подгоревшим кофе.

Леков сидел на высоком табурете и смотрел в окно. Квартира толика смотрела прямо на Мосфильмовскую набережную, молодой гость был поглощен созерцанием серых вод Москва-реки и до вошедших на кухню ему явно не было никакого дела. Во всяком случае, он ни взглядом, ни жестом не выказал ни малейшего интереса ни к хозяину, ни к Андрею Сулиму.

В руках у Лекова была дымящаяся чайная, двухсотпятидесятиграммовая кружка с дымящимся кофе, который он и прихлебывал, шумно втягивая в себя напиток и, время от времени, жмурясь.

Бирман посмотрел на стол. Так и есть. Этот хам сварил кофе только себе. Кстати, он же сварил...

Ну конечно. Толик смолот себе с утра последние зерна Того Самого, настоящего, что приятель Вовка Вавилов аж из Мозамбика привез и Бирману подарил как-то. Толик никогда гостям этот кофе не предлагал, сам только пил. Совершенно ядерный напиток. В Москве такого даже со всеми связями — и его, Бирмана, и, даже, самого Вавилова днем с огнем не сыщешь. Не поставляется. Только если привезет кто из друзей...

Начиная внутренне закипать, Толик полез в настенный шкафчик, молча достал банку с растворимым, совковым, светло-коричневым порошком без вкуса и запаха, бухнул в чашку сразу две ложки, плеснул кипятку и начал остервенело размешивать чайной ложечкой упорно не желющую растворяться пыль.

Хорошее начало. Если этот артист, так называемый, с первых секунд знакомства умудрился ему, Толику Бирману, собаку съевшему на общении с самыми амбициозными артистами, так настроение испортить, что же будет на выезде, когда они в одной гостинице будут сутками сидеть, в одном автобусе трястись, в одном, упаси Господь, самолете с ним...

О том, что он окажется с наглым парнем в одном самолете, да еще в соседних креслах, Толику даже думать не хотелось. Пора заканчивать этот балаган. Нужно поставить наглеца на место. Показать ему, кто здесь есть кто.

— Программа какая у тебя? — сухо спросил Бирман.

Парень продолжал молча смотреть на Москва-реку.

— Слышишь, артист, я к тебе обращаюсь.

— У дружка своего спроси, садюги, — не оборачиваясь прошипел сквозь горячий кофе Леков. — Мне без разницы.

Бирман покачал головой и посмотрел на Сулима.

— Пойдем-как в кабинет, — сказал Суля. — Поговорим. Пусть он здесь...

Толик опасливо посмотрел на стенные шкафчики, на новенький холодильник, на цветы, горшки с которыми стояли на подоконнике в опасной близости от ленинградского артиста.

— Не бойся, он ручной у меня, — хмыкнул Суля.

\*

— Так бы и сказал, что он тебе денег должен.

Толик заходил по кабинету из угла в угол.

— Он тебе должен, а я с ним ебись по полям и лесам родной страны. Ты считаешь, что это правильно?

— Толя, да ты на нем сам заработаешь немеряно. Давай сразу так — если проба твоя не проканает — разбежались. Я другого администратора для парня найду. А если пойдет — мои пятьдесят процентов. Ему вообще ничего не платишь. Я из своих пятидесяти отстегну, чтобы с голоду не сдох. Да ты же его видел — ему и не надо ни черта. На водку только, на

дурь...

— Так, значит, тут еще и дурь у нас будет? — сморщился Бирман. — Мало мне проблем.

— Ну, я не знаю, — пожал плечами Сулим. — Это, как уж ты себя с ним на гастролях поставишь. Ну. приставь к нему кого-нибудь...

— Делать мне больше нечего, как нянчиться с твоими недоумками.

— Ну так как? Договоримся пятьдесят на пятьдесят?

Толик Бирман отдавал себе отчет в том, что эмоции при обсуждении финансовых проблем лучше исключить.

— Давай таким образом решим проблему, — сказал он, с отвращением допив остатки растворимого кофе. — Сейчас, по пробе — все пополам. А там — как пойдет. В общем, я оставляю за собой право пересмотреть свой процент.

— Толя...

Сулим подошел к товарищу вплотную и положил ему руки на плечи. — Ты что меня, — он ласково улыбнулся. — За лоха держишь? Я же знаю твои гонорары. Неужели мы с тобой не договоримся? Я знаю про тебя, ты знаешь про меня. скажи, я похож на лоха? Я когда-нибудь туфту гнал?

— Ну, пока что нет, — хмуро ответил Толик.

— Вот и работай спокойно. Я же сказал — проба не проканает — отправляй его в Ленинград со спокойным сердцем.

— А ты откуда узнаешь — проканает проба или не проканает?

— Мы же взрослые люди, Толя, к чему такие детские вопросы. Когда дело касается моих денег я всегда знаю все.

Бирман задумчиво посмотрел на старого знакомого. Впрочем, не такой уж он и старый. Едва за тридцать. А бабки метет такие, которые Бирман начал только после сорока зарабатывать. На крутежке билетной в Москонцерте. Сейчас-то, разумеется, много больше у него, у Толика Бирмана в обороте, но и годы, годы... Еще немного покочевряжится по кабакам столичным с крутыми телками, а там, глядишь, и телки уже отпадут. А у Сули — у него еще все впереди. Можно только позавидовать. Впрочем, это уж как судьба решит.

— Грека ты, кстати, давно не видел, — спросил Суля как бы невзначай, но Андрей мгновенно напрягся, глаза его, секунду назад сверкавшие обычным для Сулима веселым азартом потухли.

— Давно. Мы с ним разными дорожками ходим, — соврал он и увидел отчетливо, что Толик понял, что он соврал. Но, в неписанном кодексе делового общения, которому следовали и Толик и Сулим и тот же Грек был специальный пункт, который в народе именуют «Слово не воробей,

вылетит не поймашь», а в узком кругу деловых людей — «За базар ответишь».

Уточнять Толик не стал. Если Суля говорит — «нет», значит есть у него на то свои причины. И проблемы, как следствие этих причин. А у Бирмана своих проблем хватает. Ох, да еще как хватает.

— Ну что, — снова обрета спокойствие, уточнил Суля. — Договорились?

— По рукам, — улыбнулся Толик Бирман. — Пойдем, с объектом нашим пообщаемся. Ты меня с ним, все-таки, поближе познакомь. И расскажи, кстати, как ты его из запоя выводил. Авось, пригодится.

\*

Через два дня уже в Ленинграде Суля встретился с Греком.

Они не ходили разными дорожками, как сказал Андрей Сулим Толику Бирману. Хотя ему, Сулиму, порой очень хотелось, чтобы дорожки эти не пересекались никогда. Чтобы он вообще не знал, кто такой этот Грек, как он выглядит и чем занимается.

Но когда он начинал об этом думать, то неожиданно понимал, что, на самом деле и не знает толком, кто такой Грек и, уж, тем более, чем он на самом деле занимается.

Однако, последнее время выходило так, что в какую бы сторону Сулим не пошел, куда бы не сунулся, в какое бы русло не направил свою деятельность, рано или поздно и деятельность его и сам он лично упирались в загадочную фигуру Грека. Все, что было известно из его биографии это то, что в прошлом он был инженером-турбиностроителем.

— Ну что, спросил бывший турбиностроитель нынешнего фарцовщика. — Как живет столица?

— Как обычно, — уклончиво ответил Сулим. — Что ей делается?

— Н-нда. Что ей делается, — пробормотал Грек, почесывая подбородок. Пока ей не делается ничего. А там видно будет.

Он хлопнул ладонями по подлокотникам кресла, в котором сидел, закинув ногу на ногу, словно сознательно прерывая давние размышления, которые могли завести его слишком далеко от дел насущных и неотложных.

— Так, конкретней, Андрей. Что Толик? Взял пацана?

— Взял, — коротко ответил Сулим.

— И на каких условиях?

Андрей вкратце описал беседу, произошедшую между ним и



Бирманом, описал вполне достоверно, за одним небольшим исключением — по его словам выходило, что Бирман хотел получать с Лековских гонораров не пятьдесят процентов, а семьдесят. А Суля на него наехал, уболтал и опустил планку до шестидесяти.

Сказавши это, он посмотрел на Грека с довольным видом, словно ожидая благодарности за отлично выполненную работу.

Грек помолчал, покачал головой, сощурился и сказал:

— Молодец. Отлично.

Суля с облегчением сел в кресло напротив Грека. До этого он стоял, только что не вытянувшись во фрунт. Так уж получилось, так всегда получалось вне зависимости от желания и внутреннего состояния Сулима. Грек чертовски здорово умел выстраивать мизансцены.

— Молодец, — повторил Грек. — Только про семьдесят процентов ты заливай где-нибудь в другом месте. Я вижу, что, в лучшем случае, пополам вы сговорились Ты свой табаш сюда, пожалуйста. не вбивай, Андрей. Ты на другом должен зарабатывать, а не крысятничать, не рвать куски у своих. Нехорошо. Впрочем, я проверю, как вы там договорились.

Грек встал с кресла, прошелся по комнате, остановился перед картиной, висевшей на стене.

На картине были изображены два варвара на фоне горящего города. Один из варваров стоял у другого на плечах. Лицо нижнего было напряжено и сосредоточенно, тот, что находился наверху наоборот — вид имел вдохновенный, одухотворенный, лицо его выражало подлинный восторг. Длинные светлые волосы растрепались, борода спуталась, глаза сверкали. Оскалив зубы варвар старательно отбивал небольшим кузнечным молотом нос у беломраморной статуи.

— М-мда, — снова сказал Грек. — так, говоришь, в столице все хорошо?

Не дав Суле ответить на риторический вопрос он резко повернулся и спросил:

— Так а с этими-то двумя, с этими-то, как их там бишь?..

Грек пошевелил в воздухе пальцами.

«Играет, гад, — подумал Сулим. — Никогда ведь не забывает ничего. Ни одной фамилии или имени. Если ему хоть один раз кого-то назовешь — кликуху ли, или натуральные имя-отчество, запомнит на всю жизнь. Чего прицепился?».

— Куйбышев...

— Да-да. Куйбышев, это, который Ихтиандр. И второй — Царев. Так?

— Да, — ответил Суля.

— С ними-то как быть? Они же тебе должны? Точнее, нам. Точнее — мне... Но, в данном случае, это не суть важно. Товар-то ты им сдал? А Леков этот он вообще здесь не при делах. Это их проблемы — кому что они там отдали, кто кому у них там должен. Так что они нам деньги возвращать должны, а не Леков. Так я думаю? Это же не их идея — парня доить. Моя идея. Они, что же, считают, что артист этот им теперь деньги принесет, они тебе их отдадут и все — взятки гладки? Правильно ли это?

— Ну-у...

— Да что тут нукать, что тут нукать, Андрюша? Неправильно это, не по-людски. Они сами должны нам долг отдать. Думай, бизнесмен, думай...

— Так они, вроде, при мне и договорились. Прижали этого Лекова к стенке и сказали — деньги доставай где хочешь. Он им пообещал, что достанет. То ли за травой собирался в Киргизию съездить, то ли еще что...

Грек устало отмахнулся.

— Ладно, ладно... Собирался — не собирался, какое это имеет значение. Меня там не было, я не знаю, кто там куда собирался. Но ни в какую Киргизию он не поехал — факт?

— Факт, — согласился Сулим.

— А поехал он по моей наколке в Москву. С тобой вместе. Факт?

— Ну, — кивнул Андрей.

— Я всю жизнь работал, — сказал Грек. — Я считаю, что мужчина должен работать. Обязательно. Иначе он — не мужчина. И ни жалости, ни сострадания не достоин. Эти ребятки палец о палец не ударили, чтобы себя как-то реабилитировать в наших с тобой глазах. Так что же, пусть им все с рук сойдет? Так дела не делают. Тунеядцев воспитывать надо. Так нас Советская власть учит. В общем — артист — артистом, он у нас по особой статье будет проходить. А бабки я бы хотел с них получить. С Ихтиандра этого, с Царева. Ихтиандр... Надо же. Кличка, то же мне. романтики... Вот и пусть поплавает, поныряет, сокровища поищет. Глядишь, найдет. Крути их, Андрюша, крути по полной.

— Так, может, того, — неопределенно пробормотал Суля. — Как бы... Ну, акцию устрашения... А?

Грек развел руками.

— Меня это не касается. Впрочем, — он подошел к окну, встал к Сулиму спиной и проговорил устало, как делал всегда, когда хотел дать понять об окончании аудиенции, — впрочем, летальных исходов мне не нужно. Делай что хочешь, а если ничего не получится, веди ко мне. Но только, подчеркиваю, если исчерпаешь все свои возможности. Я проверю.

Сулим исчерпал свои возможности на редкость быстро. На самом деле, ему вовсе не хотелось заниматься запугиванием Царева с Ихтиандром. А еще больше не хотелось портить с ними отношения. Не то, чтобы он их побаивался — кроме Грека он не побаивался в городе практически никого. Были, конечно, люди очень опасные и серьезные, были просто воры в законе, авторитетные товарищи, были. наконец, органы охраны правопорядка, КГБ и разные оперотряды, но... С опасными и серьезными людьми Сулиму было нечего делить — его бизнес стоял особняком, а конкурирующие фарцовщики по своему масштабу были значительно мельче Сулима и его товарищей. С законными ворами он иногда выпивал в ресторанах, но, тоже — бизнес Сули и бизнес «законных» практически не имел точек соприкосновения. При всем при этом, Сулим знал, что, случись какая неприятность, он даже может рассчитывать если не на прямую помощь, то, хотя бы, на полезный совет со стороны некоторых личностей, особо приближенных к «законным». Что до органов охраны правопорядка в самых разных их формах и видах, то Сулим прекрасно отдавал себе отчет в роде своей деятельности и часто говорил себе, что под дулом пистолета его никто не заставлял заниматься тем, чем он занимался уже почти десять лет — органы являлись необходимым злом и, одновременно, достойным противником. Что может желать себе настоящий мужчина? Деньги, любовь красавиц и достойного противника для рыцарского турнира. А какой противник в Советском Союзе может быть более достойным, чем Органы?

Много кого знал Суля в Органах, много с кем даже выпивал-закусывал, доставал кое-что из одежды или аппаратуры. Конечно, были там и подонки, и много — не то, чтобы совсем уж неподкупные, а не понимающие собственной выгоды, принципиальные и зашоренные. При этом они и взятку могли принять, но смотрели такими волками, что выпивать с ними Суля никогда бы вместе не стал. Зато те, кто походил на людей — например, вот, хоть тот же капитан Буров и еще несколько человек — те вполне были приятны в общении. Разбирались в современной музыке и фасонах одежды, находил с ними Суля общие темы для разговоров и даже девочек для них снимал. Везде люди работают, всегда можно договориться.

Царев с Ихтиандром не входили в число людей опасных — обыкновенные мелкие мажоры. Правда, последнее время размах их операций несколько вырос, но до сулиного уровня им было еще далеко. Однако, они были людьми, если не считать последнего случая, надежными

и покупателями постоянными. Через них товар шел уже в мелкую розницу, деньги эти ребята платили сразу и почти не торгуясь — Суле невыгодно было терять отлаженный канал сбыта. Последнему же проколу Сулим на самом деле не придавал большого значения. Он в своей жизни терял уже столько денег и вещей — иногда милиция отнимала, иногда «кидали» недобросовестные партнеры, несколько раз просто квартира сулина была обворована в его отсутствие. Ясное дело, по наводке работали воры, но кто ее найдет, эту наводку. И в милицию не заявишь — спросят — а откуда у тебя, парень, восемь видеомagneтофонов, упаковки с блоками американских сигарет и склад джинсов? Не говоря уже о валюте.

Он знал по опыту, что материальные потери, особенно при общем характере его работы — дело более чем поправимое и не расстраивался из-за временных неудач. Неудачи эти покрывались с лихвой и довольно быстро. В случае Ихтиандра с Царевым он уже давно ждал чего-то подобного — не бывает так, что люди работают годами и ни разу никто их не опускает. Даже с авторитетными людьми такого не случается, а уж с начинающими мажорами — и подавно. Жаль, конечно, товара, но это не повод для того, чтобы рвать с надежными ребятами отношения окончательно и бесповоротно. Проучить их, конечно, стоит, но пусть лучше это сделает Грек. А когда все успокоится, Суля опять начнет вести с ними дела, но уже на других условиях. Да и парни после грековой науки, которую он им задаст непременно, станут аккуратней и тише, можно и табаш их немного понизить — ничего, они свое возьмут. Дело молодое, у них еще все впереди. А проучить их как следует, конечно, нужно.

Он встретился с Царевым через несколько дней после беседы с Греком и сообщил ему, что ему вместе с Куйбышевым необходимо встретиться с одним человеком для важной беседы.

— Это зачем еще? — спросил Царев. — И с каким человеком?

— Увидишь. Но сделать это нужно. В ваших интересах. Все понятно?

— Понятно, — хмуро кивнул головой Царев. — Только, если насчет бабок, сам знаешь...

— Я знаю больше, чем ты предполагаешь, — важно ответил Суля. — Так что, короче. звони другану своему и подъезжайте вечером, часикам к семи в «Пулю». Я вас там найду.

— Ладно, — мрачно сказал Царев. Судя по тону Сули неприятности не кончились, а только грозили начаться.

— Меня зовут Георгий Георгиевич, — сказал Грек, не вставая из-за стола. Стол, как заметили одновременно искушенные в ресторанных посиделках Царев и Ихтиандр, был накрыт на одного и то, достаточно скромно. Ну, пара бутербродов с икрой, бутылка коньяка, ну, салатик, шашлычок. Судя по всему, будет еще кофе или что-то вроде этого. Может быть, мороженое. Не гуляет человек, сразу видно.

Царев хотел было представиться, но Георгий Георгиевич махнул рукой.

— Знаю, знаю.

Он ткнул пальцем в сторону Ихтиандра.

— Ты — Куйбышев. Игорь. По прозвищу...

Грек поморщился.

— ...Ихтиандр. Ты, — он указал на Царева, — Царев. Давайте, ребята. не будем терять времени.

Грек отодвинул тарелку с остатками шашлыка, махнул рукой официанту.

— Коля, кофе принеси пожалуйста...

— Сейчас сделаем.

— Я не знаю, что вам про меня Сулим наговорил...

— Ничего, — честно ответил Ихтиандр.

— М-да? — с сомнением в голосе спросил Грек. — Ну что же... Это неправильно с его стороны. Мог бы и сказать, что товар, который вы просрали, это товар мой. И что Сулим работает на меня. В числе прочих.

— Мы догадались, — скромно ответил Царев. — Но мы вели дела с Сулимом...

— Да, — подтвердил Куйбышев. — И мы с ним все обговорили. Деньги вернутся. Нас там кинул один парень...

— Я знаю, как и о чем вы договорились. Этот музыкант ваш... Короче говоря, это я его пристраиваю сейчас... На заработки отправляю. Если бы не я, ничего бы у вас не вышло. Понимаете, что я имею в виду?

— Но... — начал Ихтиандр.

— Понимаем, — оборвал его Царев. — Вам нужны отступные...

— Не отступные, — поправил его Грек.

— Что, еще раз всю сумму, что ли, нам платить? — поднял брови Куйбышев.

— Это не обязательно, — сказал Георгий Георгиевич.

— Так что же вам тогда нужно, — вежливо, как только мог, спросил Царев. Он чувствовал опасность, исходящую от скромного господина, допивающего свой коньяк и пытался не накалять атмосферу.

— Что мне нужно?..

Грек кивнул официанту, поставившему перед ним чашечку кофе.

— Вы знаете, парни...

Он начал размешивать сахар — две ложечки на маленькую чашку. Царев внимательно следил за действиями Георгия Георгиевича и отметил, что сахару он кладет в кофе довольно много. Впрочем, на вкус и на цвет товарищей нет.

— Знаете ли... Я, от части, хочу вам помочь. Ну, это, конечно, не исключает наших чисто деловых отношений и вашего мне долга. Само собой, это проходит отдельной статьей.

— Помочь? — спросил Куйбышев.

— Да, Ихтиандр, — спокойно ответил Грек. — Именно помочь. А то, пропадете вы.

— В смысле? — попытался уточнить Царев. — Мы с деньгами решим вопрос, Георгий Георгиевич. Можете не сомневаться. Вам если Суля... То есть, Сулим, если вам не говорил, то я скажу — мы никогда никого не подставляли. Прошляпили бабки — сами вопрос решим.

— Это само собой, — сухо сказал Грек. — Я за это вообще не волнуюсь. Я о другом. Вот, вы чем занимаетесь?

— В смысле? — снова спросил Куйбышев.

— В смысле — чем деньги зарабатываете?

— Так, вы знаете, неверное, — ответил Царев.

— Знаю. Перепродажей джинсов и видео. И прочего барахла.

Грек отхлебнул кофе. Одобрительно покачал головой.

Царев с Куйбыщевым молчали, ожидая продолжения.

— А что вы будете делать, когда будут в нашей стране продаваться и джинсы и видео? В любом магазине? В любых количествах?

— Это, если и будет, то очень не скоро, — сказал Царев. — На наш век хватит.

— Ну да, конечно. Только, я вас уверяю, что очень скоро само понятие «фарцовка» отомрет.

— Да? — спросил Куйбышев. — Может быть...

— Так и что вы будете делать — я задал вопрос.

— Деловой человек всегда найдет, чем ему заняться. — сказал Куйбышев. Вы не волнуйтесь, Георгий Георгиевич, мы деньги...

— Я не волнуюсь, — отрезал Грек. — Если кто не понял, я повторяю еще раз — не волну-юсь.

Царев и Куйбышев опустили глаза. Злить этого странного Георгиевича, пожалуй, не стоило.

— Вы не понимаете, парни, что сейчас происходит. Не понимаете. Не дальновидны вы. Все в вас хорошо, только, вот, перспективы не чувствуете.

— А вы думаете, что-то изменится? — спросил Царев.

— Изменится? Это не то слово. У нас в России время течет странным образом. По другим законам. Не так, как ему положено, а как-то...

Он сделал еще глоток кофе.

— Оно, знаете ли, морщинится. Вот и сейчас мы находимся в такой своеобразной морщине времени. Как перескочим через нее — сразу окажемся в другой эпохе. Понимаете меня?

— Не совсем, — честно признался Куйбышев.

«Да он наркоман просто. Или псих», — подумал Царев.

— В этих морщинах проваливаются десятилетия, а то и столетия... Другие страны переходят из одной экономической формации в другую плавно, долго, постепенно, так? А у нас — время морщинится, в морщину эту проваливаются те самые десятилетия, которые нужны для акклиматизации народа, для того, чтобы более или менее безболезненно перейти к новым экономическим и социальным отношениям. И получается так — бац! — просыпаешься утром, и ты уже в другой стране...

— Ну, может быть, — пробормотал Куйбышев только для того, чтобы хоть что-то сказать.

Грек усмехнулся.

— Вспомните этот разговор через пять лет. Вернее, если будете себя хорошо вести — вместе вспомним. А на ваш вопрос — что же мне нужно — я отвечу. Мне нужны вы.

— В каком смысле? — отчего-то покрывшись гусиной кожей спросил Царев.

— Во всех, — ответил Грек. — Все, парни. У меня больше нет времени для бесед. Завтра утром я с вами свяжусь. Будьте дома и ждите моего звонка.

## Глава 8. Большие Бабки — 2

*Душевное волнение ослабляет и подрывает обычно и телесные силы, а вместе с тем также и саму душу.*

М. Монтень

— Эй, командир! — крикнул Женя Кушнер, гитарист группы «Нарцисс» проводнику, когда тот имел неосторожность пройти по коридору мимо раскрытого настежь купе «Нарцисса». — Командир! Постой!

Проводник остановился и заглянул в купе, обитатели которого не понравились ему еще в Москве. Еще когда в поезд садились. Волосатики с гитарами. В клешах, в джинсах заграничных. Откуда деньги-то на джинсы. Жопы обтянуты, как у баб, вообще, на мужиков не похожи. В другое время взял бы ножницы, обкорнал бы всех, да к станку. Распоясались, заразы, мат на весь вагон, пьяны с утра до вечера.

Борису Игнатьевичу, проводнику с тридцатилетним стажем к пьяным в вагоне было не привыкать.

Но пьяный пьяному — рознь. Понятно, когда мужики, одиннадцать месяцев вкалывающие — не важно где — на заводе ли, на шахте, или на кафедре университетской — там, ведь, тоже люди, тоже пользу стране приносят, науку двигают — куда сейчас без науки — понятно, если они в поезд сядут по-человечески, ну, бутылку раскатают, другую, ну, третью — потом спать лягут спокойненько, не мешают никому. Пивка утром, в картишки, картошечку у бабулек на полустанках, огурчики, опять картишечки да пивко и разговоры, анекдоты — Борис Игнатьевич и сам любил в купе посидеть с хорошими людьми.

А эти — и не люди вовсе. В сыновья годятся Борису Игнатьевичу, если не во внуки, а гонору-то, гонор... «Командир!». Снять бы с вас портки узкие на жопах. Да по жопам этим ремнем солдатским хорошенько пройтись. Да балалайки ваши об головы волосатые поломать. Чтобы поняли, как жить надо. Чтобы научились с уважением к окружающим относиться.

— Слышь, командир, — горячо дыша в лицо Бориса Игнатьевича зашептал Женя Кушнер. — У тебя водочки нет? Мы купим, а? Бабки есть, все есть, а водочки нет.

— Нет водки, — строго отрезал Борис Игнатьевич. — В ресторан



идите.

— Ну, если дома не получается, — Женя Кушнер печально обвел рукой купе, — то, действительно, в ресторан придется... Пошли, братва?

— Ага, — вяло ответил с верхней левой полки Арнольд. Арнольд работал в «Нарциссе» недавно, заменив неожиданно попавшего в психиатрическую больницу первого барабанщика группы Елизара. Ничего особенно страшного с Елизаром не случилось — белая горячка — дело житейское и, в общем, поправимое. Но работа есть работа, гастроли есть гастроли и упускать время никак нельзя. Поэтому и пригласили в «Нарцисс» Арнольда, репутация которого по части пьянства была практически безупречной. Он не пил с юности, когда после экзаменов в восьмом классе средней школы выпил четыре бутылки пива и страшно отравился. С тех пор Арнольд спиртное на дух не мог переносить, чем и радовал филармоническое начальство и музыкантов многочисленных эстрадных коллективов в которых ему довелось работать.

Надо сказать, что приглашение в сомнительную группу, играющую чуждый советскому слушателю рок не вызвало у Арнольда большого восторга. Когда пришел к нему Григорович — второй гитарист, певец, автор всех песен и, собственно, руководитель «Нарцисса», Арнольд, выслушав его предложение кивнул на висящую на стене афишу. На афише было написано — Сергей Могутин в сопровождении эстрадного оркестра. Сергей Могутин был одним из популярных певцов, пел он все больше про водителей-дальнобойщиков, про корабли, про войну много пел, про революцию в целом и Ленина в частности, ну и про любовь, конечно, тоже пел. И все в сопровождении эстрадного оркестра.

— Я и здесь неплохо зашибаю, — сказал Арнольд, щурясь на афишу, словно она испускала слепящие лучи славы и успеха.

Григорович засмеялся.

— Ты же музыкант, Арнольд, — сказал он. — Ты же профи.

— Ну-у-у, — довольно протянул Арнольд.

— Что ты себя хоронишь в этой мертвечине? Что ты, как лабух последний, на заказ всякую муть играешь? Ты должен заниматься искусством. Ты же призван заниматься настоящей музыкой! У тебя же талант!

— Ну-у-у, — снова ответил Арнольд и почесал нос.

После этого Григорович вкратце описал финансовые перспективы гастролей «Нарцисса».

— Ну-у-у, — посерьезнел Арнольд.

— Позвони мне сегодня вечером, — сказал Григорович. — Я побежал,

у меня времени нет совсем. Думай, думай. Арнольд, дело того стоит. Это только начало. Дальше будет все настолько круто, настолько здорово, что ты даже не представляешь себе, как мы поднимемся. Не упusti свой шанс, Арнольд. Я серьезно. Это большой шанс. Подумай.

— Угу, — отозвался Арнольд.

Вечером в квартире Григоровича раздался телефонный звонок.

— Да! — крикнул в трубку Григорович. — Да! Я вас слушаю.

— Ну-у-у, — донеслось из трубки.

Так в группе появился новый барабанщик. Члены группы были страшно рады тому, что теперь в их коллективе есть хоть один непьющий человек, при этом, действительно, профессиональный музыкант, умеющий играть по нотам. На первой же репетиции Арнольд поразил весь состав «Нарцисса» тем, что записал все барабанные партии на нотной бумаге, промычал что-то и, встав с винтового табурета, удалился.

— Что это с ним? — спросил басист Зайцев.

— Профи, — успокоил разволновавшихся коллег Григорович. — Он, чтобы время не терять, дома все выучит, завтра придет и сыграет с листа. Мы с ним так договорились.

— Ну-ну, — с сомнением в голосе отозвался Зайцев не представляя, как вообще можно о чем-то договориться с Арнольдом. Видимо, это удавалось только Григоровичу, как мастеру художественного слова.

Арнольд запил ровно через неделю. Когда Толик Бирман выдал группе гонорар за три концерта в Ялте и в ресторане барабанщик-профи получил причитающуюся ему пачку купюр, то молча протянул стакан к бутылке, которую Григорович еще только открывал.

Спустя несколько недель кроме привычных «Ну-у-у», «Угу» и «Ага» в лексиконе барабанщика появились такие заковыристые выражения как «Эвона!», «Е-тать», «Ух-ты!» и некоторые другие.

Впрочем, техника игры Арнольда от употребления горячительных напитков никак не страдала. «Мастерство не пропьешь», — говорил по этому поводу Григорович.

Григорович и увидел первым странного длинноволосого парня, сидящего в полупустом ресторане и, в полном одиночестве с видимым отвращением поглощающего традиционную поездную солянку.

Руководитель «Нарцисса», в силу своей наблюдательности, коммуникабельности и общего интереса к процессу жизни уже знал, что этот странный тип тоже из их, вернее, из Бирмановской бригады, что он музыкант, гитарист, певец и что он будет играть в одном с «Нарциссом» концерте.

— Скучает, — заметил Григорович, посмотрел на сидящего рядом с ним Зайцева и показал ему глазами на парня с солянкой.

— Скучает, — согласился Зайцев. — А он, вроде, наш.

— Наш, — подтвердил Григорович.

— Так, может, поможем парню? — спросил Зайцев и глянул на Арнольда.

— Ну-у-у, — утвердительно ответил барабанщик.

Григорович поднял бутылку над головой и покачал ею зазывно, подмигнул парню с солянкой и приветливо осклабился.

Парень с солянкой повел себя странно. Он внимательно посмотрел на Григоровича. На бутылку и вдруг по щекам его потекли слезы. Он оттолкнул металлический судок с солянкой, встал и, покачиваясь в такт колебаниям вагона, вышел из ресторана.

— Эх! — понимающе произнес Арнольд, побарабанил пальцами по столу и печально посмотрел в окно. — Эх, — сказал он еще раз, взял свой стакан и протянул Григоровичу. — Ну-у-у?

— Странный какой-то, — заметил Зайцев. — Не в себе, по-моему. Чего это он заплакал?

— Думаю, клиент в завязке, — отозвался многоопытный Григорович. — Ну, каждому свое.

— Ну-у-у?! — нетерпеливо перебил его Арнольд, продолжая держать в руке пустой стакан.

— Ладно, на концерте посмотрим, что он за музыкант. Вообще-то Бирман левых людей в поездки не берет.

— Поглядим, поглядим, — кивнул Зайцев. — Говорят, рокер крутой.

— А откуда родом? — спросил Григорович.

— Из Питера.

— Хм... Питер всегда славился тем, что там очень сильные идеи, но никто не может их грамотно оформить, — с ученым видом сообщил коллегам Григорович.

— Ну-у-у?!!! — нечеловеческим голосом заревел барабанщик и ударил дном пустого стакана о стол.

\*

Все второе отделение отведено под Лукашину.

Да и хрен с ней.

Григорович стоял за кулисами и ждал своего выхода. Выход у него

будет как всегда — с овациями, шутка сказать — «Нарцисс», первая и лучшая московская рок-группа, известная всей стране благодаря матушке — магнитной ленте, которую эксплуатировать нужно на аппаратуре с исправным лентопротяжным механизмом и при температуре окружающего воздуха 25.0 С и относительной влажности воздуха 65 + — 15 % на аппаратуре ГОСТ 24863 до 1-й группы сложности, мать ее етти, включительно.

Матушка — лента магнитная, сколько она сделала для «Нарцисса». Расползлась, раскаталась по всей стране, от Калининграда до Владивостока и песни «Нарцисса» теперь знают все. Школьники поют на выпускных вечерах, школьницы невинность под них теряют, учителя, запершись в учительских, тихо водку пьют, слезу скупую роняя на стопки тетрадей с сочинениями о героях нашего времени, о павках корчагиных, обломовых и мересьевых.

Колхозники «Нарцисс» не очень любят, только самые продвинутые напевают, умирая от жары за штурвалами комбайнов «Нива» — «Разворот, от ворот поворот, вечный разворот». И хлеба, хлеба до горизонта.

Зато рабочие, студенты, продавцы и дворники «Нарцисс» чтут. А как сторожа его чтут — уму непостижимо. В передаче «Рабочий полдень» каждый день «Нарцисс» гоняют — по заявкам трудящихся.

«В отражение в воде посмотрюсь», — голос Григоровича любому оператору газовой котельной известен, ни с кем его оператор газовой котельной не перепутает. И не только газовой, но и угольной — кинет пару лопат в топку работник угольной котельной под рыдания «Я — шлак!», хлебнет портвейну и, подбодренный, потащит этот самый шлак на улицу. Чтобы не мешал по котельной разгуливать. Тем более, что в котельную друзья приходят, народу много набивается под вечер — шлак здесь совсем ни к чему. Спотыкаться об него друзья будут, падать, не дай Бог, расшибутся. Шлак — он душу тяготит, это вам любой работник угольной котельной скажет.

Григорович был спокоен. Раньше — нервничал, а теперь уже привык. Лукашина — она и есть Лукашина. Энергии в ней, как в ядерном реакторе, а песни-то — советская эстрада. Отомрет скоро. Григорович не ревновал. Он знал, что «Нарцисс» в десять раз круче всех Лукашиных вместе взятых. Не беда, что он в первом отделении.

— Сейчас, что ли, парень твой будет? — спросил Григорович у Бирмана, который стоял за кулисами рядом с лидером «Нарцисса» и большим носовым платком вытирал пот со лба. Что не говори, а в Новороссийске летом жарковато.

— Да, — коротко ответил Бирман.

— Откуда ты его взял-то, Толя? — спросил Григорович.

Бирман только рукой махнул.

— Может он что-то? — не унимался Григорович.

— Да пес его знает, — с досадой в голосе ответил директор преуспевающего предприятия.

— Ну-ну, — усмехнулся лидер «Нарцисса». — Ты его хоть прослушивал?

— Ну так, — неопределенно ответил Бирман. И, вдруг, озлился.

— Отстань ты, Христа ради.

«Ладно, — подумал Григорович. — У него и так проблем по горло. Хорошо, что я не администратор. Вот уж, собачья работа».

Вежливый хохоток, прокатившийся по зрительному залу поставил точку в выступлении одесских юмористов. Григорович знал всю их программу наизусть. Этот, последний хохоток обычно сопровождал анекдот номер сто сорок девять так сами юмористы говорили о «сетке» своих реприз.

Обычно сразу после этого хохотка на сцену выходил Григорович с гитарой, брал несколько аккордов, глушил струны левой рукой — тут зал начинал неистово реветь — Григорович выдерживал паузу, застыв на сцене памятником самому себе, после этого из-за кулис медленно и важно выходили Зайцев, Арнольд и Кушнер, занимали боевые позиции и «Нарцисс» обрушивался на провинциальную публику всей мощью издававших виды усилителей и яростью перманентного похмельного синдрома.

Привычный ход концерта в этот раз был нарушен и Григорович чувствовал легкую досаду. Выходить на сцену после юмористов было хорошо, приятно и выигрышно — зал был уже достаточно разогрет, расслаблен разухабистым, на грани фола юмором одесситов и вполне готов к жесткой, фронтальной музыке «Нарцисса». А теперь, отчего-то, Бирман вставил между юмористами и Григоровичем никому неизвестного парня с гитарой.

Юмористы и конферансье столкнулись за кулисами. Конферансье, Пал Палыч Луговой, шестидесятилетний, с большим сценическим опытом господин, честно отрабатывал свой гонорар. При всей своей лютой ненависти к вокально-инструментальным ансамблям он всегда представлял их с улыбкой, которая казалась искренней даже самым резонерски настроенным зрителям, делал приветливые жесты, шутил, острил и поблескивал глазами. Иной раз, даже румянец выступал на бледном,

испитом лице Пал Палыча — так он старался.

Григорович почувствовал недоброе. Такие высокие профессионалы, как одесситы и Пал Палыч просто не могли столкнуться за кулисами, тем самым нарушив ритмичный ход концерта — пусть, на несколько секунд, но, все-таки... Дело, явно пошло наперекосяк.

— Козлы, — отчетливо произнес Пал Палыч после того, как Марк, юморист ростом повыше наступил на его идеально отполированный ботинок.

— А пошел ты, — устало процедил Марк, дрожащей рукой расстегивая ворот демократичной, клетчатой рубашки.

— Сам пошел, — злобно бросил Пал Палыч и, мгновенно преобразившись, засияв своей привычной улыбкой вышел на сцену.

— У нас в гостях... Подарить вам свои песни... Солнечный Новороссийск... Василий Леков... поприветствуем...

Григорович слушал вполуха. Василий Леков — тот самый парнишка, который в поезде точил слезу над солянкой стоял рядом с ним. В руках у парнишки была гитара — обшарпанная, советского производства, на таких Григорович не играл уже года три — запаadlo преуспевающему музыканту играть на дешевом инструменте производства фабрики Луначарского.

Парень был бледен впрозелень.

«Как бы в обморок не хлопнулся на сцене», — подумал Григорович. — «Ишь, нервный какой.»

— Пошел, — прошипел Бирман и парень, ссутулясь, едва ли не волоча за собой гитару поплелся на авансцену к микрофонной стойке.

«Завалит сейчас концерт, — подумал Григорович. — Сразу видно — никакого профессионализма.»

Парнишка застыл перед микрофоном. Ссутулился еще больше. Зал молчал.

«Ну, покажи себя», — подумал Григорович и тут парень на сцене встрепенулся, поднял голову, взглянул в зал, неожиданно став выше ростом то ли ссутулится перестал, то ли на цыпочки приподнялся — Григорович не видел из-за кулис.

— «Атташе», — сказал парень в микрофон.

Атташе из папье-маше

Шеф отдела потрошения издохших мышей

Обещал нам по свершении решений рай в шалаше

Атташе из папье-маше

Пусть зашившись в прошениях изошел-замшел

Все ж муштрует шумом пизженных маршей наш ашрам алкашей  
Атташе из папье-маше...  
Много выше д'Артаньяна для своих Планше  
Знает ушу и внушением шлет в туше  
Атташе из папье-маше...  
Не пропустит и шепота мимо ушей  
Держит наши тощие шеи на карандаше  
Атташе из папье-маше  
Ты обещал защищать нас от крушений по навешиванию на уши  
лапши  
И не слышать на своем возвышении  
Как шурша съезжают наши крыши по анаше  
Атташе из папье-маше  
Не сидел в траншее во вшах и парше  
Откуда же засохшая кровь на его палаше  
Атташе из папье-маше  
Вечно перемешивает штампы с клише  
И никто не решит, что таится в душе

Зал молчал. Каменно молчал. Железобетонно.  
Странного парня с гитарой, наоборот, молчание зрителей раззадорило.  
— «Праздные боги», — нараспев крикнул он в микрофон и отчего-то  
рассмеялся. Станный был этот смех, нехороший какой-то. —  
Инструментальная композиция.

«Блин, что он несет? Какая на хрен композиция?»

Григорович покосился на Бирмана.

Как не странно, администратор мероприятия сиял как начищенный  
пятак. На миг торжествующе глянул на Григоровича и снова,  
отвернувшись, стал жадно смотреть на сцену...

«Чудны дела твои, Господи», — подумал Григорович.

Леков начал играть. Ядрен батон, ну и техника. Искусственные  
флажолеты, несколько мелодий, сливающихся в одну. Где же он учился? У  
кого?!

Каллоподия, церковный византийский распев, доводилось как-то  
слышать. Ага, а это... это он у «Битлов» попер, но переиначил... Опаньки!  
Сантана... Ну-ну...

Теперь парень приплясывал возле микрофонной стойки, тряся гитарой  
и заставляя микрофон выть.

Неистовый набор звуков, который Леков чудесным образом исхитрился высекать из дешевой гитары начал разреживаться, стихать, пока не вылилась из него одна-единственная мелодия — «Боже царя храни» из оперы «Иван Сусанин». Той самой. Которую композитор назвал «Жизнь за царя», а большевики переименовали.

Не доведя мелодию до конца, шизовый парень вдруг оборвал исполнение и неуклюже поклонился залу.

Что навсегда запомнится Григоровичу — это взгляд Бирмана. Станным он был, этот взгляд. Казалось, жил отдельно от покрасневшего потного лица, от рта с отвисшей челюстью, от мясистого, в лиловых прожилках носа. От всей мешковатой фигуры администратора, от его одышки, от вечного приторного запаха дорогого, но одновременно какого-то очень уж раздражающе-назойливого запаха одеколона.

— Дрозды, — устало сказал Леков.

— Чего? — крикнули из зала.

— Дрозды, — пояснил Леков. — Песня просто.

— Ну, давай, — отозвался невидимый в потемках хриплоголосый и, судя по интонациям, не очень трезвый зритель.

— А вы слышали, как поют дрозды? — ехидно, словно принимая правила игры, спросил Леков у нетрезвого зрителя, словно найдя в нем единственную родственную душу.

Зал настороженно молчал. Не отзывался и тот, нетрезвый аноним. Притихший где-то в последних рядах.

— Не-е-ет, — широко улыбнувшись — Григорович, хотя и не видел лица Лекова, мог поклясться, что тот широко и нагло лыбится в зал.

— Не-е-ет, — повторил Леков и поднял руку. Помахал предостерегающе пальцем.

— Не те дрозды, — убежденно продолжил. — Не полевые.

В зале раздались смешки.

— А дрозды, — посерьезнел Леков и заговорил в манере лекторов общества «Знание». — Дрозды — волшебники-дрозды.

Сделал паузу.

Хихиканье в зале, кто-то робко свистнул.

— Волшебники, — строго повторил Леков, глянув в ту сторону, откуда раздался свист. — Волшебники, — совсем уже суровым тоном в третий раз произнес он — Дрозды. Певчие избранники России.

Ударил по струнам изо всей силы. Бешеный, моторный ритм.

— Йе-е-е-е, — дикий крик, шаманский танец вокруг микрофонной стойки.



«Да это же чистый панк-рок, — изумленно подумал Григорович. — Надо же... На одной акустической гитаре. А Бирман-то, что, совсем с ума спятил? Повяжут же всех... К едрене матери...».

Бирман улыбался и притоптывал ногой в такт безумному исполнению знаменитой советской песни.

Григорович не следил за тем, точно ли пропеваётся текст — было ощущение, что не очень, но это не играло ни малейшей роли. Должно быть, мир сошел с ума, если здесь, в Новороссийске, в двух шагах от Малой Земли оборзевший питерский гопник попирает самое святое — ту песню, которую космонавты берут с собой в космос. На каких носителях они ее берут, Григорович не знал, да и не задумывался над этим вопросом. Берут — и берут. Им виднее, на каких носителях. Видели бы космонавты, что творится здесь, на берегу ласкового Черного моря, в двух шагах от, мать ее так, той самой Малой Земли. Может быть, и к лучшему, что не видели. А то и в космос-то, глядишь, не взлетели. Напились бы за кулисами на радостях или с горя — как кого пропрет.

Вот и юмористы — Марк с Захаровым тут же пританцовывают. Ни на одних совместных гастролях не видел Григорович улыбок на лицах юмористов — ни Марк не улыбался нигде, кроме как на сцене для зрителя, ни Захаров. А тут пританцовывают за кулисами, лица сияют, покраснели оба — это же надо суметь, сделать так, чтобы юмористов от святого оторвать. У них в гримерке всегда после выступления две бутылки водки заряжены, наготове стоят, это одно из условий, которое они Бирману с самого начала поставили. И никто никогда не видел юмористов после их выступления за кулисами. Клади они на все. Морды мрачные, злые, молча проскользнут за занавесом, глянут презрительно на окружающих и в гримерке запираются. А сейчас — просто и не узнать их — ни Марка, ни Захарова. Помолодели каждый лет на тридцать.

Леков закончил играть и, не прощаясь, побрел за кулисы — опять став ниже ростом, опустил голову долу, волоча за собой сверкающую от натекшего на нее пота гитару.

— Ну что? — спросил он у Бирмана, поравнявшись с ним.

— Потом, потом поговорим, — быстро затараторил администратор. — Вообще, все нормально. Потом кое-что уточним...

— Ага, — вяло отозвался Леков и, не глядя больше ни на своего непосредственного начальника, ни на Григоровича, который скользнул мимо него на сцену с дорогушим «Гибсоном» наперевес, ни на юмористов, которые косили на молодого артиста подозрительно заблестевшими глазами.

— Молодой человек, — крикнул в спину удаляющегося в полумрак коридора Захаров. — Можно Вас на минуточку?

— Ну, — отозвался Леков бесцветным голосом, послушно застыв на месте и обернувшись на зов.

— Может, к нам зайдете? В гримерочку. А? — включился Марк.

Леков помолчал, посмотрел в потолок и печально произнес:

— Нет. Не могу.

\*

Лекова никто не видел ни в гостиницах, в которых он жил в номере с Бирманом — Бирман-то носился по этажам, сообщал артистам о времени отъезда или о том, что концерт в Ялте снят, но вместо него образовалось два в Феодосии, один в Севастополе и, что самое приятное, небольшое, но очень выгодное выступление всей «агитбригды» в Симеизе для директоров окрестных партийных санаториев.

Бирман носился по гостиницам, Леков сидел взаперти. Появлялся только на концертах, минут за десять до своего выхода на сцену, уже привычно преображался, орал свои три песни — слух о неистовом исполнении «Дроздов» катился уже девятым валом впереди поездов, на которых переезжали с места на место именитые артисты и мгновенно исчезал.

«Атташе» Леков пел теперь только на закрытых вечеринках — Бирман строго-настрого запретил ему исполнять эту вещь в больших зала. Что до «Боже Царя храни» — на это администратор глаза закрыл. Ничего страшного, фрагмент классической оперы, как-никак. Сам-то он любил эту вещь, вот и сделал себе идейно невыдержанный подарок. Не все же, в конце концов, Лукашину слушать.

Марк и Захаров рассказали Григоровичу, который искусно завел с ними разговор вроде бы ни о чем и, в конце концов свел его на тему таинственного юного дарования, так вот они рассказали лидеру «Нарцисса», что сразу же после выступления Бирман засовывает парнишку в такси и отправляет в гостиницу.

Внутри «Нарцисса» творчество питерского рокера не обсуждалось. Члены «Нарцисса», оправдывая название группы, говорили либо о себе, либо о предметах неодушевленных — о гитарах преимущественно, своих), или почти неодушевленных — о водке, крымских винах, коньяке. Говорили и о том, в каком городе девушки милее. Степень одушевленности девушек

была для музыкантов «Нарцисса» сопоставима со степенью одушевленности горячительных напитков, к которым относились если и не совсем, как к живым существам, но достаточно трепетно.

Зайцев, в этой связи, выдал однажды афоризм, чрезвычайно понравившейся Григоровичу и мгновенно взятый им на вооружение. Афоризм гласил: «Сегодня ты его пьешь, а завтра будешь им пить». Алкоголь, ведь, за сутки из организма не выводится, пояснил Зайцев недоумевавшему Арнольду.

— Ага, — сказал Арнольд. Задумался тяжело и, еще через три рюмки кивнул головой — Понял!

Григорович, хоть и не говорил вслух о молодом рокере, но чувствовал, что начинает ревновать к его творчеству. Уж больно круто принимал неизвестного парнишку каждый новый зал, уж слишком громко способен был кричать этот юноша, слишком хорошо играл на гитаре. Да и песни — Григорович всегда слыл в столице, да и во всей стране символом смутно ощущаемых, надвигающихся перемен, главным мастером социальных песен и человеком бесстрашным, рубящим со сцены правду-матку, не боящимся никого и ничего. А, вот, «Атташе», которую Леков пел на каждом из своих концертов, эта самая «Атташе», пожалуй, перевешивала по своей откровенности самые злые произведения Григоровича.

\*

Бирман был доволен. Он сидел в голове длинного стола, по правую руку от Бирмана возвышалось над столом неопрятной горой тучное тело товарища Евградова, представителя общепитовского курортного бомонда, по левую сухонькая фигура Иванова — председателя дачного кооператива, раскинувшего свои коттеджи по побережью от Ялты до Симеиза, кооператива для посторонних закрытого и, даже, не столько закрытого, сколько вовсе неизвестного. Собственно, это была целая сеть, цепочка разных домов отдыха, санаториев и профилакториев узкоспециального профиля двери к которым открывались только людям нужным, важным и могущим самостоятельно принимать ответственные решения.

Концерт на небольшой, открытой площадке обнесенной колючей и непролазной живой изгородью был непроницаем для глаз чужаков. Хотя, не для ушей — в отдалении на скалах торчали группки «дикарей», которые правдами и неправдами стали в последние годы просачиваться в оазис номенклатурного отдыха. Ближе к коттеджам дикари не подходили —

опасались охраны, представители которой хотя и были одеты поголовно в штатское, выправкой своей выделялись из праздной толпы тучных, в большинстве своем, отдыхающих и, несмотря на то, что фигуры у представителей правопорядка были статные и внушительные, но появлялись представители всегда внезапно и неведь откуда. Вот, только не было никого на каменной гряде возле палатки ушлых «дикарей», а вот — трое в штатском. Тайными тропами ходили, видно, представители, знали местность не понаслышке.

Вот и сейчас «дикари» облепили окрестные валуны и холмики, правда, старались близко к месту проведения концерта не приближаться — кордон, который споро организовали представители охраны хоть и был, по существу, невиден — прогуливались просто вокруг концертной площадки редкие мужчины, аккуратно одетые, вида мрачного и неприступного — ну, подумаешь, прогуливались — мало ли, захотелось людям прогуляться. И немного их было, и без оружия, однако, никто из дикарей не рисковал приближаться к мрачным гражданам на такое расстояние, с которого уже можно было различить выражение глаз друг друга.

Концерт подходил к концу — открыла его Лукашина, так попросило начальство и Бирман решил, что выход именитой певицы первым номером в данном случае вполне оправдан. Ведь, подпить могут товарищи, анекдоты за столом начать друг другу в полный голос (не привыкли у себя дома шептаться) рассказывать. А тут — Лукашина с ее гонором. Нехорошо может выйти. Пусть уж первая отпоет, на относительной тишине, а потом и сядет к столу спокойно, икорки поест, водочки с нужными людьми тяпнет. Вот и хорошо будет. А в конце — в се равно никто уже толком ничего слушать не будет — можно и «Нарцисса» пустить — нервы пощекотать товарищей, и Лекова — пусть одну песню споет сегодня, вполне для него достаточно.

— Говорят, какой-то у тебя новый певец появился, — наклонился к уху Бирмана Евграфов. — Антисоветчик, говорят.

Евграфов пристально посмотрел в глаза слегка смешавшегося Бирмана, потом хлопнул его широкой ладонью по спине. Бирман закашлялся.

— Не бойсь, Анатолий, тут у нас все свои. Муха не пролетит. Тут у нас все можно. Ну, почти все. И почти всем. Так что, давай. налегай!

Евграфов самолично придвинул к Бирману огромное блюдо с крабами, каждый из которых был размером с десертную тарелку.

— А когда он петь-то будет, твой антисоветчик? — снова поинтересовался Евграфов, наливая себе ледяной водки.

— Да не антисоветчик он, — растянув губы в натужной улыбке начал Бирман. — Так, ленинградский молодой музыкант. Стиль просто такой... Непривычный.

— Ленинградский!

Евграфов махнул стопку, крикнул громко, так, что Захаров, произносивший в этот момент свой последний монолог, покосился в сторону распоясавшегося едока. Слава Богу, быстро отметил про себя Бирман, что едок этого не заметил. А Захарову сегодня надо будет напомнить, чтобы вел себя на сцене прилично и морд важным людям недовольных не строил.

— Ленинградский, — весело повторил Евграфов. — От них всего можно ожидать, от этих ленинградских. У них там ведь это... Ну, это...

— Что? — услужливо спросил Бирман.

— Колыбель трех революций, — подсказал слушающий вполуха Иванов, пожирающий глазами пышные формы Лукашиной, сидящей неподалеку и цедящей из высокого бокала шампанское...

— А, ну да, — весело рассмеялся Толик. — Конечно... Как это вы... Ха-ха... Здорово.

— Ну, так, когда он будет-то, революционер твой, — гнул свое Евграфов.

— Скоро, скоро... После юмористов наших, — ответил Бирман, сознательно стараясь набить рот крабами так, чтобы сделать продолжение беседы невозможным хотя бы на несколько минут.

Захаров закончил. Марк сегодня не работал — может быть, и к лучшему. Слишком уж соленые, бывало, шуточки отпускал, слишком уж нехорошо об общепите (см. Евграфов) высказывался, о курортных местах (см. Иванов) и, вообще, об общей ситуации в стране (см. остальные гости). Пусть уж его, отдохнет. Сказал, что по скалам побродит и, что даже хорошо, что он сегодня не работает. Устал, сказал. Вот и пусть бродит. Только Лекову-то сейчас на сцену, с его одной песней, а что-то его не видно. Где же он? Куда запропастился? Впрочем, не будет его — пусть «Нарцисс» сразу играет. Хотя, нет. Евграфов как клещами вцепился — подавай ему антисоветчину. Это сейчас ему подавай — а что он завтра на это скажет?

\*

— Пр-р-р... Профессионализм, Вася... Это такая штука...

Марк встал с валуна, задев коленом недопитую бутылку коньяка. Бутылка качнулась в одну сторону, в другую, пошла по неровной поверхности валуна юзом и, вот-вот должна была упасть, как Леков, опомнившись, подхватил ее виртуозным жестом дирижера, фиксирующего каждую ноту в своем оркестре.

— Сидеть! — строго сказал Леков бутылке.

— Проф-ф...

— Да ладно тебе, Марк. Чего заладил — профессионализм, профессионализм... Играть надо просто от души. Вот вы с Захаровым — классно все делаете. От души. Злобно. Уважаю.

Леков многозначительно покачал головой, строго посмотрел на бутылку и, убедившись, что та ведет себя хорошо, стоит ровно, падать не думает и коньяк держит, благосклонно взял ее и поднес к губам.

— М-м-м, — промычал он, поставив опустошенную бутылку на прежнее место. — М-м-молодцы, парни. Уважаю. У тебя осталось еще?

Марк пнул ногой сетку с неоткрытыми еще бутылками.

— Осторожней, — встрепнулся Леков.

— Мас-тер-ство не пропьешь, — Марк погрозил авоське пальцем. — Понял?

Он перевел взгляд на «молодого коллегу» — так он именовал теперь Василия Лекова.

— Солнце садится.

Леков посмотрел на море. Море бушевало.

— У нас выступление когда?

— Вот. Молодец!

Марк полез рукой в авоську и вытащил бутылку мадеры.

— Черт... Не люблю играть на понижение. После коньяка мадера... Не-по взрослому.

— А что же после коньяка пить-то? — спросил Леков. — Предрассудки все это. Мне вот — один хрен — что пиво перед водкой, что водку перед пивом.

— Ну, пиво с водкой — это... Это...

Марк тоже посмотрел на море. Море продолжало бушевать.

— Это славно. А вот коньяк с мадерой — гнусность одна. Предательство. Ренегатство и меньшевизм.

— Так что же профессионалы после коньяка рекомендуют? — спросил Леков.

— Открываю великую тайну.

Марк обнял Лекова за плечи и зашептал ему на ухо.

— После коньяка надо пить коньяк. Только — тссс! Никому. Это будет наша с тобой тайна. Обещаешь?

— Тссс! — послушно повторил Леков. — Никому. Так когда нам на сцену?

— Вот видишь солнце? — спросил Марк, простирая руку вперед, к светилу над бушующим морем.

— Вижу, — тихо ответил Леков.

— Когда солнце коснется во-о-он той скалы, — Марк махнул рукой в сторону и, если бы Леков не придержал его за талию, рухнул бы в пропасть.

— Во-о-он той, — повторил он, обретя равновесие и с благодарностью посмотрев на Лекова. — Ты мне жизнь спас, — заметил он словно бы в скобках.

— Во-о-он той, — затянул он в третий раз и Леков снова собрался было схватить нового друга за полы пиджака и еще раз спасти ему жизнь, но Марк справился самостоятельно. — Вот, когда оно коснется...

— Я понял, понял, Марк. — Что тогда будет?

— Тогда от скалы побежит тень и накроет мир. И Лукашина запоем. А мы следом... То есть... Я сегодня не хотел, но для тебя... Ты парень настоящий. Я сегодня буду для тебя работать.

— А я для тебя, — ответил Леков и прослезился. — Пошли они все. Сегодня для тебя, Марк, буду играть.

— Спасибо, друг, — прошептал Марк и крепко обнял Василия. — Спасибо. Никто мне таких слов никогда не говорил. — Спасибо тебе. Пойдем, друг. Мы с тобой профессионалы. Мы должны на сцену выходить вовремя. В этом и заключается профессионализм. Тютелька в тютельку. Зритель не должен ждать. Надо зрителя уважать. Ты меня уважаешь?

— Уважаю, — сказал Леков.

— Вот. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю... Ты — мой — зритель, я — твой. Так что ни мне, ни тебе опаздывать никак нельзя. Логично?

— Да.

\*

Представитель охраны вырос за спиной Бирмана, как всегда, неслышно и ниоткуда.

— Там к вам двое пришли, — слегка наклонившись к лысине администратора равнодушным голосом сказал представитель.

— И что? — насторожился Бирман.

— Посмотрите, ваши, чи нет? Говорят — ваши. Тильки я их прежде тут не бачив...

— Кто еще там? — вскинулся Евграфов.

— Сейчас я гляну, — неожиданно для себя перейдя на мову ответил Толик Бирман.

Он начал подниматься со стула, но было поздно. От калиточки, прорезанной в зеленой стене живой изгороди, цепляясь друг за друга неверными руками, зигзагами пробирались к столу Марк и Леков. В том, что они оба пьяны до последнего предела мог сомневаться только слепой.

«Этого еще не хватало, — подумал Бирман. — Марк, сволочь. Выходной устроил себе. И парня мне споил. Держался, ведь, все гастрولي. Ох, чуял я недоброе...».

— Вот этот, что ли, твой революционер? — захохотав во все горло крикнул Евграфов. — Ну, хорош, хорош... И что он нам споет?

— Я спою, — промышчал поравнявшийся с Евграфовым Леков. — Я вам такое спою... Любимую мою спою...

— Он споет, — подтвердил Марк. — Мы вместе сегодня работаем... Для вас!

Внимание всего застолья сконцентрировалось на странной парочке. Марка знали в лицо большинство из присутствующих, знали и шуточки его, давно работал Марк на сценах необъятной страны, по телевизору показывался частенько — в «Голубом огоньке», на концертах приуроченных ко дню милиции или восьмому марта — в общем, солидным уже считался человеком одесский юморист Марк. А вот второй — черт его знает, что за тип? Но — с гитарой. Петь, должно быть, будет.

— Сейчас перед вами, — набрав в грудь воздуха сказал Марк, взгромоздясь на невысокую сцену, построенную в конце зала специально ради выступления бригады Бирмана.. — Перед вами, дорогие вы мои... Товарищи! — рывкнул он.

— Сейчас... Короче говоря, выступит мой друг. Удивительный артист из Ленинграда...

Леков, пытающийся найти лесенку, ведущую на сцену, мыкался вокруг как слепой котенок.

— Дай мне руку, друг! — важно сказал заметивший неудачные попытки Лекова Марк. — Дай руку, товарищ!

Сидящие за столом начали посмеиваться. Чего только этот Марк не придумает? Эта, видно, какая-то новая реприза. По крайней мере, ни в «Огоньке», ни в день милиции Марк этого не показывал.



— Песня про революцию, — проникновенно, чуть слышно сказал, одолевший, наконец, приступочек сцены Леков.

Он нервно дернул подбородком, закатил глаза. Сидящие за столом притихли. Может, это и не юмор вовсе? Про революцию... Ну, пусть будет про революцию.

Вот пуля просвистела, в грудь попала мне,  
Но спасуся я на лихом коне.  
Шашкою меня комиссар достал,  
Кровью исходя на коня я пал.  
Эй, да конь мой вороной,  
Эй, да обрез стальной,  
Эй, да степной бурьян,  
Эй, да батька атаман.  
Без одной ноги я пришел с войны,  
Привязал коня, лег я у жены.  
Через полчаса комиссар пришел,  
Отобрал коня и жену увел.  
Эй, да конь мой вороной,  
Эй, да обрез стальной,  
Эй, да степной бурьян,  
Эй, да батька атаман.  
Спаса со стены под рубаху снял,  
Расстегнул штаны и обрез достал.  
При советах жить — продавать свой крест,  
Много нас таких уходило в лес.  
Эй!..

Бирман слышал эту песню впервые.

«В первый и в последний раз», — подумал он печально. — «Песня-то хорошая... Только, видно, на этом моя карьера закончена...».

Он покосился на Евградова.

Лицо общепитовского бога покраснелось, не капли и не ручьи — ниагары пота катились по жирному лбу.

Евграфов в какой-то момент успел скинуть с широких плеч пиджак и теперь истоиво бил ладонями в такт лековскому «Эй-эй-эй!»

— Э-е-ей, — заорал вдруг Евграфов, когда молодой артист закончил песню. — Давай-давай-давай! Да конь мой ва-арраной! Эй-ей-ей!!!

Расстегнул штаны!

— Безобразие, — прошипел сидящий слева Иванов. — Анатолий! Что такое тут у нас происходит?

— Ай, что ты лезешь?! — заорал Евграфов. Он вскочил со стула и пустился вприсядку. Леков, видя в зале такой отклик, начал песню по второму разу. Неожиданно какая-то пышная дама в кримпленовом пиджаке и тяжелой, не курортного фасона юбке плавно поднялась со своего места и пошла лебедем вокруг тяжело подпрыгивающего Евграфова.

— Что ты лезешь! — орал Евграфов.. — Пусть парень поет! Ай-ай-ай! неожиданно он перешел с присядки на лезгинку. — Вай-вай-вай! Да обрез стальной! Эх-ма! Не хуже Галича твоего, жида пархатого! Ай, молодца, ай, молодца!

— Что ты понимаешь, дурья башка, — тихо сказал Иванов и уткнулся длинным носом в тарелку с варениками.

«Кажется, обошлось, — спрятав под стол трясущиеся руки, подумал Бирман. — Но этим двоим, этим алкашам беспредельным я еще устрою. Я им покажу кузькину мать. Они у меня попляшут.»

## Глава 9. Гитлеркапут

*Итак я вижу, что приписал себе обладание некоторыми предметами, которые, насколько я понимаю, уже не являются частью моей собственности.*

*С. Беккет. «Мэлон умирает»*

Район под названием «Озерки» славился тем, что, попав туда, можно было провести массу времени в более или менее надежной изоляции от родственников, друзей, добро-и недоброжелателей, приятелей и знакомых, а также от товарищей по работе, начальников, подчиненных (если таковые были), вообще от всех и всего, что тем или иным образом постоянно проявляло себя в городе.

Озерки — новостройки, дома — «корабли», рядом — парк, больше похожий на лес, а чуть дальше, лес, сначала похожий на парк, а потом просто лес, как таковой.

Дома — «корабли» построены недавно и, что самое замечательное в этих домах, еще, выражаясь языком служащих ЖЭКов, «не телефонизированы». То есть, телефонов в квартирах счастливых жителей Озерков нету. Ехать же, случись нужда найти кого-то схоронившегося в Озерках довольно сложно — на метро до конечной, потом на битком набитом автобусе номер 123 остановок семь — восемь — десять — расстояния между «кораблями» довольно внушительны, каждый дом остановка автобуса.

Дома похожи один на другой как спичечные коробки с одинаковыми этикетками, автобус едет быстро, народ внутри него толкается, пахнет потом и пивом, все это отвлекает внимание и разглядеть номер нужного дома удастся не всегда. Водитель же, как правило, объявляет только одну остановку, в самом начале маршрута — «Бар „Засада“», — говорит водитель и после этого замолкает надолго. Разве что, прорвет его — «Повеселей на выходе!», — рявкнет нервно. И то, работа — не сахар. Пассажиры неловки и нерасторопны, того и гляди, сорвут график — зевают, забывают выйти на нужной остановке, толкаются, прут через весь салон, матерятся, пихают друг друга локтями, а, сделав первый шаг на ступенечку, за секунду до того, как дверь автобуса должна закрыться,

оборачиваются и начинают высказывать оставшимся в автобусе пассажирам все, что о них думают, все, что всплыло в их измочаленном рабочим днем сознании за тот нелегкий период, пока они пробирались сквозь недружелюбную толпу к заветным дверям.

«Бар „Засада“», — объявляет водитель остановку и думает, что какие-то негодяи, какие-то мерзавцы, ведь, сидят сейчас в этом самом баре, пьют, подлецы, холодное пиво, жрут, гады, скумбрию горячего копчения и думать не думают о том, что кто-то вынужден трястись в вонючем автобусе, слушать ругань пассажиров, глядеть сквозь мутное, исцарапанное стекло на разбитую, в темных лужах, дорогу — день за днем, всю жизнь, тормозить возле одинаковых грязно-бело-зеленых домов, открывать-закрывать дверцы и гнать машину дальше — по кругу, и стараться не вылететь из графика, день за днем, всю жизнь.

«Засаду» проехали и водитель, по обыкновению, замолчал. Он и «Засаду»-то объявлял по собственной инициативе — нравился ему этот бар, бывал он в нем с хорошими товарищами и верными друзьями. И когда в конце смены, усталый и традиционно озлобленный проезжал он мимо «Засады», то всегда сообщал об этом потным и не менее злобным пассажирам. Не для того, чтобы они сориентировались, а хотелось ему вспомнить те ощущения, которые испытывал он в баре — с холодным пивом и скумбрией горячего копчения. Произнесешь «Бар „Засада“» и, хоть на микросекунду всплывут в сознании эти неповторимые ощущения. Правда, потом — еще хуже, возвращение к реальности, к убогой дороге и кретином — пассажирам, но отказать себе в маленьком удовольствии просто невозможно.

Когда автобус выехал на улицу Композиторов, водитель заметил, что в салоне творится что-то неладное. Слишком громкие крики неслись оттуда, причем, крики какие-то непривычные — и по тембру, и по набору звуков, и по реакции пассажиров. Кричало несколько человек явно из одной компании кто-то по-английски несколько слов произносил — громко, очевидно рассчитывая на реакцию аудитории, кто-то по-французски отвечал, водитель даже явственно расслышал китайскую речь и редкий для большого города диалект почти вымерших уже вепсов. Пассажиры, не входящие в нагло орущую интернациональную компанию молчали.

За долгие годы работы водителем автобуса, то есть, как ни крути, работы с людьми, водитель элементарно определял общее настроение толпы, сгрудившейся в салоне машины. На этот раз настроение ее можно было охарактеризовать одним словом — испуг. В этом водитель не ошибался никогда, недаром философский факультет универа закончил в

свое время.

Ох уж, этот факультет! Какие строились планы, какие виделись перспективы, а какие друзья были? Взять, хотя бы, Лешку Полянского выдающийся человек! Еще студентом такие номера откалывал, такие умные вещи говорил, такой смелый был! Где он теперь? Говорили общие знакомые, что тоже по специальности не работает, что трудовая книжка его где-то «подвешена», а сам он сидит дома, или по стране «стопом» путешествует. В общем, как в одной песне поется, «вышел из-под контроля».

Водитель иногда включал магнитофон — как-то гуляли крепко с коллегами-водителями, Пеньков, сменщик, и оставил у него дома пленку с записью концерта в ленинградском рок-клубе — там эта песня и звучала. Сказал, мол, сынишка дурью всякой занимается, записывает разных самодельных артистов. Качество было ужасное, водитель разобрал только припев — «выйти из-под контроля». И эта фраза ему очень понравилась. Напевал, бывало, крутя баранку. Автора помнил хорошо — какой-то Леков — назвали его фамилию перед выступлением. Кто ты, неизвестный Леков? И где ты, Леха Полянский? Вот бы нам встретиться, посидеть, как в старые времена, музыку хорошую послушать, потрепаться о книгах, о театре, о живописи — просто так, под хороший портвейн да под сигаретку...

А пассажиры, совершенно очевидно, напуганы. Так бывает, когда парочка хулиганов начинает в салоне свои игры вести — на пассажиров агрессию лишнюю сливать. Пассажиры, хоть и много их и, наверняка, есть среди них мужики физически здоровые, слывающие надежными и правильными, помалкивают, на рожон не лезут, отворачиваются к окнам или в спину соседа таращатся, лишь бы персонально к нему претензий не предъявляли хулиганы.

Водитель думал о том, что эти крепкие мужики в салоне, встретить, допустим, этих хулиганов на улице. Лицом к лицу, да один на один... Да пусть, даже, один на трое — обязательно дали бы отпор. Либо словом. Либо кулаками. И, скорее всего, хулиганы к этим крепким, надежным и правильным мужикам и не пристали бы. Себе дорожке может получиться. А в толпе — в толпе все по-другому. Законы добра и зла здесь трансформируются, изменяются до неузнаваемости. Главный закон — не высовываться. Как-то сам собой он все остальные законы поглощает.

«Что мне, больше всех надо?» — ключевая фраза и руководство к действию, а точнее. к бездействию для каждого, оказавшегося в толпе. Ну, и пожинают плоды. Выходят из автобуса и — начинают в головах

прокручивать — как бы я ему, этому подонку пьяному вмазал бы, окажись мы на улице лицом к лицу... И стыдятся многие потом, что в автобусе смолчали. Стыдятся. Впрочем, недолго. Приходят домой, в квартирки или комнатки свои, к женам, детям, тещам и родителям и снова становятся крепкими, надежными и правильными.

В салоне, если не считать непонятных криков разгулявшейся компании, стояла теперь полная тишина. Вскоре иностранная речь стала перемежаться русскими фразами. Что-то про Сталина, про Брежнева. Кто-то что-то запел снова на английском.

Водитель, неожиданно для себя, сказал в микрофон, притормаживая возле очередной остановки:

— Композиторов, дом восемь...

Никогда он эту остановку не объявлял. Слишком хлопотно — каждый дом по номеру называть. А сейчас — объявил. С чего бы это?

\*

— Ни фиги себе, глушь, — с трудом выбравшись из плотно набитого горячими людскими телами автобуса, сказал Алексей Полянский Огурцову. — И где же будет действо?

— А вот, дом восемь, — кивнул Огурец. — Очень удобно. Прямо рядом с остановкой.

— Угу.

Полянский огляделся.

— А там, — он махнул рукой в сторону железнодорожной насыпи, закрывающей горизонт. — Там что? Парголово?

— Да, — сказал Огурцов.

— Забрались... Самое место, впрочем, для подпольных концертов. Часто здесь это происходит?

— Часто, — сказал Саша. — Кто только здесь не играл. Все наши... Рок-клубовские.

— «Наши», — ехидно повторил Полянский. — «наши»... Прямо, как в партии коммунистической.

— А что? — спросил Огурцов. — По сути дела так и есть.

— Вот это-то мне и не нравится, — ответил Полянский. — Не люблю я этот, не к ночи будь помянут, коллективизм.

— Ладно, пошли.

— А портвейном там нас напоят? — спросил Алексей.

— Напоют, — ответил Огурцов и взвесил на руке сумку, которую тащил с собой. Сумка звякнула.

— Хорошо, — удовлетворенно кивнул Полянский. — В таком случае, идемте, сэр.

Друзья шагнули на мостовую — дом номер восемь стоял на другой стороне улицы Композиторов — и побрели за небольшой процессией, движущейся в тот же дом и в ту же квартиру.

Процессию возглавлял некто Шапошников — громогласный толстый бородатый человек, знавший всех и вся в ленинградском рок-клубе, посещающий все концерты и пивший в гримерках со всеми известными и неизвестными музыкантами. Даже на концертах, в которых выступали группы откровенно Шапошниковым не любимые и, даже ненавидимые, он сидел в первых рядах, критически оценивая сценический акт и потом деловито шагал в гримерку неся в кармане или в сумке неизменную бутылку водки. Портвейн Шапошников презирал, считая его пустой тратой денег и времен, к тому же, считал этот напиток, в отличие от сорокаградусной, чрезвычайно вредным для здоровья как физического, так и психического.

Постепенно, в силу своей коммуникабельности, опыта и владения некоторыми тайнами ленинградского артистического подполья стал в этом подполье человеком известным и нужным, незаметно превратился в неформального администратора и последнее время занимался устройством концертов как официальных — на сцене Дома Народного Творчества, так и подпольных, таких, как сегодняшнее выступление Лекова в одной из квартир дома номер восемь по улице Композиторов.

Следом за Шапошниковым весело, чуть ли не вприпрыжку шли-порхали две высоких, веселых девушки из Голландии — где их нашел Шапошников было его личным секретом. Охоч он был до женского полу и национальности значения не придавал. Скорее, напротив, стремился охватить своим вниманием возможно большее количество народов и рас — проводил сравнительный анализ и делал какие-то свои выводы.

За тоненькими длинноногими голландками брели обычные посетители «сэйшенов» — молодые, длинноволосые или, наоборот, стриженные наголо люди с сумочками в которых, как и в сумке Огурцова, позвякивало.

— Подпольщики, — хмыкнул Полянский, когда процессия, обогнув дом, остановилась возле одного из подъездов.

— Сюда, — громогласно скомандовал Шапошников, указывая толстой рукой на дверь. — Входим партиями. Девятый этаж. В лифт все не влезем. Девушки, — он сделал голландкам пригласительный жест и улыбнулся во

всю ширину своей широкой, красной физиономии. — Девушки — вперед. Просим, просим...

Иностранные барышни, хихикая, двинулись к двери, Шапошников знаками показал кому-то из стайки тинейджеров, чтобы те проводили дорогих гостей и показали им, как пользоваться советским лифтом.

— Поедем в конце, — сказал Полянский. — Ты знаешь квартиру?

— Конечно, — ответил Огурцов. — Сколько раз тут уже бывал.

— Ну вот и славно, — кивнул Дюк. — Есть у меня одна задумка...

— Я даже, кажется, знаю, какая, — улыбнулся Огурцов. — Винтом?

— Ага.

Длинный холл, называемый в обиходе отчего-то «лестничной клеткой» был полон людей — дверь в торце «клетки» была гостеприимно распахнута, но протиснуться сквозь нее всем сразу не было никакой возможности. Дюк с Огурцовым вышли из лифта, поглазели на страждущих музыки поклонников великого Лекова и, не сговариваясь, повернулись, сделали несколько шагов и скрылись от посторонних глаз в закутке, где, прорезая все этажи высотного дома насквозь, находилась толстая труба мусоропровода.

— Ну, давай, что у тебя там, — нетерпеливо прошептал Полянский.

— Что-что... Самое то.

Огурцов вытащил из сумки бутылку «Ркацетели».

— Отлично. Для затравки пойдет.

— У меня, когда я еще в театре работал, — тоже шепотом заговорил Огурцов, взясь с пробкой, — один актер знакомый был. Так он когда домой шел, «маленькую» в магазине покупал. Открывал в подъезде. Потом подходил к двери своей квартиры, звонил в звонок и — пока жена с замками возилась — в три глотка выпивал. Любил хвалиться — жена, мол, дверь открывает, смотрит на меня — я трезвый. Идет на кухню, суп наливает, сажусь обедать — я пьяный...

— Молодец. Точно время рассчитывал.

Дюк взял из рук Огурцова открытую бутылку, окрутил ее в руках и, задрав подбородок и приведя бутылку в вертикальное положение стал вливать себе в рот белое сухое. Выпив ровно половину бутылки в какие-то несколько секунд он оторвал ее от губ, крикнул и передал вино Огурцову.

— Да... Но нам такая точность, как у твоего актера не требуется. Я думаю, что сейчас там, — Полянский кивнул в сторону нужной им квартиры сейчас там все нажгутся. И Леков в первую очередь.

— Это точно, — согласился Огурцов и повторил манипуляции Полянского, причем выпил вино чуть быстрее, чем его старший и более



опытный товарищ.

В квартиру, где должен был состояться концерт они вошли последними и хозяин запер за ними дверь на все три замка.

Только после этого он обернулся к гостям и сказал Огурцову:

— Привет, Саша. Проходите.

Хозяина звали Пашей, вместе с Шапошниковым он был завсегдатаем рок-концертов, вместе с Шапошниковым пил в гримерках, так же, как и Шапошников, знал всех и вся. Вся разница между стихийным администратором и Пашей была в том, что, если Шапошников приносил с собой заветную бутылку водки, которая выпивалась очень быстро, то Паша покупал все для продолжения банкета, который, бывало, затягивался не на одни сутки. Паша имел деньги. И, что самое удивительное, он зарабатывал их честным трудом. На официальной работе.

Сейчас Паша выглядел усталым и каким-то совершенно незаинтересованным в том, что происходило в его квартире. Огурцова Паша знал давно, еще со школы, где они вместе учились, правда в разных классах — Паша был на два года старше. После школы Паша поступил в Политехнический институт, закончил его, но карьера инженера не прельщала любителя неформального досуга и Паша, спрятав диплом в письменный стол пошел работать на завод. Для круга, в котором он продолжал вращаться, такой образ жизни был, мягко говоря, нехарактерен, но Паша упорно отстаивал в застольных разговорах свою любовь к тяжелому машиностроению и, в конце концов его оставили в покое, перестав сочувственно предлагать места сторожей, дворников и операторов газовых котельных, где трудилось большинство членов ленинградского рок-клуба.

Огурцов и Полянский прошли по коридору в направлении гостиной и застыли на пороге. Комната была не отягощена мебелью. Собственно, если не считать табурета, на котором, у стены, сидел маэстро Леков, мебели в гостиной Паши не было никакой. Огурцов не удивился — он бывал у Паши много раз и знал, что в соседней комнате, так называемой спальне на полу лежат три широких матраса, служивших постелями Паше и его гостям, которые частенько после вечеринок, сродни сегодняшней, оставались ночевать в гостеприимном доме, не смущаясь спартанскими условиями, в которых существовал хозяин. В той же спальне стояла и аппаратура — огромный катушечный магнитофон, усилитель, колонки и горы коробок с магнитной лентой.

— Может быть, пока на кухню? — тихо спросил Полянский у своего, более искушенного в планировке пашиной квартиры друга.

И то сказать — сесть в гостиной, превращенной в импровизированный концертный зал было некуда и не на что. Комната была забита народом любители подпольного рока сидели на полу, занимая всю площадь. Они расположились полукругом, оставив место только для табурета с сидящим на нем Лековым, который крутил гитарные колки, настраивая инструмент. Концерт еще не начался, но в помещении уже стоял густой синий туман от табачного Полянский, поведя носом, быстро понял, что и не только табачного дыма, уже звенели посудой наиболее нетерпеливые, там и сям раздавалось характерное бульканье разливаемого по стаканам вина.

— Да, пожалуй, — согласился Огурцов.

На кухне усердно, туша сигаретные окурки в пустой консервной банке и тут же поджигая новые, курили трое подростков неопределенного, впрочем, возраста. Огурцов давно уже вывел теорию, гласящую, что рок-н-ролл нивелирует возраст и те, кого они увидели сейчас служили еще одним живым подтверждением теоретических выкладок молодого философа.

Подросткам могло быть и по семнадцать, и по двадцать, и по двадцать пять лет — редкие бородки, жидкие, юношеские усики, длинные волосы, затертые, дырявые джинсы, припухшие глаза, румянец на гладких, провалившихся до самых зубов, щечках. Все трое тощие, сутулые, угловатые.

Завидев вновь прибывших подростки на миг замолчали, потом продолжили беседу, как заметил Огурцов, уже с расчетом на аудиторию. Они не знали ни его, ни Полянского, поэтому, вероятно, решили показать неизвестным гостям свою осведомленность в происходящем и причастность к святой святых.

«Все понятно, — подумал Огурцов. — Они считают, что и Леков, и вообще, вся наша рок-музыка — это специально для них делается. Ну-ну...».

Он взглянул на Полянского. По лицу Дюка скользнула кривая усмешка скользнула и пропала. Полянский не любил демонстрироваться свои чувства окружающим, тем более, незнакомым.

— Ну, послушаем, что он сегодня нам залепит, — сказал один из молодых гостей. Он был пониже своих товарищей и, кажется, помоложе, хотя определенно это было казать трудно.

— Продался Василек, — печально покачал головой высокий, в длинном, почти до колен спускавшемся, порванном на локтях свитере. Волосы длинного были со свитером одного оттенка — грязно-коричневые, ни каштановыми, ни какими другими их назвать было нельзя — именно грязно-коричневые и никак иначе. Кончики давно не мытых волос терялись

среди ниток. Торчащих из поношенного свитера и казалось, что они вплетаются в шерсть, создавая некое подобие капюшона. Даже с близкого расстояния нельзя было с уверенностью сказать, где кончаются волосы и где, соответственно, начинается свитер.

Пока Огурцов думал о том, как странно, все-таки, одеваются современные молодые люди, те продолжали беседу.

— Точно, продался, — согласился первый из осуждавших артиста. — С Лукашиной в одних концертах играет. И с Григоровичем.

— Ну, этот-то, вообще — мажорище, — неожиданно злобно рявкнул третий, до сих пор молчавший и смоливший мятую «беломорину». Этот юноша, оказавшийся самым ортодоксальным и злобным из всей троицы был одет более-менее прилично — в поношенный джинсовый костюм, правда, изобилующий заштопанными дырками, но Огурец быстро определил, что дырки эти были проделаны в иностранных синих доспехах специально, да и штопка была слишком уж аккуратной, нарочитой какой-то.

— Мажорище, — повторил джинсовый мальчик. — Эстрада.

— Эстрада, эстрада, — закивали головами товарищи джинсового. — Совок.

Сказавши это, все трое покосились на Огурцова и Полянского.

— Закурить дайте, ребята, — сказал Огурцов, стараясь сдержать улыбку.

— Держи.

Парень в свитере протянул вновьприбывшему мятую пачку «Беломора».

— Спасибо. А выпить нету?

— Нету, — гордо ответил джинсовый. — Мы не пьем.

— А чего же вы сюда пришли? — спросил Полянский.

— Да так... Послушать. А вам Леков нравится?

— Да он наш друг старый, — сказал Огурцов.

— Да?..

Джинсовый смешался.

— Давно его знаете?

— Прилично, — ответил Полянский. — Классный парень, правда? Хотя и беспредельщик.

— Сегодня, кстати, говорят, новые песни будет петь, — осторожно встрял в разговор парень в свитере.

— Очень может быть. У него периоды такие бывают — как из короба все валится. А потом — словно засыпает. На полгода, на год.

Огурцов затаился «беломориной».

— Да бухает он, а не засыпает, — хмыкнул Полянский. — Бухает, как черт, натурально. Откуда только здоровья столько?..

— Пьет сильно? — засверкав глазами с интересом спросил джинсовый.

— Ну да. Еще как. Вам и не снилось.

— Да нам-то что? — с подчеркнутым презрением в голосе откликнулся парень в свитере.

— Ну, конечно. Вам-то что? Действительно...

Полянский посмотрел на облупленную краску потолка.

— А, может быть, у вас пыхнуть есть, господа? — спросил он после короткой общей паузы.

Ребятки переглянулись.

— Мы НЕ ПЫХАЕМ, — быстро сказал парень в джинсовой куртке и недоверчиво глянул на Полянского. — Мы ПРОСТО послушать пришли.

— Пионеры, — скучно отрезюмировал Полянский, обращаясь к Огурцову. — Ни тебе выпить, ни тебе пыхнуть.

То, о чем подумали ребяташки, было яснее ясного. За стукачей держат.

Похоже, о том же подумал и Огурцов, потому как ухмыльнулся.

— Прямо как Ленин, — заметил он.

— Ну раз вы не пьете и не пыхаете, господа хорошие, — сказал Полянский, — то не обессудьте. — Где там наша сумка заветная?

К концу концерта на кухне уже было не протолкнуться. Малолетних непьющих хиппи вытеснили настоящие матерые ценители русского рока.

Малолетние непьющие хиппи вышли на улицу.

— Ну как тебе? — спросил Костя-Зверь, высокий, самый старший из троицы малолетних непьющих хиппи у Юрки Мишунина — бас-гитариста группы «Кривое Зеркало», известной в узких кругах Веселого Поселка. Костя-Зверь играл в этой группе на барабанах, а Дима-Дохлый, третий в компании малолетних непьющих хиппи — на гитаре.

— Говно, — сказал Мишунин. — Мы круче.

— Это ясно, протянул Костя-Зверь. — Только, как бы раскрутиться?

— А черт его знает. Лекову этому повезло просто. Оказался, как говорят, в нужное время в нужном месте.

— Да-а... Везет же некоторым. А мы — что? Так и будем по подвалам колбаситься?

Дима-Дохлый тяжело вздохнул. Осенний призыв на полную катушку идет. Со дня на день могут повесточку принести — очередную. Уже не раз приносили бумажки эти отвратительные — но удавалось как-то и Костьке,

и Юрке и Димке не входить в прямой контакт с эмиссарами районных военкоматов. Но, ведь, это дело случая. Могут и выследить. Сунуть в руки, заставить расписаться... Могут и просто на улице прихватить. И все — тогда, прощай рок-н-ролл. На два года в армию. Два года — это же целая жизнь. Все за два года изменится, мода другая придет, девчонки знакомые замуж повыскакивают. Все с нуля начинать придется. Да ладно — девчонки. А если в Афган загребут — что тогда?

— Не будем мы по подвалам, — продолжил Мишунин. — Мы всех их уберем. И Лекова этого, и Григоровича, и весь рок-клуб замшелый. Главное — дело делать. Не падать духом. Точно, Костя?

— Точняк, ответил Костя-Зверь. Прорвемся, ребята.

— Ну как тебе? — спросил Лео Маркизу, сосредоточенно продавливая пробку внутрь бутылки.

— А что, нештук, — Маркизу качнуло, — Ох, и накурено тут, дышать нечем.

— Щас поправимся, — пробурчал Лео.

— На, не мудохайся, — Маркиза протянула ему ключ. — Блин! — взъярилась она вдруг на высокого светловолосого бородача. — Смотреть надо. На ногу мне наступил. — Слышь, Лео. Что за хрень сегодня, не врублюсь. С утра уже в пятый раз — на ногу мне наступают. На левую.

— Пардон, — сказал было Царев, но Маркиза уже, похоже, забыла о нем.

— Не, ну ты скажи мне, в самом деле, ты в таких делах сечешь, что за хрень? — допытывалась она у Лео.

— Карма это, — замогильным голосом отозвался тот. — Держи. — Он протянул ей бутылку. — Скорректируй.

— Чего скорректировать, — не поняла Маркиза.

— Ее.

— Кого ее?

— Карму, — выдержав паузу торжественно возгласил Лео.

Маркиза фыркнула.

— Да пошел ты.

Лео сделал глоток из бутылки, словно желая проверить, хорошо ли он пропихнул пробку. Проверкой он был удовлетворен и, хотел было протянуть бутылку Маркизе, но замер, пристально глядя ей в лицо.

— Вот видишь, — через несколько секунд произнес он назидательно. — А ты говоришь — «пошел»... Захотела — и скорректировалось ведь!

По лицу Маркизы блуждала блаженная улыбка.

— Ну как, — продолжал Лео. — Что-нибудь открылось?

— Э-э-э, — пропела Маркиза, закатив глаза. На носу у нее выступила капелька пота.

— Молодец, — похвалил ее Лео. — Я не ожидал, что ты такая способная.

Огурцов, по своему обыкновению, заснувший на корточках, и прижавшись к стене, чтобы его случайно не затоптали, вдруг встрепенулся, резко поднялся на ноги и задел Лео плечом. Того качнуло и, благодаря этому он посмотрел на Маркизу с другого ракурса.

Этот, новый ракурс открыл для него новые способы корректировки кармы.

Широкая, как лопата, рука парня со странным прозвищем «Ихтиандр» — Лео был с ним шапочно знаком — гладила маленькую аккуратную попку Маркизы, толстые пальцы скользили по шву джинсов, разрезающему на две равные половинки самую соблазнительную с виду часть тела искательницы истины.

— А Леков все еще играет? — заплетающимся языком спросил Огурцов.

И, окинув взглядом помещение крохотной кухни, сам себе ответил:

— Не играет. Все уже здесь. Опять я все проспал.

— Играет, играет, — успокоил его Полянский. — А настоящие ценители всегда в буфете сидят. Только публика-дура в зале. Ты что, никогда Ваську не слышал?

— Я хочу, — с трудом вымолвил Огурцов. — Хочу но-о-овые пес... Пес... Ни...

— Да нет, — вмешался Царев. — Там тишина полная.

— Я, все-таки... Позвольте, господа...

Огурцов протиснулся между замершим с бутылкой в руке Лео и окончательно впавшей в мистический транс Маркизой, споткнулся в коридоре о тело храпевшего на полу Шапошникова и вошел в «концертную комнату».

Видимо, гастроли в компании с Лукашиной и Григоровичем, действительно, сильно подействовали на психику Василька Лекова. Причем, непонятно, хорошо ли подействовали, или не очень.

Васлек играл — играл непривычно тихо, нежно перебирая струны и пел длинную — даже включившись на середине, не слыша начала можно было с уверенностью сказать, что очень длинную песню — русский мотив, повторения слов — кажется, песня могла продолжаться до бесконечности. Пел, словно былинку рассказывал.

Волосы Лекова были заплетены в несколько длинных косичек,

перехвачены цветастой повязкой. Он был одет в белую рубаху с вышивкой, черные джинсы и какое-то подобие не то лаптей, не то мокасинов.

В такт по-хорошему заунывной песни позвякивал медный колокольчик, висевший на веревочке, перехватывающей запястье его правой руки.

— ...вот и все, Ванюша, — наконец, закончил Леков.

— Все, ребята, все, вам же сказали, — замахал руками вскочившийс пола Яша Куманский. — Все, концерт окончен. Артист устал.

Куманский начал производить руками пассы, удивительно похожие на движения птичницы, сгоняющей гусей с чужого огорода.

Разношерстная публика послушно потянулась в коридор. Журналист Куманский пользовался в музыкальной среде большим авторитетом.

Огурцов стоял, прижавшись к стене — его действия Куманского не касались, он был здесь своим человеком и с удивлением думал о том, как влияет содержание песни и ее мелодика на поведение окружающих. Лекова понесло в славянские дела — и тут же пошли ассоциации с гусями. А гусь, поддревним поверьям — птица мистическая. Из царства мертвых прилетает и туда же возвращается. Когда зима настает. А сейчас, как раз, поздняя осень.

Огурцов с исугом посмотрел на выходящих из квартиры фанатов. Лишь бы они не в царство мертвых сейчас отправились...

С другой стороны — куда они отправляются выйдя с «квартирника»? В свои мрачные новостройки, которые в конце ноября выглядят еще более уныло, чем обычно? Завтра промозглым утром на работу в воняющем соляркой автобусе? В институты, в которых, в не зависимости от профиля и направленности первой и наиглавнейшей дисциплиной является — что? Правильно. История партии.

В Крым, что ли, махнуть?...

\*

— Василий, скажи пожалуйста, что это тебя потянуло в официоз?

— Деньги были нужны.

— А если серьезно?

— А если серьезно, то они мне и сейчас нужны.

— Сколько же тебе нужно денег? Только не отвечай, как Шура Балаганов...

— Не отвечу. Мне нужно значительно больше, чем Шуре.

— Зачем же?

— Яхту купить.

— Какую яхту?

— Яхта под названием «Пошли все на хрен». Плавать на ней в нейтральных водах. И на звезды смотреть.

— Хорошо... Василий, а что ты думаешь, вообще, о роке? Меняется ли он у нас? И, насчет Григоровича — он же был, так сказать, одним из первых рокеров, а теперь стал почти эстрадных артистом...

— Отечественный рок всегда воспринимался как музыка протеста. А когда исчезло то, против чего был протест — тут року и кранты пришли. Потому что настало время переводить рок на уровень высокий музыки. А с этим в России беда. Рок для нас чужд. Как чужд французам и немцам. Рок создавался внутри англоязычной среды. Там он и умрет.

А насчет Григоровича — на самом деле он не был первым русским рокером.

— А кто был?

— Мусоргский.

— Ты любишь классику?

— Да. Очень.

— Литературу тоже классическую?

— Исключительно.

— Твой любимый литературный персонаж?

— Еврейская девушка Любочка Каксон.

— Кто?!

— Ну, помнишь, Яша, песня есть такая классическая. «А Любовь Каксон стороной прошла».

— Хм... Ясно. Скажи, если тебе так нравится еврейская девушка, хихи, Любочка, то что тебя так привлекает в славянской теме? В твоих новых песнях явственно прослеживается...

— А фиг его знает. Ничего меня особо не привлекает. Я пою то, что чувствую. И как чувствую. Портвейна дай, а? В горле пересохло.

— Последний вопрос. Как ты назовешь своего будущего сына. Или дочь? Вообще, какие у тебя любимые имена?..

— Гитлеркапут.

— Как-как?

— Гитлеркапут. Если у меня родится сын, я назову его Гитлеркапут. А что — очень патриотично. В духе времени и истории нашей страны. Гитлеркапут Васильевич Леков. А?



Где-то в глубинах космоса, в абсолютной тишине, среди светящихся шлейфов ионизированного газа беззвучно умирала звезда.

Вакуум был в этой области исключительно богат, породив обширные водородные облака, что протянулись на десятки световых лет.

Сквозь облака пробегали гравитационные волны тревожа атомы водорода и подталкивая их друг к другу, создавая сингулярности. То тут, то там плотность водорода становилась больше. Другая случайная волна вскоре разрушала сингулярность, отгоняла атомы один от другого. Или не разрушала...

Волна кайфа все нарастала, обволакивая и унося куда-то...

... Когда плотность и масса сингулярности достигали некоторого предела, сингулярность, собственно, переставала быть сингулярностью. Точнее, не переставала быть, а теряла право так называться. По достижению критического предела сингулярность становилось протозималью, гравитационное притяжение которой стягивало к себе вещество из прилегающих районов облака. Постепенно формировалась протозвезда...

Тишина. Лишь ритмический шорох дыхания.

Хорошее слово: ПРОТОЗВЕЗДА. PROTOSTAR. Многозначительное. Протозвезда экрана. Голливудская протозвезда. Рок-протозвезда. Мы все — прото-. Потому что звездами будут те, кто придут после нас.

... Давление внутри протозвезды нарастало. Растет и температура. Молекулярная фаза. Металлическая фаза. Температура растет. И вот наконец реакция термоядерного синтеза. Родилась звезда...

Чей-то голос, искаженный, будто воспроизводимый на малой скорости. И оглушительно громкий, бьющий по ушам...

Леков приоткрыл глаза. Он сидел. Под спиной было что-то жесткое.

— Ты кто?

— А ты где? — вопросом на вопрос.

— Маркиза?

— Нет, блин, папа римский. Козел ты, Васька.

— А ты чего тут делаешь?

— Ничего себе! — возмутилась Маркиза. — Он еще спрашивает!

Леков пошевелился. Под пальцами тихо зазвенела струна. Он сидел на полу, застланном газетами, привалившись к заляпанной известью стремянке. На коленях у Лекова лежала гитара.

— Хорош, — хмыкнула Маркиза. Она устроилась на диване и оттуда наблюдала за Лековым.

— И давно я тут? — спросил Леков.

— Порядком. Звонок в дверь — ты. Двух слов связать не можешь. Стоишь, как столб, лыбишься тупо. Потом зашел, гитару взял и на пол сел. Я тебе говорю, куда, муذило, грязно там. Побелка, не видишь что ли. А тебе все по барабану. Сидишь, наигрываешь что-то. Потом перестанешь, а потом снова наигрываешь. Чем это ты так?

— А фиг знает, — беззаботно отозвался Леков. — Колеса какие-то. Уносит с них классно.

— Уносит его, козла. Стадникова знает, куда ты поперся?

— Не-а. Я и сам не знал. — Леков усмехнулся. — Ладно, хорош трендеть. Жить надо на полную катушку.

— На хуюшку. Знаешь, что я тебе, Васька, скажу. Ты попросту жизни боишься. Отсюда все твои половецкие пляски. Выкрутасы идиотские.

— Скажешь тоже. — Леков помотал головой. Подташнивало. Перед глазами все плыло.

— А хрена лысого тут говорить. Это же видно.

— А ты сама-то не боишься? — Леков с усилием отлепился от стремянки и встал. Качнулся.

— Тоже боюсь. Жизнь — страшная штука. Но я себя в руках держу. А ты нет. И в этом разница между нами. — Маркиза сурово обхватила руками колени.

— А чего ты тогда, после «сейшена» так быстро свалила? Погудели бы вместе.

— С тобой после «сейшака» только и гудеть было. Тебя же с квартиры той до автобусной остановки волоком тащить пришлось. — Маркиза хмыкнула. Правда, мне это в тему вышло. Я тебя на этого здорового погрузила, как его, Ихтиандра, а сама скипнула.

— А чего скипнула-то?

— Да он клеится ко мне начал с недетской силой. А мне не в кайф вдруг все стало. Кстати, ты за эти свои гастроли с Лукашиной бабок-то огреб?

— Огреб.

— Стало быть, насос ты теперь?

— Я отсос, а не насос. Я должен до сих пор.

— Ну, у тебя и долги... А кому должен?

— А, в том числе, и Ихтиандру этому.

— То-то он очень недоволен был, что ему тебя тащить пришлось. Ты

его еще и облевал под завязку.

— Я бы их всех облевал. Весь этот шоу-бизнес.

— Слышь, Васька, а что ты там про звезды бормотал? Ну уж очень заумное втюхивал. Сидишь тут, бормочешь. То ли со мной разговариваешь, то ли сам с собой. Ну я тоже поддакиваю. Знаешь, если с пьяными разговаривать, они быстрее в себя приходят. Точно тебе говорю. Я по себе это знаю.

Леков пожал плечами.

— А пес его знает. Я помню что ли. Снилось что-то.

— Ты про бытийную массу все бубнил. А что это такое?

Леков провел пальцами по струнам гитары. Поморщился отчего-то.

— У людей масса есть.

— Открыл Америку, — хмыкнула Маркиза.

— Да нет, не та, которая помидоры давит, если на них жопой сесть. Другая. Вот ты можешь изменить судьбу другого человека?

— Как два пальца, — заржала Маркиза. — Да я, знаешь...

— Нет, ты не врубилась. Вот ты прешь по жизни своим путем, своей траекторией, а траектории других людей, если они поблизости от тебя оказываются, меняются. Или твоя меняется.

— И это все? — разочарованно протянула Маркиза. — А я-то думала... Нет, Васька, мудака ты. Тренькал бы на своей гитаре, а в философию не лез.

— Ты опять не въехала, — Леков сморщился. — Вот взять, к примеру, Ленина. У него бытийная масса была очень большая. Он вон сколько траекторий изменил.

— Ну и к чему ты клонишь?

— К звездам. Они горят лишь благодаря своей массе. Водород сжимается, разогревается, возникает термоядерная реакция. Чем больше масса, тем он сильнее разогревается, тем быстрее выгорает водород, тем ярче горит звезда. И тем короче живет.

— Не сильна я в этих делах! — вдруг рассердилась Маркиза. — Жить надо на полную катушку, а не заморачиваться. Меньше колес надо жрать. Ленин твой, он вон не очень-то мало жил.

— Во-от, — протянул Леков. — Тут-то и суть. В звезде накапливается гелий. Если не хватит массы, то здесь и песок. А если масса большая, то загорается и гелий. Только это уже другой период в жизни звезды. И так далее. Через кризисы. Что ты понимаешь в Ленине?

— Тоже мне историк партии выискался! Стало быть, ты мне хочешь впарить...

— Ага, — сказал Леков и провел ногтем по шестой, басовой струне, издав неприятный скрипящий звук. Он усмехнулся. — Именно. Люди — они как звезды, блин.

— Заколебал ты меня, Васька, со своими водородами-гелиями. Слушай, а ты что уже перед «сейшаком» колес обожрался. Етти твою мать, уж от тебя я такого не ожидала. Хрена лысого ты байдю эту дешевую воткнул. Ну «Дроздов» этих долбанных. Я, блин, по «Маяку» в «Рабочий полдень» их чуть ли не каждый день слышу. Слушай, Леков, а может ты ссучился уже, а? Ты, Васька, им можешь не говорить, коль стесняешься. Но мне — старому боевому, так сказать, товарищу скажи: ты часом ИМ не проданся?

— Мои дрозды не полевые.

— А какие? — с издевкой спросила Маркиза.

— Да так, — уклончиво сказал Леков. — Слышала, может быть. Поверье такое было у славян старинное. Будто бы души умерших похожи на птиц. Или птицами и являются.

— И что же, ты, Васька птицей намылился заделаться? Воробышком? Или нет, дроздом. А Стадникова твоя как к этому относится? Или на пару по веткам скакать станете — прыг-прыг, чик-чирик?

Леков хмыкнул.

— Ты чего ржешь?

— Тебя птицей представил.

— А какая же я по твоему птица? — Маркиза потянулась.

— Оомимидзуку, — сказал Леков.

— Ча-аво? — не поняла Маркиза.

— Это филин так по-японски называется. Он там поменьше наших и вопит попронзительнее. В зоопарк сходи, посмотри.

— Филин — он мужчина, — мотнула головой Маркиза.

— Ну-ну, — Леков снова извлек из гитары скрежещающий звук. — А на яйцах кто по-твоему сидит. Сова?

— Сова это сова. Филин — это филин. Ты мне мозги не пудри, Леков. Обожрался колес и гонишь. Сиди на яйцах ровно, оомимидзуку. Не, а ты точно уверен насчет этого поверья? Жутко как-то. У меня вон птицы часто на подоконник садятся. И несколько раз даже в дом залетали, представляешь? Последний раз синица была. Я ее в конце концов поймала.

— Вестница смерти, — заметил Леков. — А как ты определила, что это синица? Синица, а не какая-нибудь другая птица?

— Да синяя просто, опухшая, дрожащая. Ну кто же как не синица.

— Точно, — озадаченно протянул Леков. — Видно не просто ей было,

птице этой — синице. И так вот и залетела?

— Да вот, не поверишь. Я тут себе сижу, пиццу мастерю, сковородочку уже поставила, водички в нее налила, стою озираюсь — чего бы ее туда бросить? Открытую банку килек в томате нашла. Хорошо, думаю, важный ингредиент. Зашипели они на сковородочке, вдохновили меня. Туда же — черствый хлеб, туда же унылую прядь увядшей петрушки. Туда же — льда из холодильника наковыряла. Там мясо когда-то лежало, лед его запах впитал, пусть отдает. Туда же витамин С, несколько шариков нашла, чтоб цынга мне последние зубы не выела. И только мяса не было в пицце той. Но вкус мяса я бы представила, у меня фантазия богатая.

А тут — хрясь, трах-бам — синица обторчанная влетает. Чуть с ног не сшибла

— Вечно ты Маркиза с твоим *morbid fascination*.

— С твоей, — поправила Маркиза. — С твоей *fascination*. А что мне поделать, ежели я по жизни такая, мрачно-завороченная. Пицца-то остыла уже поди.

— Да ладно, холодная сойдет. Тащи.

Маркиза вздохнула и встала с дивана. Протопала на кухню, шаркая стоптанными тапками. Вернулась с маленькой сковородочкой в руках.

— На, жри, — сказала она. — Помни мою доброту. И вилку, кстати, возьми.

— Нуте-с, нуте-с, — бодро сказал Леков, приняв сковородочку. Не вставая, дотянулся, до валявшейся неподалеку вилки. — Слушай, а маловато будет.

— Да что вы, что вы, — хозяйка зарделась. — Скажите тоже. Да вы, кушайте, кушайте.

Ах, ну до чего они были хороши — дрозды по-нормандски. Съедаешь — и не замечаешь. Будто снетки.

Будто снетки! Снеток — это вобла, которая размером не вышла. А вобла там и рядом не лежала. Там иная прельстительница лежала — обитательница проточных вод форель, чье мясо так нежно и тает на языке. А после форели как славно откусывать грудку корелевского пингвина по-эквадорски, с соусом «Либертад».

Умница, Маркиза! Нет конца твоей пицце.

— Ты ешь?

— Ем.

— Спасибо.

Вилка выскакивает из потной руки, но так вкусно все, так вкусно....

Как в этой сковородочке все умещается? Цапнул вилкой — и — на

тебе ухо дикого осла — вагриуса по-бразильски. Цапнул в другой раз — глядь, а это и не вилка вовсе, а ложка — и в ложке той красная икра, или борщ холодный хлебай — не хочу.

Нет сил уже есть. А надо. Потому, что fascination, потому что не оторваться.

Цап вилкой — что на этот раз? Ого — мясо белого медведя, на правительственной антарктической станции специально откормленного медом на убой — Вавилов лично рамки с сотами привозил. И жрал медведь тот мед, давился им, тошнило его. Не хочу, говорил медведь, мед твой вонючий. Жри, говорил Вавилов, жри — надо. И жрал медведь... Пора остановиться. Переедание вредно сказывается на жизнедеятельности организма.

— А что же вы всухомятку-то кушаете? — напевный голос хозяйки. — Вот, не желаете ли отпробовать? «Агдам» урожая 1917 года.

## ЧАСТЬ II

## Глава 1. Швейцария

*Другая половина слова замерла на устах рассказчика...*

*Окно брякнуло с шумом; стекла, звеня, вылетели вон, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая: «А что вы тут делаете, добрые люди?».*

*Н.В. Гоголь. Сорочинская ярмарка*

— А что ты с ним будешь делать? — спросил Володя Сашу.

— Пригодится, — ответил старший брат.

— А стрельнуть дашь, — Володя не мог отвести взгляда от пистолета в руках у Саши.

— Мал ты еще для таких дел, — снисходительно глянул на него Александр Ульянов. — Да и патронов мало, для дела надо беречь.

— Для какого дела? — не отставал Володя.

Саша пожал плечами. Он и сам толком не знал, для какого. Для очень важного дела. Саша явственно ощущал сейчас, что впереди у него будет очень важное дело.

Эх, на уши всех поставим. Удача с нами.

— Бухаря завалишь? — испуганно прошептал Володя.

— На кой мне твой Бухарь? — старший брат прицелился в канделябр.

— А ко мне сегодня Вовка Керенский подваливал.

— Да, — Саша нахмурился, водя стволом по помещению. — И что?

— Я сбежал. Там дырка была в заборе. Знаешь дом Лекова?

— Этого пьяницы, — Саша поморщился. Знаю, конечно.

— Так вот, я через его сад и рванул.

— С паршивой овцы хоть шерсти клок, — усмехнулся Саша. — А то, что ты сбежал — это не страшно. Кто ты, а кто Вовчик-балалайка? Он старше тебя и сильнее. Ты поступил умно. Это называется тактика. Ладно, иди спать. Я хочу побыть один.

Володя с недовольным видом удалился к себе. Вот, вечно так.

Интересно, а почему все называют Лекова пьяницей? Пьяницы на престольные праздники возле трактиров лежат. А Леков он другой. Он на скрипке играет, в гимназии даже слышно. А еще у него телескоп есть. На



чердаке.

Только играет он странную музыку. И неправильно. Нельзя так на скрипке играть.

Володя потянулся и заснул.

\*

Владимир Ильич потянулся и зевнул.

Ну нигде покою нет. Что за чудное было кафе — тихое, спокойное. Уютное. А теперь во что превратилось? Все заполнили эти — патлатые, бритые, черт-те что на головах. Одеваются словно клоуны... Как тараканы на объедки праздничного пирога, не убранного на ночь в буфет, как отвратительные насекомые набросились эти негодяи на жирную, пасторальную Швейцарию. Войны испугались, не хотят воевать. А война нужна. Объективно нужна. И, лучше всего, не одна, а несколько. Как Владимир Ульянов учил, еще тогда, в детские годы — перессорить противников, ослабить их междуусобными распрями, а потом улучшить момент и всех разом...

Взять, к примеру, хотя бы вот того. Или — этого. Их бы в Симбирск, да носом к носу с Вовчиком-Балалайкой, с Керенским. Или — на пристань, к Бухарю в лапы. Что бы делали эти патлатые да бритые? Нет, с этой командой каши не сваришь. А каша, она, ох как хороша бывает, если ее правильно заправить и вовремя на стол подать.

Голодранцы...

Владимир Ильич сунул руку в карман и, не вытаскивая бумажник на свет божий, пересчитал пальцами купюры. Голодранцы... Впрочем, где-то это и хорошо. Вот, скажем, если этой тощенькой, несколько франков показать издали, так, вероятно, и забудет она тут же своих волосатиков, да и побежит задрав хвост за тем, кто ее франками-то поманит. Прогнило тут все.

Владимир Ильич вытащил из кармана несколько бумажек и, поглядывая на волосатых, сделал вид, что пересчитывает деньги. Компания за соседним столиком явно следила за действиями Владимира Ильича. Ульянов продолжал мусолить в коротких пальцах франки, складывал их в пачечку, потом, словно забыв что-то, снова начинал шуршать мятыми бумажками. В какой-то момент он увлекся настолько, что рассыпал, словно случайно, деньги по столу и со стороны могло показаться, что Владимир Ильич начал раскладывать какой-то особенный пасьянс.

Компания за соседним столиком совсем увяла. Оживленная, с матерком и повизгиванием беседа сошла на нет, молодые люди голодными глазами следили за манипуляциями Владимира Ильича.

«Кручу-верчу, запутать хочу», — некстати вспомнил Владимир Ильич присказку симбирских наперсточников.

Наконец, тощенькая шепнула что-то своему, разодетому как попугай, соседу, сосед ткнул локтем своего дружка в черном плаще, словно позаимствованному из гардероба персонажей Виктора Гюго и вся троица, преувеличенно-лениво поднявшись со стульев, странно и жеманно подергивая плечами, направилась к Владимиру Ильичу.

Ульянову вдруг стало страшно. «Апаши», — подумал он. Черт бы меня подрал. Заигрался. Ладно, будем выкручиваться. Официанта сейчас позвать, вызвать экипаж. И валить, валить отсюда.

\*

Вот уж ребятки оттягивались. Закосив призыв. Перли девок, квасили, причем яростно, не так как нынче, а по-настоящему яростно — с оттягом. Фактологически дробили свое сознание — поставь швейную машинку рядом с трупом. Может быть, твой матери. Может быть — жены. Или — твоим. И подумай. Трупов — до ебени матери. На выбор. Верден-Марна....

Верлен — мудак. Козел полный. Пидор к тому же. *Femme jouait avec sa chatte*. Дешевка!

И Гийом мудак. Хоть и не пидор. Сыграл в игры патриотов. Калекой остался.

А фосген пахнет свежим сеном. Об этом еще Олдингтон написал.

Дадаисты, мать их так, задирали батистовые кружевные панталоны своих шлюх, вонзали *ses baguettes magiques*, ну у кого что было в вялую плоть, а потом бежали листовки разбрасывать, в кафешках ураганить, а девушки-то, девушки?

Девушки ждали дадаистов, чистили перышки, стирали заблеванные манишки своих героев и ждали.

Уже тогда они были мертвы. Уже тогда, когда ураганили в кафешках и перли девок. Все они были мертвы. Война не затронула Швейцарию. Так написано во всех энциклопедиях.

Затронула.

Все они умерли. Они умерли сидя за столами в своих кафешках, они умерли в постелях на полотняных, дешевых простынях.

Фосген пахнет свежим сеном.

Каучук шел в Европу. Европа воевала. В Белеме зарабатывали деньги. Каучук шел в Европу. В Белеме пел Карузо и белье его отправляли стирать в Европу. В Париж. Те, кто победней отправляли свое белье в Лиссабон. Так и жили.

А дада квасили в своих сраных кафешках. Забив болт. Дезертиры. Суки.

\*

Мишунин перенес центр тяжести с правой ноги на левую.

Стоять еще десять минут.

Суки, дадаисты. Им бы так проторчать на Красной площади. Им бы на рожи эти поглядеть. Под вспышками долбанных «Кодаков». Посмотрел бы я на вас...

Все они умерли. Как писал Фолкнер — «Все они мертвы, эти старые пилоты».

Я стою здесь. Я дал присягу. Я знаю, что придут на мое место салаги, которых будут учить так же, как меня учили, я знаю, что я охраняю труп, что я охраняю то, что никому уже не нужно, но я буду стоять здесь ровно столько, сколько приказано. Буду. Потому что до дембеля мне тридцать восемь дней. Потому что через тридцать восемь дней — болт на все!

\*

Фосген пахнет свежим сеном.

Война не затронула Швейцарию.

Кружка холодного пива в короткой руке, кафе на берегу озера, шляпа, черный костюм и толстожопые швейцарские официантки. Господин с не по-швейцарски раскосыми глазами. Сидит и божоле жрет. Деньгами не делится, падло. Бородка, лысинка, но, вполне симпатичный мужчина. Очень, только, закомпелксованный.

Когда Иоганна к нему подскочила, да на лысине след помады оставила, аж вздрогнул мужичок неведомо откуда. А, кстати, откуда ты, человеке?

— Он по-польски, вроде, говорит, — сказала Иоганна.

— Может русский?

— Nein

Сука — голубь. Надо же было так выбрать место, чтобы прямо мне на сапог. Вот гад! Блямбу такую посадил во время караула. И чего теперь? А ничего. Стоять, терпеть.

Мишунин хотел моргнуть. Ничто так не вырабатывает патриотизм, как служение в РПК. Достоинство. Отвага. Честь, ум и совесть. С кем ты в разведку, мать твою, пошкандыбаешь, как не с солдатами РПК? Мы же вымуштрованы, мы же отточены как кинжалы, мы же по росту выстроены, мы же все русские, как на подбор, взять, хотя бы, сержанта Бернштейна — русский профиль, красавец-мужчина, хоть в роли Добрыни-Никитыча снимай. Все мы здесь русские. Все — красавцы. Рота Почетного Караула.

Фосген. Что такое — фосген? Мы напридумывали столько разных формул, мы в этом смысле впереди планеты всей. Какой, нам на хрен, фосген? Не запугаешь нас фосгеном.

— И по-французски, и по-немецки, — осторожно ответил господин в шляпе. — И по-польски чуть-чуть. Присаживайтесь. Проше, пани, паньство....

Короткие пальцы господина в шляпе забарабанили по столу.

— Что кушать будете?

Жак был на кокаине. Патрик был просто на понтах. А Иоаганна просто была при них — при Жане да при Патрике.

— *Assiez-vous*, — недружелюбно кивнул господин в шляпе.

— *Bonjour* — пробурчал Жан, — валясь на стул напротив господина.

Владимира Ильича провести было трудно. Особенно таким придуркам, как эти трое. Он давно научился пользоваться боковым зрением, он спиной умел чувствовать опасность — он всегда от шпиков уходил — без беготни, без одышки, без пота на лице. С детства овладел этим искусством. В критические моменты вспоминалась ему дырка в заборе пьяницы-Лекова, инспектора путей сообщения. Таких дырок везде полно. Нужно только уметь их замечать. Или тебе двор проходной, или трамвай, от остановки отъезжающий — те же дырки Лековские.

Тощий в черном зашел за спину Ульянова и встал столбом, думая, что господин его не видит. Прекрасно его видел Владимир Ильич, спиной

видел! Шутники, мать их. Нет, нужно уходить отсюда. Нужно очередную дырку в заборе искать.

— Господин хороший, проставились бы вином жертвам последней войны, сказала тощенькая. Она уже сидела на коленях у своего хахаля в попугайском наряде, который икнул и лениво пояснил: — Сами мы не местные.

Владимир Ильич посмотрел на тощенькую с еще большим интересом. Вроде, правильно говорит по-немецки, все нормально. Только выговор странно-рязанский. Отчетливо рязанский. Или эльзасский? Совсем запутала она Владимира Ильича, совсем смутила его взглядом зеленых, ехидных глаз, игрой ямочек на щеках, странно, как на этих ввалившихся щеках еще и ямочки образовывались, а были, ведь! Губы шевелятся, язычок высовывается. А этот в черном все сзади стоит, помалкивает.

«Вина им, что ли, купить, чтобы отвязались, — подумал Владимир Ильич. Но, однако, как она соблазнительна! Что бы Саша сделал на моем месте, интересно?»

— А какого бы вина хотели, уважаемые? — спросил Владимир Ильич, решив потянуть время.

— Маркиза! — неожиданным басом грохнул из-за спины Владимира Ильича верзила в черном. — Маркиза! Какого бы мы с тобой вайна хотели сейчас дерябнуть, а?

— А какое нам господин хороший нальет, такого и дерябнем, — нагло глядя в глаза Владимира Ильича ответствовала Маркиза. — Ну что, гражданин, угостишь даму «Агдамом» урожая 1917 года?

«Нет, не нравится она мне, — окончательно решил про себя Владимир Ильич, вздрогнув от слова „гражданин“. — Наденька, хоть и приелась, а все лучше, чем эта вобла сушеная. Да и наглая какая, откуда такие только берутся? „Агдаму“ ей подавай! Мне и самому „Агдам“ не по карману, только читать про него доводилось. Что уж о простом народе русском говорить? Этим французикам все легко достается, а нам, россиянам — кукиш с маслом! Все с великими трудностями. Князь да графья только в России такие вина могут потреблять.

Ну, ничего. Вот, когда свершится, когда лопнет терпение народное, когда рабочий схватит за руку колхозницу и сольется с ней в праведном гневе, вот тогда все „Агдамом“ уьемся! Но этих подонков, — Владимир Ильич боязливо покосился на развязную троицу, — Этих подонков тогда уже не будет. Истребим! Под корень вырвем! Поганым железом и каленой метлой... В землю вобьем, из-под земли достанем, четвертуем, останки закуем в кандалы и положим в Петропавловские казематы экскурсантам в

назидание.».

— Заказ делать будем или c'est-ce que se? — раздраженным фальцетом пропел над ухом Владимира Ильича гарсон № 2.

— Нет, — с присущей ему в определенные поворотные моменты истории суровостью ответил Владимир Ильич. — Я — пас!

— Какой еще пас? — удивилась Маркиза. — Кому — «пас»? Ой, а вы за кого болеете. За «Спартак»? Или — за «Зенит». За неправильный ответ тут же урою. Ну?

— «Пас»? — промямлил Владимир Ильич.

— Вот я тебе сейчас дам — «пас», — угрожающе прошипел тот, что стоял слева и сзади. Он положил на это плечо холодную, костлявую руку. — Агдам ставить будешь?

— Он будет, — ободряюще улыбнулся гарсону № 2 третий из компании, разодетый по-попугайски...

\*

Доходяги-то они доходяги, прококаиненные, тощие, но так прилипли к Владимиру Ильичу, что оторваться от них он смог только в Финляндии. Взмок весь, ботинки разбил — еще бы — такой путь! Из Цюриха, из Швейцарии благословенной в Германию, потом — сбросив с хвоста это мерзкое семя, для страховки — в нейтральную Швецию — и тут — глядь! — на фоне Стокгольма снова за спиной знакомый, не в ногу, топот, снова эти мерзкие рожи. И снова — топот за спиной, мерзкие рожи по-прежнему в затылок Владимиру Ильичу дышат, «Агдама» требуют, инкубы. Вот, только в Финляндии и отстали. Что им в Финляндии делать? Дураки, дураки, а знают, что в Финляндии сухой закон. Что там даже Владимир Ильич не сможет им «Агдаму» купить. Даже под пыткой.

Обматерили его на границе, Маркиза палец средний вверх выпятила — что за жест, удивился еще тогда Владимир Ильич, но, на всякий случай, запомнил (на пленумах пригодится), повернулись и скрылись в растленной шведской толпе.

Денег нет совсем, просто беда, вся партийная касса на эти переезды вылетела. Правда, несколько глотков «Агдама» Владимир Ильич, все-таки, себе позволил. Заслужил. Устал, однако. И ночевать негде. В разбитых «Дуберсах» ни в одну финскую гостиницу не пустят.

А вкус у Агдама странный. Индустриализацией отдает. И электрофикацией. А горло перехватывает. Хочешь сказать: «Дайте сдачи», а

поневоле вылетает гортанное и варварское «ГОЭРЛО».

Машинист, душка, чудесный грузин, попался. Но — на всякий случай посадил рядом с топкой. Чтоб не баловал попутчик. Сыды, говорит, поэзжай до лубой станция, куда тэбэ, ара, нужно. Главное, спат мнеэ нэ давай, рассказывай чего-нибудь. А то, говорит, сам знаэш — заснэш за рулем...

Руля, Владимир Ильич, правда так и не обнаружил, потя возле топки. Но грузин ему определенно понравился. Все-то у него в паровозе ладилось — то пар выпустит, то бомбу в окно бросит. В общем, симпатяга. В тендере паровоза овечки блеют. А на клапане котла — доллар железный бряцает — для удачи. Кабина локомотива вся сплошь в дагерротипах членов североамериканского конгресса первого созыва, по котырым темпераментный грузин то кулаком бил, то соусом ткемали мазал — ублажал.

Сначала, потя от страха и жара печи Владимир Ильич молчал — от самого Гельсинфорса до Выборга. А потом, вдруг, неожиданно, почувствовал неожиданную симпатию к машинисту — уж больно хорош тот был, когда, проезжая мимо больших станций, бомбы в окно швырял.

На подъезде к Выборгу белоирокезы повстречались, так симпатичный грузин просто в окошко посмотрел, бровями повел — тут же пришпорили коней белоирокезы и растворились в поднявшемся неожиданно со всех финских болото тумане пряча в седельные сумки выдавшие виды скальпы. И поглотил их туман, и тьма пожрала белоирокезов вместе со скальпами, лошадьми и политической несостоятельностью.

И тогда начал рассказывать ему Владимир Ильич — и про Маркса, и про Энгельса, про всю братву, и про заводки классовые. И про за базары партийные. И про толстый и обширный базис с тощей жилистой надстройкой.

Миновав Зеленогорск-Териоки чудесный грузин уже и веру новую принял. Обратился.

На отрезке же «Парголово — Шувалово-Озерки» и вовсе фанатиком стал. Пылкий народ, эти грузины. Вот с кем революцию делать надо. А не с Бронштейнами всякими. Ох, не доведут они до добра, не жди от них хорошего.

В Петербурге расцеловался Владимир Ильич с новым членом по-партийному, взасос, крепко, энергично, со значением пошевелил языком в горячем грузинском рту и направился, наконец, на конспиративную, одному ему известную квартиру.

В квартиру эту он мог явиться без звонка, без письменного уведомления, в любое время дня и ночи. Еще бы. Путиловский рабочий

Юра Мишунин — цвет питерского пролетариата, на редкость ответственный товарищ. Продолжал числиться на Путиловском, но уже года три принципиально на завод не ходил. Сидел в своей конспиративной квартире, попивал-покуривал и ждал гостей. Готовился к пролетарской диктатуре, читал Далматова и твердо знал уже, что уже скоро, очень скоро придет то время, когда капиталисты будут работать, а простые люди сидеть и курить марихуану.

Владимир Ильич открыл дверь своим ключом. Свет не зажигал — знал здесь каждый угол, каждый поворот длиного, как прямая кишка, коридора. Пошел своим широким, уверенным шагом вперед и тут же ударился лбом обо что-то железное.

Странно. Раньше в этом месте ничего похожего не было. Раньше здесь стоял крохотный самогонный аппарат, которым пользовались все, появляющиеся на квартире у путиловского рабочего Юры — и Владимир Ильич, как-то бражки привез с собой симбирской — и пользовался... но аппарат-то крохотный был совсем — перешагнуть через него можно было понимающему человеку в темноте безбоязненно. А тут — ...

Владимир Ильич пощупал ладонью ушибленное место. Судя по стремительно растущей шишке, он налетел на, как знал он из курса диалектического сопромата, на створку пулеметной амбразуры башни легкого броневика. Прямо на заклепку выступающую попал.

Руки бы оторвать молодому пролетарию. Сказано, ведь было — не работай! Так нет, все ему нейдет. Собирает, мудака, на своем четвертом этаже броневик. А как спускать будет? Как он в двери-то пройдет? Капитальную стену ломать придется, леса возводить. Ну, да, впрочем, ломать — не строить. Мир хижинам, война дворцам...

Обогнув броневик в полной темноте Владимир Ильич толкнул знакомую дверь и очутился в слабоосвещенной комнате путиловского рабочего.

Привалился к двери спиной. Все. Здесь они его не достанут. Никто здесь его не достанет. Какой идиот, вообще, сюда полезет?..

Путиловский рабочий лежал на полу среди пустых, разбросанных по всей комнате бутылок из-под «Агдама».

Владимир Ильич нахмурился. Видно, не только броневиком Мишунин занимается. Видно, еще кто-то, пока он в Швейцарии от дадаистов бегал, халтурку подбросил путиловскому рабочему.

Ладно. Это тоже изживем. На пленуме ближайшем и изживем. А пока — пока Мишунин нужен партии.

— Здравствуй, Юра, — прошептал Владимир Ильич. — Я вернулся.



Путиловский рабочий с трудом повернул голову на звук и открыл глаза.

— Владимир Ильич, — жалобно простонал рабочий. — Владимир Ильич... Почему они все такие суки?

— Кто? — продолжая оворить шепотом, спросил Владимир Ильич.

Рабочий неопределенно махнул рукой и обреченно сказал:

— Все.

Он медленно встал с пола, покачиваясь подошел к гостю, пожал протянутую руку, икнул и, глядя прямо в глаза — честно, по-пролетарски — спросил:

— Надолго ко мне, Владимир Ильич?

— Как ситуация развернется, — уклончиво ответил Владимир Ильич. Поглядим. — А что? Я мешаю?

— Да упаси господь, — отмахнулся Мишунин. — С крестьянкой я разошелся, так что места навалом.

Владимир Ильич быстро окинул взглядом комнату.

Все по-прежнему. Диван, стол, табурет, патефон с пластинками. Ан, нет есть и нововведения. На стене, среди знакомых дагерротипов и литографий Че Гевары, Фиделя Кастро, писателя-меньшевика Лимонова, неизвестного Владимиру Ильичу, но вызывающему у него симпатию Нейла Армстронга, появились две новых.

На одной был изображен полный, коренастый пожилой мужчина, лысый, с огромным родимым пятном на широком, наводящем на мысль о мыслях, лбу. На другой — средних лет, длинноволосый человек в костюме. Эта литография, в отличие от остальных, имела подпись.

«Юрке от Вавилова на долгую память», — было написано размашистым почерком в левом углу.

— Этих снять! — брезгливо указав рукой на две последние картинки скомандовал Владимир Ильич. Будучи неплохим физиономистом он знал наверняка, что ничего хорошего от этих господ ждать не приходится.

— Есть! — скучно сказал путиловский рабочий и смахнул картинки со стены.

— Устал я, — пожаловался Владимир Ильич.

— Я тоже, — честно признался путиловец и зевнул. — Все жду да жду... Крестьянка-то моя, сука, с кулаком-мельником спуталась. Он ей зерна дает вдоволь, стоит теперь в стойле, да жрет от пуза... А я все жду да жду...

— Я вижу, — усмехнулся Владимир Ильич, пнув ногой одну из пустых бутылок.

Путиловец стыдливо опустил глаза.

— Вы ложитесь, Владимир Ильич, — чтобы сменить тему, хрипло просипел он. — Ложитесь, отдохните. А я вас покараулю.

## Глава 2. Последний троллейбус

*Чтобы положить конец нечеловеческим  
страданиям бедняги автобус раздавил его, и все  
увидели, что недавно он ел клубнику.*

*Борис Виан. Сердцедер*

— Хотя и пил он каждый день — перед работой и в обед, с друзьями-такелажниками, с дворниками, соло, хотя и пил он, но работал лихо и дорос в глазах начальства до того, что был назначен бригадиром. То есть, старшим.

— Заслуженные грузчики, работники со стажем не одобряли новое начальство  
слишком молод был по разумению пролетарских масс  
сопливый Огурец,  
чтоб управлять огромною машиной  
невероятно трепетным составом  
бригады такелажников.  
С утра им нужно было выпить пива  
(а Огурцов и сам бывал не прочь и очень часто,  
были б только деньги).  
Потом, перед обедом в дело  
шел портвейн,  
а водка только после двух, к концу рабочей смены.  
Такая жизнь мила любому сердцу, но проблема нового  
начальника  
за рамки выходила пониманья  
всего состава опытной бригады.  
Он деньги зарабатывать хотел  
В отличие от тех, что жаждали спокойной, тихой жизни,  
пусть и не очень обеспеченной, но безопасной,  
в отличие от тех, кого устраивали заработки,  
кто не имел несбыточных желаний и послушен  
был всем постулатам и законам КЗОТА, Огурец  
хотел бы обладать куда как большим годовым доходом.

Не отвечали ветераны на призывы бригадира  
к увеличению прибыли — подмигивали важно,  
считая Огурцова сопляком, не ведающим настоящей жизни.  
А он хотел всего-то — рисовать нули,  
приписывать их к цифрам, что в нарядах расставлял еженедельно.  
В месяц получалось  
по плану Огурцова каждому на пару-тройку сотен  
больше. Одно лишь «но»  
— необходимо было заключить негласный договор  
с начальством безусловным, то есть, высшим  
— партийным, профсоюзным, даже творческим,  
включая режиссеров-лауреатов, их именитых сценаристов  
и актеров.  
Последних, впрочем, и в расчет никто не брал.  
Престижу ради лишь заигрывать с актерами рабочие могли.  
Рабочему не след якшаться с лицедеем.  
Но это отступление.  
Договор, хоть и негласный, был довольно строгим.  
Рабочие должны, случись нужда у власть имущих,  
без вопросов  
перевозить их семьи, мебель, пианино  
в квартиры новые, на дачи,  
стеречь имущество и бережно следить,  
не поломалась чтобы новенькая мебель  
при перевозке через город,  
дороги коего все в ямах и ухабах,  
одно название, что культурная столица.  
Рабочие, отринув искушение, восстали,  
как и подобает им.  
«Не станем, дескать, холуями и прислугой.  
Цемент там, доски разгрузить для производства  
— святое дело, пусть и не за триста.  
И не за двести даже рубликов.  
А за сто двадцать.  
Пускай. Но унижаться ради злата — нет!!!  
А на портвейн хватает  
И на закуску незатейливую так же».  
Их быстро Огурцов лукавый раскусил.  
Все дело в том, что алиментщиками были

все почти в его бригаде мужики.  
Невыгодно им было денег больше получать  
— возрастал процент, который вынуждены были  
отдавать оставленным своим, любимым прежде женам  
неверные мужья.  
Ну что же? Огурцов решил, что не удастся грубым мужикам  
разрушить славную идею.  
Он просто начал увольнять строптивцев безобразных  
— одних за пьянку, подло указав  
в момент распитья алкоголя на рабочем месте  
на них начальникам высоким.  
Прочих — за прогулы, опоздания,  
или просто хамство,  
что свойственно для алиментщиков любых...  
Уволив всех, он получил карт-бланш  
для выбора кандидатур, чтобы создать особую бригаду  
— способную уважить просьбы боссов и, вместе с тем,  
работу делать основную, но уже с окладами,  
которые укажет, выписав наряды, Огурцов.  
Спорилося дело — первым прибыл Мюнхен  
— старый приятель бригадира, впрочем, парень молодой.  
Он невысок был ростом, но силен ужасно,  
ходил обычно летом в майке, что обнажала бицепсы,  
на улицах смущающие массы.  
«Не отдадим татарам Крым!» — на майке  
литерами алыми сверкала надпись,  
смущающая пуще бицепсов народ.  
За ним явились Скандалист,  
Свинья и Вилли  
все трое были панки.  
Зеленый следующим прибыл — яростный трофейщик,  
он в выходные дни раскапывать места  
боев по пригородам ездил.  
Оружье находил, а что он делал с ним  
не знал никто.  
Рыба подтянулся, известный тем, что хиппи был и панком,  
дружил со всеми видными людьми,  
что занимались русским роком в Ленинграде.  
Сначала новая бригада пугала внешним видом персонал

«Ленфильма»,  
после же, когда к ним люди попривыкли,  
их стали уважать, любили даже  
— за юмор, исполнительность и храбрость.  
И, главное, за то,  
что исполняли все они со рвением план Огурцова по отъему денег  
у государства, дряхлого уже,  
но все еще смущающего мир своим размером,  
войска численностью и суровостью одежды граждан.

— Переходи на прозу, — устало сказал Полянский. — Задолбал.  
— Ладно... Это меня у Вилли подсадили. Вчера весь день стихами  
разговаривали.

— Много выпили?  
— Порядочно. Да, собственно, как всегда.  
— Ну, понятно. Кому-то жизнь — карамелька...  
— Давай я сбегая, — Огурцов вскочил с кресла. — Я же расчет  
получил. Деньги есть. И не только расчет.

Лицо Александра расплылось в ехидной улыбке.  
— Да? Так что же ты сидишь, мозги мне компостируешь? Беги, пулей  
лети! Только водки этой мерзкой, андроповской — не бери.

— А что брать?  
— А портвейн.  
Огурца не было минут сорок.  
— Ты где бродил? — спросил Полянский, когда, наконец, Огурцов  
появился в дверях его комнаты. И, не дав ответить, бросил следующий  
вопрос:

— Кто дверь открыл?  
— Да эта твоя... Лунолика. Как ее — Татьяна, что ли?  
— Да. Сука... Ладно, давай, заходи. Чего ты там накупил-то?  
Огурцов, пыхтя и заливаясь потом, втащил в комнату Полянского два  
туго набитых полиэтиленовых пакета. Причем, один из них ему  
приходилось придерживать снизу кистью второй руки, в которой, в свою  
очередь, был зажат другой пакет — верхний совершенно явно начал  
расползаться под тяжестью гостинцев.

— Ну, ты молодец, — прокомментировал Полянский. — Давай все  
сюда.

— Помог бы лучше, — просипел Огурцов, с трудом пробирающийся

по лабиринту комнаты. — Леша, помоги... Сейчас порвется.

Полянский, впрочем, быстро оценив ситуацию, вскочил и чрезвычайно элегантно лавируя между предметами обстановки, подлетел к своему юному другу.

— Давай. Ух ты!..

С трудом приятели водрузили оба пакета, которые, как убедился Полянский, оказались по-настоящему тяжелыми, на стол.

— Это по-мужски, — серьезно глядя в глаза Огурцова сказал хозяин квартиры. — По-мужски.

— А то!

Огурец начал вываливать на стол, на диван, на кресла бутылки содержимое пакетов, однако, не уменьшалось.

— Ну ты, брат...

— Ничего, ничего... Я, знаешь, Дюк, претерпел...

— Хорош, хорош. Не надо только на белый стих сползать. Тошно слушать. Особенно, когда ты о себе в третьем лице.

— Ладно.

Когда, наконец, оба пакета были опустошены и отброшены в сторону — в темную глубину комнаты, Полянский, проглотив комок в горле, смог, наконец, обозреть поле предстоящего пиршества.

Иначе то, что ожидало его и бесшабашного дружка — Огурца и назвать было нельзя.

Кроме зеленых бутылок с портвейном Огурец притащил пару плоских фляжек с виски, упаковку баночного пива, несколько узких коричневых цилиндриков с кока-колой. Но все это меркло перед горами закуски — банки красной икры, шпроты, две палки твердокопченной колбасы, зеленый горошек, буженина, балык, хлеб, зелень, яблоки, апельсины...

— Ты, это... Где взял? — спросил Полянский, подозрительно глянув на довольно потирающего руки приятеля.

— Где-где... Какая разница... Бабки есть, вот и потратил.

— А это?

Полянский указал на баночное пиво и икру.

— Это, что, в «Березке»?

— В какой, еще, «Березке»? Пошел на рынок, с грузинами перебазарил. Грузины — великая нация. Все могут.

— Да-да, конечно. Были в истории прецеденты.

— Ну вот. А если бабки есть, то...

Огурцов пошарил в карманах и лицо его на мгновение затуманилось.

— ... нет, — с облегчением выдохнул он. — Еще осталось мала-мала.

— Ну, осталось, так осталось. Давай, Огурец, — плотоядно поглядывая на икру, неровной горкой замерзшую в пузатой стеклянной баночке сказал Полянский, — давай, Богу помолясь, начнем.

— Не поминай имя Божье всуе, — важно заметил Огурцов.

— Иди ты на в жопу со своей суей, — отмахнулся Дюк. — Какая тут может быть суя, когда я с утра я кроме спинки мента у меня ничего во рту не было!

— Садись, садись, — милостиво разрешил Огурец. — Давай отметим...

— Что?

— Ну... Как сказать?.. Мой первый криминальный опыт.

— В каком смысле?

— В прямом. Я теперь, Алеша, вор.

— Да ну! Что, банку тушенки в гастрономе спер?

— Нет, выше бери.

— Не могу выше взять. У меня диапазон маленький. Голос не поставлен. Только, разве, так — пи-и-и!

Дюк запищал фальцетом так пронзительно, что Огурцов вздрогнул и едва не выронил граненый стакан, в который собирался налить виски.

— Хорош, хорош... Давай-как махнем.

— Погоди.

Полянский быстро отрезал от батона толстый ломоть нежнейшей, белейшей, мягчайшей булки, намазал ее толстым слоем игры и, откусив сразу половину, исподлобья посмотрел на гостя.

— А что это ты мне про работу начал рифмоплетствовать? Там, что ли, напортачил?

— Как тебе сказать?

Огурцов закинул ногу на ногу и вдруг запел — тихо, закрытым горлом, но очень правильно, точно попадая в ноты и даже иногда удивительно верно имитируя томный и очень сексуальный голос Булата Окуджавы:

— Я в синий троллейбус войду на ходу,

В последний, прощальный...

Дюк внимательно слушал, держа в одной руке недоеденный бутерброд, в другой — на отлете, стакан с виски.

\*

Цех игрового транспорта находился, как говорится, на отшибе — на



самой окраине города и занимал огромную площадь. Место это было диковатое и по-настоящему обжитой была лишь крохотная его часть — административные здания, два съемочных павильона, практически ничем не отличающиеся от тех, что располагались в головном, выражаясь официальным языком, предприятии в самом центре города.

Здесь земля была залита асфальтом, курили, сидя на лавочках творческие работники в промежутках между съемками и жизнь здесь, если и не кипела, то, по крайней мере, текла. Хотя и достаточно вяло.

Творческие работники пили портвейн, работники рангом повыше — коньяк за тем и за другим бегали работники совсем уже низового звена — такелажники или просто разнорабочие, «волки», как называли их на киностудии, то есть, мужички, все, как на подбор, небольшого росточка, работавшие без оформления, то есть, трудовые книжки их не лежали в отделе кадров киностудии. Да, пожалуй что, у многих из них и вовсе не было никаких трудовых книжек. Может быть, и паспортов-то не было.

Зарплату они получали раз в месяц по квиточкам, которые выдавались им в конце каждого отработанного дня непосредственным начальником администратором картины, директором транспортного цеха или еще кем-нибудь, у кого вдруг возникла нужда в недорогой, разовой рабочей силе.

Каждое утро волки толкались у главного входа на киностудию — конечно, в большинстве своем, в центре, где и находилась главная «волчарня» транспортно-экспедиционный цех, куда стекались заявки на волков. Заявки распределялись между мужичками, они получали разовые пропуска и шагали по месту работы. Для многих из них это место было уже постоянным, хотя каждый день приходилось выписывать новый разовый пропуск.

На студии их любили — волки были неприхотливы в быту, согласны на самую грязную и тяжелую работу, ну, а если и пили (а пили они все), то что ж тут такого? Ну, пьет мужичок, большое дело... Ящики-то с реквизитом таскает при этом и, что называется, есть не просит.

У многих из них, наверняка, было темное прошлое. Спрашивать об этом на студии было не принято. Пожилые женщины — реквизиторши или костюмерши поили приглянувшихся им волков чайком-кофейком и сами изливали им то, что наболело, а волки, в силу то самого темного прошлого, имея богатый опыт общения с самыми разными людьми и будучи неплохими психологами, что называется, «по жизни», с легкостью включались в любую беседу на самых разных уровнях и поддакивали усталым женщинам, давали немудреные житейские советы, выступая в качестве бесплатных психотерапевтов.

Иногда их и приглашали на съемки именно для этих целей. Полюбившихся мужичков «заказывали» тетеньки-реквизиторши и, бывало, волки уезжали со съемочной группой в экспедиции на месяц-другой — иной раз в Сибирь или Урюпинск, а, случалось, что и на Кавказ или в Крым, в Прибалтику или во Владивосток — это, конечно, было чистое везение и немногим удавалось так разжалобить творческих работников, чтобы те полюбили волка как родного и всюду таскали с собой.

Как все это согласовывалось с советским трудовым законодательством не понимал никто.

С одной стороны, само существование волков подтверждало тезис о том, что в СССР нет безработицы — любой человек, в независимости от образования, социальной принадлежности и даже наличия прописки может и должен трудиться, приносить обществу пользу и сам, в свою очередь, пользоваться плодами своего труда.

Но, вместе с тем, в отношении наемных, поденных рабочих отсутствовали все гарантии, которые, вроде бы, должно было давать государство трудящимся гражданам. Ни тебе оплаты больничных листов, ни тебе помощи профсоюзов, да что там — ни на одну работу, кажется, не принимали без прописки. Разве, на разгрузку вагонов. Но киностудия — учреждение серьезное, культурное, и вообще, еще сам вождь сказал, что занимается она искусством важнейшим из всех, занимается она идеологической работой, пропагандой — каким образом трутся вокруг нее деклассированные, подозрительные, вполне возможно, криминальные элементы — это был большой вопрос.

Впрочем, над этим вопросом никто голову не ломал. Устоявшееся положение вещей всех устраивало и, в первую очередь, волков. На студии они чувствовали себя как дома, да, кстати, для многих из них, она домом и была. Особенно филиал.

Асфальтированный участок, на котором и возвышались павильоны, стояли скамеечки с сидящими на них творческими и прочими работниками был обнесен неким подобием живой изгороди — рядком жидких кустиков на которых осенью вызревали жирные белые ягоды, а за кустиками начиналось поле.

Сказать, что было оно бескрайним, конечно, нельзя — на горизонте высились многоэтажки, ограничивающие территорию, но сама эта территория казалась непосвященным, оказавшимся здесь в первый раз, чем-то вроде Зоны, описанной братьями Стругацкими.

Нога человека, если и ступала на землю чуть в стороне от асфальтированной, но страшно разбитой, словно пережившей серьезную

прицельную бомбардировку дороги, которая прорезала дикий участок Филиала от главного входа, где и находились съемочные павильоны к дальним воротам, возле которых находился гараж, нога эта тут же либо подвертывалась, попав в коварную, летом густо заросшую сорной травой яму (воронку?), либо увязала в трясине — некоторые сектора филиала заросли кустами, ветви которых торчали либо из воды, либо из черной, смердящей грязи, которая летом не высыхала ни в какую жару.

Если стоять к съемочным павильонам спиной, то по левую руку, а так же, далеко впереди, можно было видеть две небольших, но чрезвычайно густых лесополосы, в которых жили, строя шалаши и запаливая небольшие костры бомжи со всей округи. Никто их особенно не гонял, конечно, если они не выходили из леса на свет божий — все-таки, киностудия, народ здесь бывает разный, можно напугать какую-нибудь народную артистку так, что она и сниматься потом не сможет. Лесные люди сидели в своих зарослях и только ночами сторожа и редкие прохожие, бредущие вдоль забора, огораживающего территорию Филиала слышали из зарослей жуткий смех, уханье или тихие, приглушенные крики.

Милицию прохожие не вызывали, поскольку звуки, доносившиеся из студийного леса имели характер и тембр настолько потусторонние, что немедленно напрашивалась мысль о том, что справиться с киношной нечистью сможет лишь, пожалуй, опытный экзорцист, а уж никак не полупьяный наряд милиции. Сожрут в лесу этот наряд, сожрут вместе с кобурами, сапогами, фуражками и даже звездочки с погон не выплюнут.

В одном из этих двух, страшных по ночам, а днями — совсем обыкновенных лесочков и сживал обычно Огурцов со своей обновленной бригадой, когда прибывали они в Филиал для того, чтобы погрузить какой-нибудь студийный скарб или, наоборот, разгрузить реквизит, декорации или костюмы. Сживали товарищи, конечно, после того, как работа была сделана — основной принцип, позволяющий приписывать к нарядам нули был воспринят каждым из работников и никто не роптал о том, что сначала нужно покидать в кузов грузовика ящики, а уж потом пить портвейн.

Случилось так, что сидел Огурцов один — бригада отбыла на очередной трудовой подвиг, а бригадир остался в ожидании директора съемочной группы, который должен был закрыть ему наряд.

Взял бригадир бутылочку портвейна и сидел себе на пенечке, попивая любимый напиток, покуривая и поглядывая, не показался ли перед съемочными павильонами автомобиль директора — ездил тот на черной «волге».

После второго стакана бригадира разморило — лето выдалось жарким

— и он не сразу заметил, как из ворот павильона вышла темная фигурка и, прыгая с кочки на кочку, проваливаясь в ямы и неловко взмахивая руками, стала приближаться к леску.

— Здорово!

Хриплый, заискивающий голос разбудил задремавшего было молодого бригадира. Огурцов открыл глаза.

— Хе... Здорово, говорю.

Миша Кошмар, который незаметно, тихонечко подошел к Огурцову был незаметным, тихим мужичком — волком, безотказным в работе и, вследствие этого, любимым женщинами — реквизиторшами. Тяжелый физический труд был Мише, очевидно, неприятен и он осел в реквизиторском цеху, таская корзины с дорогой фарфоровой посудой, подсвечники, люстры и прочее, в общем, то, что пожилым женщинам носить в руках со склада на съемочную площадку было тяжело и неудобно. Все — не доски разгружать или декорации строить. Работа, в общем, не пыльная, хотя и малооплачиваемая.

Миша, сколько помнил Огурец, ходил в одном и том же коричневом костюме, в нем и работал, в нем, не снимая пиджака, и спал во время съемок, улегшись тихонечко где-нибудь на пустых фанерных ящиках.

Возраст его определить было трудно — Миша Кошмар был из тех людей, которым можно дать и тридцать, и сорок, и пятьдесят лет. Лицо его всегда было плохо выбрито, но, при этом было видно, что Миша брился, вследствие чего, впечатления неухоженного забулдыги он ни на кого никогда не производил. Росту был, как и большинство волков, невысокого, в кости широк, головаст, рукаст, в общем, то, что называется, работающий мужичок. Есть такой тип русского мужика — с крупными чертами лица, с прямым, хотя и слегка мутным взглядом, плечистые, крепко стоящие на ногах низкорослые работяги.

Прошрое Миши Кошмара, как и прошрое большинства его коллег, было туманно.

— Привет, Миша, — добродушно ответил Огурец. — Выпить хочешь?

— Плеснешь? — полувопросительно-полуутвердительно, но, как всегда, неопределенно, ответил Миша.

— Держи.

Огурцов налил в стоящий на траве между его ступней стакан остатки портвейна.

— Спасибо. Ну, будь, Санек.

Кошмар вдумчиво, смакуя, выпил вино, тяжело и медленно выдохнул и поставил стакан на место.

«Мелкий человек, — думал Огурцов глядя, как двигается вверх-вниз кадык Кошмара уже после того, как тот проглотил вино. — Мелкий. Но каждому нужны свои ритуалы. Без ритуалов никак нельзя. По ритуалу и определяется масштаб человека. Вот, Гитлер, к примеру... Или Сталин. Какой масштаб. Какие ритуалы — загляденье. Если не брать в расчет идеологию и всю эту херню — красота... А этот? Культ портвейна. Ишь, глаза закрыл, смакует. Ничтожество... Я-то хоть квашу безо всякого морального удовлетворения, просто, чтобы по шарам дало. А для него это — смысл бытия, вершина мироздания. Говнюк».

— Слушай, а, если не секрет, почему тебя Кошмаром зовут? — спросил Огурцов, когда волк открыл глаза и лицо его приобрело выражение мирское, доступное. Еще мгновение назад Миша Кошмар витал где-то в дальних точках вселенной, но вот, портвейн начал растекаться по пищеводу и Миша вернулся на землю. Вероятно, для того, чтобы немедленно начать поиски новой дозы.

— Кошмаром? Так. по фамилии. Кошмаров. Ты не знал, что ли, бригадир?

— Не-а...

Огурцов отвернулся и сунул в рот сигарету. Вероятно, миссия Миши Кошмара была выполнена. Заметил, видно, издали, что молодой бригадир такелажников не просто так на пенечке сидит, вот и забежал похмелиться. Теперь дальше побежит. Волчара...

— Слышь, бригадир...

— Ну чего тебе?

— Дело есть.

— Что за дело? Халтура?

— Да нет... Не совсем.

— Чего ты паришь мне мозги, Кошмар, а?

Огурцов медленно повернулся. Взглянул на волка, присевшего рядом с ним на корточки и вдруг увидел на лице добродушного, привычного, являющегося уже давно и для всех частью студийного интерьера волка совершенно новое выражение. Глаза Миши сузились, смотрели жестко, от носа к кончикам губ пролегли глубокие морщины, подбородок выехал вперед. Однако, лишь мгновение продолжалось наваждение — как только Огурцов посмотрел на собеседника, тот снова неувовимо-быстро изменился, превратившись в обыкновенного, примелькавшегося Огурцу поденного рабочего, который раз в месяц молчаливо толчется в очереди себе подобных с тем, чтобы получить свою скудную зарплату, жалкие гроши, которых, при образе жизни, подобающем волкам, должно хватать

лишь на портвейн.

— О чем ты? — повторил свой вопрос Огурцов, придав ему более вежливую форму. Так, на всякий случай.

— Понимаешь... Тут приехали... То ли «Казахфильм», то ли «Узбекфильм»...

— Ну знаю. И чего?

— Да там, понимаешь...

Миша Кошмар сорвал длинную травинку и засунул ее кончик себе в рот.

— Понимаешь, администратор ихний...

— Ну? Не пудри мозги.

Огурец уже убедил себя в том, что перемена в лице Кошмара ему привиделась. Но, для того, чтобы убедиться окончательно, он решил нагрубить. Миша никак не отреагировал на мат молодого бригадира и Огурец успокоился окончательно.

— Тут, короче. такое дело, — не обращая внимания на грубость продолжал Миша. — Короче, хочешь бабок заработать?

— Да я понял уже, что бабки можно сделать. Ты скажи — что нужно-то?

— Ну, бабок много, командир...

Снова, теперь уже в голосе Миши, мелькнуло что-то чужое и, в то же время, очень знакомое Огурцову — то ли по книгам, то ли по детективным кинофильмам.

— Много, — веско повторил Кошмар.

— Много — это сколько?

— Пару тысяч.

— Ну ты дал... Что, грабануть нужно кого-то? Так ты не по адресу.

— Ну что ты... За кого ты меня принимаешь? Это, натурально, как на духу, дело чистое... Хочешь?

Огурец молча смотрел на Мишу.

— Ну, я так понял, что ты вписываешься?

— Ты, бля, Миша, запарный человек, все-таки.

— Не, не запарный я... Пойдем, бригадир, я тебя с администратором этим познакомлю...

— Миша, слушай, давай я еще бутылку возьму, треснем и разбежимся. Я вижу, ты сегодня с головой не дружишь...

— Дружу, дружу. Ладно, слушай. Я хотел, чтобы он тебе все сам рассказал... Короче, троллейбус ему нужен.

— Какой троллейбус?

— Ну, здесь, понимаешь, в цехе игрового транспорта троллейбус стоит. Сто лет стоит, еще сто лет простоят...

— А, знаю. Видел. Только он не в цехе, он в чистом поле ржавеет. Гниет, в металлолом его еще собирались отвезти. Все руки не доходят. Большое дело, такую глыбу переть. Трейлер нужен. Себе дорожке выйдет.

— Ну да, ну да, — словно про себя, тихо пробормотал Миша. — Только он на ходу... А что гниет — это пустяки. Не так уж он и сгнил. Я же работал водилой на троллейбусе... Раньше. Поглядели мы с этим ихним начальником. Казахом-узбеком... То, что надо.

— А им-то на кой?

— Для съемок, что значит — на кой? Для съемок, — еще раз повторил Миша глядя в сторону.

— Для съемок — пусть с Костей говорят. С нашим директором. И сами вывозят.

— А они и так сами вывезут.

— Не понял. А мы-то, ты-то, Миша. Тут при чем?

— Короче, тебе бабки нужны-нет? Про этот троллейбус ебанный тут никто и не вспомнит. Они за нал хотят купить и вывезти. По официалке пробовали ебатория такая, что месяц только бумаги оформлять. Теперь врубаешься?

— За налик?

— Ну. Тебе объяснять надо такие вещи... Я думал, ты взрослый парень...

— Ладно, не гони, Миша. Я, все-таки...

— Да ладно. Надо организовать все дело так, чтобы не тормознул никто. Понял? А ты — бригадир, ты можешь. Сообрази, Саша, деньги хорошие.

— Ага. И под срок пойти.

— Какой срок? Приехал «Казахфильм», забрал троллейбус на съемки... Твое дело — сторона. Ты — кто? Такелажник? Вот и погрузил. А больше ничего не знаешь. Чего с тебя взять-то? Тем более, что начальство тебя любит, в обиду не дадут. Да и не будет ничего, если сами волну не погоним — никто и не дернется. Не такие вещи тут делались, на этой студии гребаной, фабрике грез, мать ее етти...

— Так что делать-то надо? — спросил Огурец. Предложение Миши Кошмара вдруг показалось ему реальным и, более того, легко выполнимым. Троллейбус, о котором шла речь, он вспомнил. Металлическое чудовище, разбросав по сторонам свои «рога», как называли их такелажники, когда проходили мимо заросшего травой и кустарником троллейбуса,

металлическое чудовище, казалось,росло в зыбкий грунт поляны Филяла, слилось с пейзажем и, Огурец был уверен, исчезни он, троллейбус, никто этого и не заметит. Знал Огурец и о том, что машина эта списана со всех балансов и нигде, ни в одном цеху, не числится, как принадлежащий этому самому цеху транспорт, оборудование или что-то еще.

Однако, понимал он и то, что у кого-то из начальства на старый троллейбус наверняка имеются свои виды.

Он знал цену разговорам о русской безалаберности и расточительстве. Знал, пообщавшись с начальством, потершись в их кабинетах на частных вечеринках, мини-банкетах и просто посидев в кафе за одним столиком с «небожителями», то есть, с партийным и профсоюзным руководством студии.

На самом деле, фразы о бесхозяйственности и безответственном отношении к средствам производства были пустыми словами. В России, по крайней мере в тех местах, где жил или работал Огурцов, по его наблюдениям ничто и никогда не пропадало даром.

На задних дворах, в полях, огороженных кособокими заборами и в других диких местах, принадлежащих различным предприятиям и организациям, в которых выпало трудиться Огурцову валялось великое множество всяческого добра — от мотков ржавой проволоки и гниющих старых газет до, теперь вот, троллейбуса.

И знал Огурцов, что все эти вещи не просто выброшены на свалку, но что все эти вещи ВЫЛЕЖИВАЮТСЯ, ждут своего часа, что все они уже давно кому-то принадлежат и более того — что все они уже проданы, деньги, полученные за них потрачены, потом весь этот, с первого взгляда, хлам, украден у того, кому продан и продан еще раз, потом еще и еще.

Это была чистая метафизика и чисто российская метафизика — предметы, годами лежащие на месте, выросшие в землю, казалось бы, навечно, на самом деле перемещались, меняли хозяев и даже место, своего пребывания. Они могли числиться одновременно на нескольких складах, иногда даже в разных городах, они покупались и продавались и, при этом, как бы, не существовали.

И всюду, где о них заходила только речь, предметы эти, будучи, фактически, иллюзорными, несуществующими, приносили вполне конкретным людям вполне ощутимый доход. Строились дачи, покупались машины, а груды металлического или какого-нибудь иного лома продолжали валяться там, куда их свалили во время оно.

Огурцову эта механика была известна не досконально, но кое-какое,



пусть и весьма отдаленное представление о ней он имел.

Вследствие собственной осведомленности он сообразил, что кража (а Миша предлагал ему именно кражу, как не переиначивай ее название и какими виньетками не украшай) троллейбуса не закончится публичным расследованием на официальном уровне. То есть, с привлечением милиции, следственных органов и прочая и прочая. Конечно, на этот троллейбус кто-то из руководства виды имеет, это ясно. Вещь просто «вылеживается» до поры, идея зреет. А он, Огурцов, ну, конечно, вкупе с Мишей Кошмаром эту чью-то идею похоронят.

Неприятности могут быть. Могут. Но — не обязательно. Огурцов — он на хорошем счету, он, что называется, «не привлекался», «замечен не был», «доверие оправдывал». А Миша — может быть, все на Мишу свалить.

— Я свалю, — сказал вдруг Миша, заставив Огурцова вздрогнуть. — В смысле, я уезжаю из города. Так что, думай сам. Дело сделаем вместе, деньги поделим... А там уж сам смотри. Я тебе могу сказать, что уезжаю я далеко. Так что — мало ли кто на студии болтается... Бесхозяйственность, усушка-утруска...

«Это он, что же, предлагает на него все свалить?».

— В общем, про меня здесь никто ничего не знает... Я птица перелетная. Понял меня?

— Кажется понял. Ладно... Где этот твой администратор?

\*

Дюк решил перейти на вино. Вообще-то он был крепок на алкоголь, «У тебя высокая толерантность», — говорил ему московский друг Рома Кудрявцев, завистливо покачивая головой. Но сейчас Дюк отчего-то пьянел очень быстро. Может быть, болтовня Огурца путала мысли, но комната вдруг начинала плыть перед глазами, Дюк снимал очки, протирал их, снова водружал на нос, предварительно зажмурившись и глубоко вздохнув — кружение прекращалось и минут пятнадцать Дюк мог общаться спокойно, но потом стены снова приходили в движение.

— Так что же, — прервал он монолог Огурца, который после виски, кажется, вовсе и не опьянел, лишь лицо его покраснелось, глаза заблестели и речь, чуть раньше унылая, монотонная, заиграла интонационными вспышками, неожиданными метафорами и многозначительными паузами. — Так что же спиздили вы троллейбус?

— Ну да. конечно. Я к этому и веду. И знаешь, Леша?..

— Что?

Стены закачались, медленно тронулись вправо. Мебель тоже начала медленно двигаться — пугающе-бесшумно и в разных направлениях.

— Мне стало страшно, Леша.

— Что, копать начали?

— Да ну, ты чего? Никто слова не сказал. Срежь бела дня пригнали кран, трейлер, погрузили эту беду рогатую... Народу сбежалось — жуть. Все мои такелажники, работяги, администраторы, шоферюги из гаража — поглазеть...

— Правильно. Кто придумал?

— Что?

— Ну, чтобы срежь бела дня.

— Я.

— Молодец. Так только и надо в этой стране жить.

— Ага. Я тоже подумал — чем открытее, тем лучше. В общем, толпа народу, все советы дают, майна-вира кричат... Погрузили в трейлер и привет. Последний, прощальный. Укатил наш троллейбус.

— А бабки?

— Бабки выдали нам с Мишей. По полной. Как договаривались.

— А Миша этот твой?

— А Миша, ты знаешь, свалил. В этот же день. Искали его, бегала реквизиторша, скандалила — мол, такой ответственный, такой хороший был работник. А тут — взял и прямо со съемок свинтил.

— Ну, ясно. Больше и не появится твой Миша. Не простой он, видно, мужик. Как ты думаешь?

— Хрен его разберет. Может быть.

— Так а что же страшно-то тебе стало? Из-за чего?

— Ты не поверишь, Леша... Я даже не знаю, как сказать...

Огурцов налил в граненый стакан вина и быстро выпил, сразу проглотив половину, помедлил, и допил в два глотка остаток.

— Смотри, упадешь, — предупредительно заметил Дюк.

— Ну и что? Ну, упаду. Ты же сказал, можно у тебя остаться...

— Можно. А как же приятная застольная беседа? Какой смысл в таком нажиралове? Тупость одна... Извини, конечно.

— Смысл? Ты знаешь, я человек увлекающийся.

— Да уж, — ехидно заметил Дюк.

— Да, увлекающийся. И поэтому я все время хочу... Как бы это сказать...

— Ну-ну, — подбодрил Дюк. — Скажи уж. По старой дружбе.

— Хочу что-то изменить... И с хиппанами я тусовался, я же всерьез все это... Дети-цветы и прочее...

— Ясно. Много кто всерьез это воспринимал. Не ты один. Такие люди, знаешь ли, на это западали — о-го-го!

— Да знаю я... Все всерьез. И я всерьез. Изменить мир хотелось. И хочется, не поверишь, хочется...

— И что же мешает тебе, мой юный друг? — язвительно спросил Дюк. Давай. Меняй.

— Нет, Леша. Я понял...

Огурец уже заметно опьянел. Глаза его блестели и вдруг Полянскому показалось, что его товарищ сейчас заплачет.

— Я понял, — продолжал Огурец, — что ни хера тут не изменишь. Воровство, Леша... Все здесь — воры. Все. И это — норма жизни.

— Сколько тебе лет, Саш? — спросил Дюк очень серьезно.

— Сколько... Двадцать пять. А что?

— А ты, вообще, книги читаешь?

— Ну.

— Ну! И что, для тебя новость, что в России воруют? Воровали? И воровать будут?

— Нет, конечно, не новость, но чтобы так... Я, как троллейбус этот ебанный двинули, словно прозрел. Это же система! Система! Здесь же никакие человеческие законы не действуют. По человеческим, по, мать их еб, государственным законам, они должны были начать следствие, выйти на меня, арестовать, ну, или, хотя бы, просто допросить...

— Так ты, что же, на преступление, — усмехаясь прервал его Дюк, — на преступление, понимаешь, пошел, без алиби всяких, безо всего? Ты, типа, ждал, что тебя арестуют?

— В том-то и дело, Леша... В том-то и дело, что я, как бы это сказать... Подсознательно был уверен, что ни хера не будет. Что никто искать не будет — кто троллейбус украл, кому он нужен... Потому что он уже давно украден. Но когда я это сделал, когда я увидел своими глазами — я охуел просто. Походил там директор транспортного цеха, поковырял пальцем в носу. Вздохнул тяжело и отвалил к себе в кабинет. И ничего. Ниче-го! Врубись!

— Да я уже давно врубился. Не фиг тут делать, в этой России.

— Да?

— Да. Потому что синдром ЗРД меня достал.

— Что тебя достало?

— Синдром ЗРД. Загадочной Русской Души.

— Ха... И что же ты хочешь сказать?

— А ты не понимаешь? Синдром Загадочной Русской Души — это значит, что ее, Души, носитель может с невинными глазами украсть, украсть все, что угодно. Вот, кстати, эта народная мудрость, все эти поговорочки, присказки это же мрак полнейший. Берет, мол, все, что плохо лежит. Ничего подбного! У меня в доме все очень хорошо лежит. Все на своих местах лежит. Позавчера гости были — у меня пластинка Боуви «Station to Station» очень хорошо лежала на колонке. Замечательно лежала, можно сказать! И что же? Сперли!

Полянский быстро выпил полстакана портвейна.

— Берут, скоты, только то, что хорошо лежит. Плохо что лежит? Человек в приступе белой горячки. Так кому он, нужен, спрашивается? Никому. Никто его не берет. Даже «Скорая». Если не замаксаешь.

— Ну, уж, ладно, «Скорая»-то увозит...

— Ага. Прямым в дурку.

— А куда еще?

Полянский пожевал губами.

— Ну, допустим. Пример неудачный. «Скорая», положим, увозит. Но, кроме «Скорой» — кому нужен человек в белой горячке? Который «плохо лежит»? Никому. А, вот, если хорошо что лежит, не важно — вещь ли, человек ли — к примеру, хорошо упакованный мужчина... Который не в белой горячке, а, наоборот, в белых «Жигулях». Обязательно притырят. Любая баба — за член возьмет и уведет. Обязательно! И вот это вечное ихнее «плохо»!

Дюк протянул руку над столом и сшиб открытую бутылку вина. Бутылка, оставляя на столешнице вонючий сладкий след тяжело покатилась и упала на пол, однако, не разбилась, а, глухо булькнув, продолжила движение в сторону отсека «для спанья». Урча и издавая звуки уже чем-то напоминающие человеческую речь к бутылке бросился кот.

— Пусть его, — Полянский остановил Огурца, занесшего, было, ногу для удара. — Пусть покуражится, сука. Тоже ведь, тварь божья... Портвешку свеженького полакать — это же милое дело... Так вот. О чем, бишь, я?

— О том, что все плохо.

— Не-е. Все хорошо. Это у них, у ЗРД-шников все плохо. Спроси американца — «Как дела»? Он тебе скажет — «I'm fine». А наш? Начнет сразу на жизнь жаловаться — то не так, это не так, да и, под конец, обязательно ввернет, что денег нет. На всякий случай. Чтобы, упаси

Господь, в долг не попросили дать.

Полянский смахнул рукой, как смахивают вредное насекомое, кота, который мягко вспрыгнул на стол и, пошатываясь, задевая тощим телом за тарелки, роняя вилки и ножи, направился к бутылке водки, которую только что открыл Огурцов.

— Вот обнаглел, — заметил Полянский, глядя на обиженно съездившегося кота, который не зашипел, не мяукнул даже, а просто скорбно свернулся клубком в безопасном отдалении и уставился на хозяина взглядом, исполненным немой мольбы.

— В общем, не люблю я все это, — закончил Дюк, отвернувшись от кота и протягивая руку к бутылке. — Не люблю. А ты не печалься, Огурец. У тебя это первый опыт, ну, я имею в виду, в глобальном масштабе — первый?

— Первый, — соврал Огурцов. Не рассказывать же Полянскому о приписках и заигрывании с партийным руководством. Не поймет старший товарищ. Вернее, неправильно поймет. А, может быть, как раз — правильно. И пошлет к чертовой матери. Не любит Дюк этого, терпеть не может.

— Первый, — повторил Огурец для пущей убедительности.

— Вот и славно. Стыдно тебе?

Полянский смачно откусил от куска хлеба, обильно намазанного икрой.

«Всю икру сожрал, проглот», — подумал Огурец и ответил:

— Стыдно.

Полянский проглотил остатки бутерброда и, взяв последний кусок сочащейся соком буженины, удовлетворенно кивнул:

— Это хорошо, что стыдно. Больше так не делай.

— Не буду, — ответил Огурец печально глядя надвигающиеся челюсти хозяина гостеприимного дома.

— Наливай тогда.

В дверь постучали. Дюк быстро накрыл небольшую кучку марихуаны, лежащую на столе конвертом от пластинки Битлз «Help».

— Кого еще черт несет? — пробормотал он, опасливо поглядев на Огурцова. Тот пожал плечами.

— Можно к вам, Леша? — девичий голос за дверью был робок и не знаком Огурцову. Зато Полянский изменился в лице, заблестел глазами, быстро провел рукой по волосам, и проскрипел похотливо:

— Можно.

Колыхнулась портьера и в комнате, как показалось Огурцову, погас

свет. Потом, через долю секунды, он включился снова. Между чучелом медведя последним приобретением Дюка и манекеном, одетым в пионерскую форму — синие шортики, белая рубашечка, красный галстук под пластмассовым подбородком стояла она.

— Заходи, Машунчик, не стесняйся, — таким же скрипучим, незнакомым Огурцову голосом продолжал Дюк. — присаживайся.

— Здравствуй, Алеша, — чудо, появившееся в комнате кивнуло хозяину. Потом чудо посмотрело на Огурцова, улыбнулось и сказала:

— Меня зовут Маша.

\*

Дура деревенская.

Поручик Огурцов вытер пот со лба. Пустое. Можно и не вытирать. Все равно — через секунду снова потечет.

Дура. Да ладно — она. Ладно. Она же ни черта не понимает. Я-то, я-то я — скотина первейшая.

Осень. Осень на Кавказе — отвратительно теплая, долгая осень. Утром в долинах, в ущельях — туман. Удивительно холодный — казалось бы, молоком парным, теплым, вкусным должен на губах пениться. Ан — нет. Вкусом кизяка рот связывает, сыром этим их, адыгейским рот забивает.

Сыр. Французские сыры — со слезой. Петербург. Что бы я отдал сейчас за кусочек французского сыра? Все. Точно — все. Чтобы я отдал сейчас за то, чтобы нырнуть (с кусочком, маленьким, на один зуб) французского сыра во рту в шум гостиной Шереметьевых, за то, чтобы услышать, как настраиваются инструменты оркестра на балконе, нырнуть в запах — услышу ли я когда-нибудь еще этот запах — запах мастики, запах духов, запах настоящей жизни?

Здесь все не настоящее. Или — настоящее, только другое. Нам здесь делать нечего. Мы будем стрелять по лесам еще сто лет и ничего не изменится. «Зеленка» пройдет, наступит зима, эти, в которых мы стреляем, уйдут в горы. А потом все вернется на круги своя. Снова «зеленка», снова пули снайперов.

Из чего только они не стреляют! «Стингеры», «Мухи». И — ветхозаветный «Борхардт». От таких пистолетов на Западе любой коллекционер обкончается. А этим — им плевать на коллекционеров. И на Запад. Стреляет — и ладно.

Вчера зачистка была — вот тебе и «Борхардт». Пацан сидел в доме —

ни папы, ни мамы рядом не было — ясное дело, заныкались где-то. А пацан только Огурцов в дом влетел, сразу стволом допотопного «Борхардта» на него посмотрел. Выстрелить не успел. Разоружили «бандита», дали подзатыльник. Другое искали. Искали и нашли. И «АКМ»-ы нашли, и «ТТ»-шки, гранаты нашли и даже «Муха» сыскалась. Богатый дом был, ничего не скажешь.

А «Борхардт» Огурцов только в руках покрутить успел — майор отнял. Тоже, поди, коллекционер.

Дура деревенская. Машенька. Ну и что? Машенька. Подумаешь... И из-за этой клуши стоило биться? Стояли они друг напротив друга — Огурцов и капитан этот. Шинель на землю кинул капитан — барьер обозначил. Секунданты — все честь по чести.

Надо же было настолько ничего не соображать, чтобы из-за этой деревенской клуши, из-за этой дуэли долбаной в таком дерьме оказаться? Да сто раз можно простить — и перчатку в лицо и даже пощечину — какая дичь пощечина. Ну, перетерпел, утерся и поехал в театр. Послушал «Князя Игоря», выпил водочки...

Дуэль. Смех один. И не убил он капитана этого, промахнулся. А капитан и вовсе в воздух пальнул. И, на тебе — трибунал, рейс до Ростова, а потом сразу сюда — вот тебе курорт, батенька, Гудермес называется. А капитан — в Грозном. Жив ли? Бог его знает. Такая, вот, дуэль. Со счастливым исходом.

Скотина первейшая. Что же я наворотил, что же я с собой сделал? Поздно. Не стоит и думать об этом. И о Петербурге, и о дуэли — проехали. Идти нужно.

А куда идти? Куда идешь ты поручик Огурцов? Камо грядеши? Кто виноват? Что делать?

Что делать? Выживать. Как? Никто здесь этого не знает. Дело случая. Выживать — и все. Можно прижаться к пятнистой броне БТРа. А можно и не прижиматься. Можно пулю словить вот так — идучи по скалам. А можно и на БТРе на фугас попасть — никто здесь не застрахован. На то и война. Ноу секьюрити, май фрэнд.

Никто твой покой охранять не будет — никакие парни в черных пиджаках с рациями в карманах, как на петербургских балах — здесь ты сам себе охрана. И не только себе. Говорят, что всей России. Кто это говорит? Тоже, в черных пиджаках. Только на секьюрити не похожи. Толстые все, отъезые. «Россию», говорят, спасем. И каждый, ведь, знает — как. И все у них так просто. Один говорит — за год, другой, посерьезней лицом — за три. Вот и иду, поручик Огурцов, двадцать три года, из

хорошей семьи, холост, прописан, не выезжал, не был, не привлекался...

Два опасных места уже миновали. На последнем на прошлой неделе казаков постреляли. Все как водится. А через несколько дней головы возле штаба нашли. Выставили на обочине, сволочи.

War is over. Война окончена.

Какое, на хрен, она окончена. Здесь она перманентна. Здесь просто иначе не бывает.

Генерал Ермолов тут давеча приезжал. Поздравлял с окончанием военных действий. Осталось, мол, ерунда. Зачистки. А там и заживем славно.

Вот за этим леском поселок. Считаю, пришли. Маленький поселок — десяток домишек. Иди поручик Огурцов, зачищай сотоварищи.

А в Петербурге сегодня праздник. День независимости, шутка сказать. Балы, приемы.

Тут довелось туда позвонить. Говорят, Стинг приезжает. В Павловске в вокзале играть будет. Вроде по приглашению великого князя приезжает, Владимира Владимировича Вавилова.

Ну что, входим в лесок. Ребята только что вернулись, вроде чисто.

Да и лесок-то — одно название. Три с половиной дерева.

Грохнуло справа, со скал. Упал. Слева — автоматная трескотня. Где же они там прятались, в этом леске. Три с половиной ведь дерева. Вот ведь, мать его так!

Подкатился сержант, укрылся за валуном. Начал бить короткими по скалам.

— Вон там, они, в расщелине, — прохрипел он Огурцову. — Ах, бляди!

Огурцов лихорадочно соображал. Вон там, хорошее место. Сменить позицию и...

— Куда, поручик?! — заорал сержант, когда Огурцов резко вскочил на ноги и, пригибаясь, бросился к намеченной им позиции.

Всего-то метров семь.

Сержант Михалков, в прошлом и сам был неплохим брейк-дансером. Поэтому он невольно оценил изящество и законченность «волны», которая прошла по телу поручика Огурцова — от колен к шее, с широкой амплитудой.

Несколько лет назад брейк победно прошествовал по салонам обеих столиц. А теперь вот и до здешних мест добрался. В другой только ипостаси.

Сержант Михалков вставил запасной рожок.



## Глава 3. Волшебный мажор

*Я всегда опасался писать о нем. И не только потому, что в теме есть привкус вульгарности.*

*Э. Радзинский. «Распутин»*

Опаздывать на работу было для Лео делом принципа. Но — только утром, в первую смену. Необходимость раннего пробуждения любящий вволю поспать Лео рассматривал, как вопиюще наглое покушение на собственную свободу. Нестись во весь опор, давясь в переполненном транспорте и потея, лишь для того, чтобы пересечь проходную до того, как стрелка на циферблате успеет пересечь некую абстрактную отметку? Маразм! Бред!

Однако опаздывать следовало с умом. Прошедший науку опаздывания от «а» до «я» Лео твердо знал: опаздывать следует цинично. Дурак тот, кто пытается пересечь проходную через пять минут, после начала рабочего дня, помеченного цветной полосой в пропуске: зеленой, красной или желтой. Зеленая полоса сулила свободу — ходи, когда хочешь. У самого Лео «аусвайс» пересекала желтая полоса: рабочий день с восьми до пяти. А красная полоса была в пропусках у рабочих — они вставали к станкам с семи.

Впрочем, хрена лысого они вставали. Разве что трое-четверо передовиков да старперы. Все остальные начинали день с обстоятельного часового перекура.

Для себя Лео сам определил момент прохождения вертушки: восемь часов двадцать минут. И неукоснительно придерживался этого правила.

Система способна пересилить все, что угодно. И — несколько хитрых приемчиков. Преисполнись ненавистью к миру, в котором ты живешь. Наколи в себе лютую злобу, пока невыспавшийся стоишь зажатый в неспешно ползущем автобусе среди таких же, как ты, осатаневших бедолаг. Наколи в себе эту злобу, собери всю грязь этого бездарного мира, а потом, на последнем участке, на тех двухстах метрах, что отделяют остановку от проходной, начни выпускать это из себя. И, как писал советский классик: «злой Ча не заметит тебя».

Этому приему научил Лео один олдовый из Москвы, который с месяц тусовался в «Сайгоне». Звали олдового Джоном, несколько дней он

вписывался у Лео, пока предки не начали возбужать.

Ох, о многом они за те несколько дней с Джоном переговори́ли. Несмотря на то, что разница в возрасте у них была целых семь лет, оловый говорил с Лео на равных. О своих странствиях рассказывал, о Боге много говорил.

Лео он таким и запомнился: русая бородка, глуховатый тихий голос. Очень голубые внимательные глаза.

А потом вдруг Джон исчез. Как сквозь землю провалился. Может, с травкой его прихватили — водилась у Джона «травка», — а может просто ушел по трассе.

Так или иначе, но на проходной к Лео никогда никто не цеплялся. Даже несмотря на хайр. Привыкли.

Вообще-то на все надо смотреть диалектически. Сгущение ян всегда рождает инь. И наоборот.

Завод, на котором ныне трудился Лео, был режимным. «Ящиком». В первый день Лео неприятно резанул глаза угрюмый бетонный забор, огораживающий территорию завода, с колючей проволокой по верху. И проходная, пожирающая утром толпы зачуханных людей, а к вечеру выплевывающая их такими же зачуханными.

А потом, через месяц-другой, пришло понимание. Все эти заборы. колючки — все это — просто майя. Хрень собачая, которой совок отгораживается сам от себя. Потому что все эти колюче-бетонные страшилки, все эти режимные бойницы-амбразуры обращены вовне. А внутри ты сам себе хозяин. Хоть на голове ходи. И вся эта режимная лабуда будет тебя от внешнего мира оберегать. Потому что «ящику» — порождению совка, этот самый совок нужен от сих до сих. И не более.

Это все фигня насчет развитого социализма. Лукич со своей якобы проницательностью облажался по самое «не могу». А вот Усатый — нет. Взял и построил индустриальный феодализм. А на Маркса он клал.

Нет никакого поступательного движения, никакого прогресса. Все по кругу ходит. Гуны крутятся в гунах, как в Упанишадах сказано.

Вот взять, к примеру, этот «ящик». Все как в Средние века. Есть большой феодал — директор. Он сюзерен. Есть вассалы — начальники цехов. Одни покрупнее, другие поменьше. Все построено на натуральном обмене: ты мне, я тебе. Сверху спускают барщину-план.

И — основа основ. Тот самый пресловутый принцип. «Вассал моего вассала — не мой вассал».

Обо всем об этом Лео вчера толковал с Маркизой-Херонкой. Допоздна бродили по городу и говорили, говорили.

Знакомы они с Херонкой были несколько лет. Ну что значит знакомы. Так привычное лицо в «Сайгоне». А потом как-то раз разговорились. Интересными друг другу оказались.

Тощая, как цапля, Маркиза-Херонка была кадром причудливым. Тусовалась в «Сайгоне», тусовалась в рок-клубе, еще Бог весть где. Знала в городе всех и вся. При этом было в ней нечто, резко отличающее от множества других системных герлиц. Потому что Маркиза не была системной. У нее была цель. Херонка хотела стать актрисой. Великой Актрисой Нового Экспериментального Театра.

Вот и вчера разговор крутился вокруг да около театра: Брехт, Арто, способы выражения. Потом Херонка вдруг перескочила на тему предопределения. Легко, перскачила, непринужденно, как у нее всегда бывает. Они с Лео брели вдаль Фонтанки, покуривая и неспешно беседуя. Потом Херонка вдруг вспрыгнула на парапет и пошла, балансируя.

— Руку дай, упадешь, — сказал тогда Лео.

— Не бойся. На тротуар падать невысоко, а в воду... Там же мелко, не утону. Максимум увязну. И ты сможешь меня спасти... Слушай, Лео, а ты в судьбу веришь.

— В смысле.

— Ну, в предопределение.

— Наверное.

Лео всегда ставила в тупик манера Херонки внезапно перескакивать с темы на тему. Моментом живет герла. Шла по набережной — об одном говорила. Вскочила на парапет — и тема другая.

— А я верю. — Херонка шла с закрытыми глазами. — Ты знаешь, а мне пару лет назад судьбу нагадали.

— Цыганка, что ли?

— Не хрена. Мажор!

— Кто-о?!

— Мажор, — убежденно повторила Херонка. — Только он спятивший был.

— Это как? — изумился Лео.

— А вот так. Представляешь, подваливает ко мне в «Сайгоне» мэн. Крутой такой мэн, весь в «фирму» упакованный. Мажор мажором. И с хайром вот такущим. Он у него в «хвост» забран был. И — ко мне. Мол, без денег, на мели сижу. А у самого глаза так вокруг и шарятся. Ну ладно, думаю, хрен с тобой, родной. Чуваков знакомых увидела, рублем разжилась. У самой-то, понимаешь, шаром покати. Короче, напоила мужика кофейком.

— А дальше? — спросил Лео. Они с Херонкой шли мимо завода шампанских вин. Проходная, увитая виноградом.

— Дальше-то. Пошли, говорю, покурим. Ну, значит, выходим. Тут мен, в карманах порылся, пачку вытаскивает. Блин, штатовские сигареты, я таких и не видела не разу. Забыла, как называется, красная такая пачка.

— «Мальборо» что ли?

— Какое к черту «Мальборо». Там что-то покруче было. Кондовое «штатовское». Я, значит, закуриваю и — мама моя! — такой горлодер. А мен скалится. Довольный падла... Вообще-то он хороший мужик был, если вдуматься. Не халявщик. У него на шее фенька болталась, классная такая феня. С оскаленной рожей. Я к ней сразу прикололась. А мен, мажор этот, сходу — тут как тут — на мол, твоя. Только кофе налей. И что ты думаешь? Снимает он с себя феню эту и на меня надевает. Отпад, да?

— Может стукач был?

— Нет! — отрезала Херонка. И, помолчав: — Я ведь тоже сперва подумала: стукач. А потом гляжу — нет. Он напряженный был жутко, все озирался. Будто боялся, что пасут его. И глаза.

— Что глаза?

— Понимаешь, я не знаю, как это выразить. Я ведь актриса, сразу это почувствовала. У него больные глаза были.

— Гноились что ли?

— Да нет. Вечно ты все опошлишь. Там боль была, у мена этого в глазах... Слушай, а может он смертельно болен был... А ведь точно! «Три товарища» помнишь? Мы спектакль по нему делали... Точно! Он смертельно болен был, оттого у него такие глаза и были.

— Слушай, Херонка, хорош фантазировать. Мало что ли в «Сайгоне» спятивших?

— До фига! — согласилась Херонка. — Только этот мажор не спятивший был... А хоть бы и спятивший. какая разница. Знаешь, Лео, я читала где-то: юродивые — они на самом деле очень мудрые. К ним через ихнее юродство мудрость прет. И этот мажор — он таким же был. Сперва по имени меня назвал. А я ведь в первый раз его видела. А потом...

— Что «потом»? — Лео ощутил внезапный острый интерес к этой мутной повести.

— Потом-то? — Маркиза выдержала паузу. — Потом, Лео, вообще фантастика началась. Стоим мы, курим, и тут вдруг мен мне и говорит: будет у тебя крутой муж. А звать его будут — ты только не падай! Вавилов его будет фамилия, вот так! И только мен это промолвил, как — бабах! — над нами в проводах троллейбусных короткое замыкание. Я так и

прибалдела. Ни хрена думаю! А мажор потоптался еще с минутку и прочь пошел. Он умирать пошел, Лео, я теперь это знаю! Я ему на прощание десять копеек дала.

Кому-то жизнь — карамелька, думал Царев, размашистым уверенным шагом двигаясь от «Сайгона» к Московскому вокзалу.

Он не грустил. Грусть — это обычное человеческое чувство, это нормальное состояние, которое приходит, уходит, снова возвращается и, в конце концов, к нему привыкаешь. Грусть можно залить водкой — совсем немного, бывает, нужно — грамм сто, если в хорошей компании. А в плохой допустим, триста. И уходит грусть, исчезает, как и не было.

Можно ее, матушку, работой заглушить. Загрузить себя под завязку, сидеть в офисе до ночи и сверять цифры, или, ежели не в офисе, то на стройплощадке какой во вторую смену вписаться, или двор мести вместо двух раз в сутки четыре, да лестницы помыть — это уж кто на что горазд. С грустью справиться, короче говоря — русскому человеку проще пареной репы. Тут не грусть, тут другое.

Он не думал даже о том, за что его так подставил Грек. В том, что операцию по уничтожению неугодного сотрудника провел именно он, Царев не сомневался ни секунды. Не был бы он Греком, если бы поступил по-другому.

Сначала Царев не понимал, для чего было нужно Георгию Георгиевичу затевать всю эту историю — он ведь, Царев, отвалил от его бизнеса еще больше года назад. По-хорошему отвалил, хвостов, так называемых, за собой не оставил. Долгов — и подавно. Это нужно идиотом быть, чтобы таких людей как Грек в кредиторах у себя держать.

Грек даже посоветовал ему тогда недвижимостью заняться, и людей нужных показал, и бухгалтера присоветовал. Женщина вполне с виду приличная, Надежда Петровна, полненькая, пожилая, скромненький такой хомячок в пуховом платочке который она даже летом не снимала с покатых своих плеч.

Дело пошло, ух, как пошло. Дело-то новое было, неосвоенное. Конкурентов не было, практически. Коммуналок как грязи — расселяй — не хочу.

«Хочу», — говорил Царев.

Расселяли.

Квартир столько в городе пустующих — люди за кордон валят — покупай не хочу.

«Хочу», — говорил Царев.

Покупали.

Потом, натурально, продавали. Новым, этим, как они о себе говорили, русским.

Дочерние предприятия стали образовываться. Ремонтные конторы. Новые, эти самые, русские, они же ни в качестве квартир, ни в качестве ремонта ни черта не понимали. Грек — он гением был. Настоящим. На пяти языках говорил. Хотя и инженер по специальности.

Именно он и выдумал этот неологизм — «евроремонт». И всех сразу одним этим словом купил.

«Euro-repair». Ремонт Европы. Если с английского. Почти план Маршалла. А если с французского «Euro-remonte» — восстановление Европы из руин.

Хотя, может быть, и есть в этом сермяжная правда. И восстановление прогнивших коммунальных квартир, и наведение порядка в городском хозяйстве и даже смутные прогнозы на введение единой европейской валюты с ее неизбежными спадами и подъемами в борьбе с юрким, словно ящерица и таким же зеленым долларом.

Но Грек-то сообразил. Выдумал новое слово. И как покупались на него сказка просто. Белые стены, черная мебель. Качество никого не волновало. Стояки не меняли, красили, замазывали, панелями закрывали. Потолки подвесные — это отдельная песня. Пенопласт в дело шел, облагороженный, правда, подкрашенный, подрубленный... Но — случись пожар — даже думать не хочется.

Не хотелось.

Никто об этом тогда не думал. О количестве ядовитой заразы, которую пенопласт этот вкачает в квартиру, случись что — кому до этого дело было. Белые стены, черная мебель. Денег срубили на этом за год — каждый вечер Царев со старым другом Ихтиандром либо в «Астории», либо в «Прибалтийской», либо просто дома у Царева — тоже неплохо квартирку отделал, благодаря дочерним предприятиям. Сходили бы и в «Европу», да, как на грех, ремонт там случился. Хоть и не очень хорошо сделали, но шведы с финнами про «евроремонт» ведать не ведали, и сделали по старинке — «ремонт пятизвездочного отеля». Как деды-прадеды завещали, ја. Чтобы, допустим, герр Шаляпин приехал — и доволен остался.

Новые-то эти приходили в свои евроквартиры, проверяли стены. Тест у них специальный для «евроремонта» был. Три выстрела из волыны — либо вся штукатурка сразу на головы падает, либо три аккуратных дырочки остаются после обстрела. Если вся — каюк продавцу. Штукатуры никого не интересовали. Если три дырочки — вот тебе, братан, денег на шпатлевку, вот тебе за моральный ущерб, а квартиру берем, какой базар. Просто

просится такая квартирка...

Нервная работа, конечно, но Царев воспитан был на фарцовочной беготне, нервы у Царева были крепкие, он понимал, что вышел на другой уровень «жувачки — пурукумми-йе», джинсы, видаки, потом — машины битые, подновленные, теперь, вот, квартирки... Ничего, выдержим. Прорвемся.

Впереди маячили совсем уже головокружительные перспективы — «цветмет». Знакомые, которые этим делом занимались давно говорили Цареву — бери «цветмет», золотое дно. Действительно, золотое дно.

По всей России необъятной этот «цветмет» висел, лежал, стоял, в проводах отрубленных от электростанций линий электропередач, таился в земле в виде кабельных месторождений, прыщами вскакивал в виде бюстов, бюстиков, головогрудей унесенных ветром перемен вождей, лидеров, секретарей, пионеров, пионерок, решеток, собачек, доярок, девушек с веслами, с косами, с флагами. Мужчин дорогостоящих также было немало — с пионерками, с решетками, с собачками, с веслами, с косами, с флагами — и без.

Про то, что на заводах творилось — даже думать не хотелось. Сразу слюни течь начинали. Заводы — особая статья. Царев с детства любил читать книжки братьев Стругацких. Особенно любил «Пикник на обочине». Понимал, что при каждом заводе свой Сталкер имеется. Соваться туда не стоит. Каждый завод это Зона, через которую только местный Сталкер может провести. На самом деле хватит и девушек с веслами, головогрудей, бюстов и прочих металлических кунштюков.

Времени не хватало. Квартиры, ремонты, вечеринки с Ихтиандром не позволяли Цареву заняться конфискацией головогрудей с их последующей переплавкой их в твердо конвертируемую валюту.

Грек уже исчез с горизонта, дело шло, Царев иногда вспоминал Георгия Георгиевич добрым словом — вообще, он стал добрым, еще бы — с такими деньгами и злиться — странно даже как-то было бы.

Ихтиандр, хотя и продолжал с Греком работать, завидовал Цареву. Говорил — «Таких бабок, брателло, я даже во сне не нюхал. Ну ты и раскрутился...».

А Надежда Петровна вдруг взяла, да и исчезла в одночасье.

Растворилась. Да, ладно бы, она одна. А то — с печатью предприятия, с документами, с тройной бухгалтерией. Со столами письменными, с компьютерами-факсами-принтерами, с сейфом, со всем штатом девочек-секретарш, с мальчиками-менеджерами. Сгинули все.

Царев пришел в родной офис и не увидел офиса. Сначала подумал, что

это похмельные штучки. Ну, ладно...

Закрыв глаза, снова открыл.

Вчера еще здесь был офис. Была железная дверь, глазок в ней маленький, сверкающий, подозрительно смотрящий на каждого, кто к двери приблизится.

А теперь — зияющая дыра вместо двери, за ней — пустые комнаты, на полу — клочки оберточной бумаги, веревочки какие-то, оборванные телефонные поводки — и, как насмешка, табличка на одно из дверей — «Генеральный директор А.А.Царев».

Вот тогда-то он все и понял. Понял, что грустить не стоит. Чего грустить, если лично на нем, на этой самой «черной», мать ее, бухгалтерии, которая, во всех случаях через его подпись проходила, на всех его личных обязательствах перед новыми, теми, которые из пушек по стенам стреляют, чтобы качество штукатурки проверить — на нем висит (он быстро прикинул) — не меньше, чем пол-лимона зеленых.

Все ясно. Никто ему ночью не позвонил, никто даже не подмигнул вчера, когда он с работы пораньше ушел. Выпить уж очень хотелось. И дело шло... Само катилось, как по рельсам.

Вот и уехало. Вместе с охранниками — Гришей, Васей и Борисом, вместе с девочками-секретаршами, которых он любил иногда у себя в кабинете, как ему по званию положено, вместе с бухгалтером — серой мышкой, Греком к нему приставленной — все уехало — ту-ту!..

Убьют теперь. Ну, ясно, убьют. Так чего горевать? Все равно — от этих ребят не убежишь.

Сайгон.

Старые времена. Васька Леков — сколько вместе портвейна выпито, сколько раз он на его концертах квартирных, подпольных сидел. Правда, Васька — сука, его на Грека и вывел, сам того не желая... Да что теперь? Какая разница.

На дачу нужно ехать. Воздухом подышать. Посидеть на приступочке, не думая ни о чем, выкурить беломорорину-другую... Соседке — Верке подмигнуть, покалякать с ней...

Прошел по Рубинштейна, вышел на Невский.

Пересек Владимирский — как реку переплыл.

Вошел в знакомую дверь — сразу, не колеблясь.

И тотчас Сашу Царева обступил желтоватый тусклый свет, неясное мелькание лиц, краснеющие над стойкой автоматы-кофеварки. И запах.

Говорят, именно запахи острее всего будят в человеке воспоминания.

Будят — не то слово. Слишком слабое. Все шесть — или сколько их



там у человека — чувств воспряли разом, пробужденные этим густым духом, почти вонью, пережаренного кофе «плантейшн». И еще примешивался неуловимый и не воспроизводимый потом нигде запах, застрявший в волосах и свитерах собравшихся. Сладковатый — анаши, кисловатый — старого пота.

И все это был «Сайгон».

Царев был дома. Среди своих.

И мгновенно окунулся в атмосферу полной свободы духа, ради которой, собственно, и ездил сюда все годы.

Вынырнул Витя-Колесо, вычленив Царева взглядом. Заговорил утробно-трепещущим голосом:

— С-с-слушай, м-мужик... д-д-д...д-добавь на коф...фе. Н-не хватает...

Царев развел руками.

— Нету у меня. Самому бы кто добавил.

Витя понимающе закивал и куда-то унырнул.

Блин, неужели действительно так и не выпьет здесь кофе? Ведь это — в последний раз! В самый последний! В пост-последний!

Кругом тусовались. Аборигенов в толпе было немного — процентов десять от силы. Дремучие хиппи. Остальные в «Сайгоне» были посетители. Гости. Так называемые «приличные люди», интеллигентские мальчики и девочки, которым почему-то вольно дышалось только здесь. И совсем уже спившиеся персонажи. Но случайных людей здесь не водилось. Или почти не водилось.

Полутемные зеркала в торце зала отражали собравшихся, умножая их число вдвое. До какого-то года этих зеркал на было. на их месте находились ниши, где тоже сидели. Потом «Сайгон» на какое-то время закрывали. Делали косметический ремонт. Этот ремонт воспринимался городом очень болезненно. Видели в нем происки партии и правительства в лице близлежащего райкома. Знали бы, что их ждет через несколько лет! Но они не знают. Их счастье.

Одно время после косметического ремонта в «Сайгоне» не было кофе. Якобы в городе дефицит этого продукта. Якобы кофеварки сломались. Или еще что-то малоубедительное. Предлагали чай.

Брали семерной чай — издевательски. Мол, пожалуйста, чашку кипятку и семь пакетиков заварки. Спасибо.

С этим пытались бороться, наливая прохладную воду, чтобы чай хуже заваривался. Чайная эпопея продержалась не более месяца, хотя оставила болезненную зарубку в памяти. Потом то ли сдались, то ли смилостивились

вернули в «Сайгон» кофе.

После того достопамятного косметического ремонта и появились зеркала...

Кругом велись длинные мутные разговоры, безнадежно затуманивая и без того не отягощенные ясностью мозги. Рядом с Царевым кто-то пытался выяснить у кого-то судьбу какой-то Кэт. В беседу вступило еще несколько пиплов. Нить разговора была потеряна почти мгновенно. Даже Цареву, которому сейчас наплевать было на всех этих Кэт, через три минуты стало очевидно, что пиплы имеют в виду по крайней мере четырех девиц по имени Кэт. Судьбы и похождения этих Кэт в разговоре причудливо переплелись. Так, Кэт из Ухты однозначно не могла совершать подвиги, явно позаимствованные из биографии той Кэт, что тусовалась в Москве и была обрита наголо в КПЗ, причем злобные менты сперва поджигали ей хайр зажигалками, а потом уже брили электробритвой. Так и не разобравшись, о какой из Кэт, собственно, речь, пиплы плавно перетекли на совершенно иную тему.

Кругом звучали неспешные диалоги:

— Слушай, ты откуда?

— Из Лиепай.

— А... Ты знаешь Серегу... Боба?

— А как он выглядит?

— Волосы светлые, борода жиденькая такая... Он из Киева.

— А... Знаю конечно.

— Он опять в психушке.

— А... Слушай, ты знаешь Томми из Краснодара?

— А как он выглядит?

...Крошечная, очень беременная девица в феньках до локтей бойко поела чахлый бутерброд и не без иронии рассказывала о потугах Фрэнка создать рок-группу. Мол, она уже перевела для него с английского очень классные тексты. И усилитель купили. На шкафу лежит, большой, как слон...

...И словно въяве видел Царев эту комнату, где стоит этот шкаф, какую-то нору в коммуналке где-нибудь на Загородном или Рубинштейна, эти голые стены в засаленных обоях, исписанные по-русски и по-английски, но больше по-английски, эту вечно голодную тощую кошку, грязноватый матрас на полу вместо постели... И полное отсутствие какой-либо жизни. Принципиальная и исчерпывающая нежизнеспособность.

... «Ой, пойдем, пойдем, пока вон тот человек к нам не привязался. Вон тот, видишь? Я его... побаиваюсь. Знаешь, он недавно решил, что он

— Иисус Христос. Пришел в церковь во время службы и говорит: спокойно, мол, батюшка, все в порядке — Я пришел...»

— А тебя как зовут?

— Дима... А в последнее время... (застенчивая улыбка)...стали звать Тимом...

По соседству беседовали об ином. Человек, обличьем дикий и удивительно похожий на древнего германского варвара, захлебываясь слюной и словами, талдычил, что вообще-то он собирается на Тибет. Через Киргизию. Сразу нашел трех попутчиков. Причем один из них на Тибете уже был...

— ...Слушай, пойдем домой. Мне что-то холодно.

— Чего тебе холодно?

— Да я джинсы постирал и сразу надел.

— А зачем ты их постирал?..

— ...Имя Господа Моего славить дай мне голос!

— Это ты сочинил?..

— Эй, чувачок!

Царев, завороченно слушавший эту дикую симфонию, не сразу сообразил, что обращаются к нему.

— Эй!

Его легонько дернули за рукав. Он обернулся. Перед ним стояла тощая девица с лихорадочно блестящими глазами. Голенастая. В вылинявших джинсах и необъятном свитере неопределенного оттенка. У нее были длинные светлые секущиеся волосы.

И тут он ее узнал.

— Маркиза?

Она замешкалась. Опустила руку. Склонила голову набок, прищурилась.

— Вообще-то меня Херонка зовут, — резковато проговорила она. — Слушай, а откуда я тебя знаю? — И уже деловито осведомилась: — Слушай, ты Джулиана знаешь?

Царев покачал головой. Это ни в малейшей степени не обескуражило Маркизу-Херонку.

— Может, ты Джона знаешь? Только не того, что в Москве, а нашего. С Загородного. Ну, у него еще Шэннон гитару брал, правда, плохую, за шестнадцать рублей, и струны на ней ножницами обрезал по пьяни. Не знаешь Джона?

Царев понимал, что может сейчас запросто сознаться в знакомстве с Джоном и наврать про этого Джона с три короба, и все это вранье будет

проглочено, переварено и усвоено Великой Аморфной Массой «Сайгона», все это разойдется по бесконечным тусовкам и сделается частью Великой Легенды, и припишется множеству Джонов, умножая их бессмысленную славу.

Однако Цареву не хотелось ничего врать Маркизе. Не знал он никакого Джона. И Шэннона не знал. И Джулиана — тоже.

— А Ваську знаешь?

— Это который Леков? — сказал Царев. — Знаю. — Ему вдруг сделалось грустно.

— Во! — ужасно обрадовалась Маркиза. — Слушай, а ты «Кобелиную любовь» слышал?

— Нет... Слушай, мать. Угости кофейком.

Маркиза нахмурилась.

— Идем.

И деловито протолкалась к одному из столиков. Приткнула Царева.

Ушла. Вернулась. Принесла кофе. Сахар в голубеньких аэрофлотовских упаковках. Сигизмунд положил себе один кусочек, Маркизе досталось три.

Маркиза рядом тарахтела, мало интересуясь, слушают ее или нет.

Царев поглядывал на нее, поглядывал на остальных...

Теперь Царев знал, что все они — кто доживет до тридцати, до сорока неудачники. Возможно, они и сами — осознанно или нет — программировали свою жизнь как полный социальный крах.

Здесь, в «Сайгоне», который мнился им пупом земли, и был корень глобальной неудачливости целого поколения. Здесь угнеталось тело ради бессмертного духа, здесь плоть была жалка и неприглядна, а поэзия и музыка царили безраздельно. Битлз. Рок-клуб. «Кобелиная любовь», в конце концов.

И неостановимо, со страшной закономерностью это принципиальное угнетение тела ради духа вело к полному краху — как тела, так и духа.

А пройдет еще лет десять — и настанет эпоха настоящих европейских унитазов.

— ...Ты что смурной такой? — донесся до Царева голос Маркизы. — Пошли лучше покурим. Слушай, у тебя курить есть?

— Курить есть.

Они вышли на Владимирский. Уже совсем стемнело. Мимо грохотали трамваи.

Маркиза зорко бросила взгляд направо, налево, знакомых не заметила, полужнакомых отшила вежливо, но решительно.

— Что ты куришь-то?

Царев, обнищав, перешел на «Даллас».

— Ну ты крут! Ты че, мажор?

— Нет.

Маркиза затянулась, поморщилась. Посмотрела на Царева.

— «Родопи»-то лучше.

— Лучше, — согласился Царев. И вспомнив, снял с шеи забавную феньку. Держи.

— Ты это правда? Я думала, ты шутишь.

— Какие тут шутки. Владей. Она тебе удачу принесет. Мужа крутого по фамилии... Вавилов. И будет он, муж твой, царем земли и всех окрестностей ея. И даст он тебе...

Маркиза-Херонка засмеялась.

— Даст он тебе, — повторил Царев.

— Да я сама такому крутому дам, чего уж... — отозвалась Маркиза.

После сайгоновского кофе Цареву вдруг показалось, что мир наполнился звуками и запахами. Их было так много, что воздух сгустился.

И вдруг от короткого замыкания вспыхнули троллейбусные провода. Прохожие сразу шарахнулись к стенам домов. Царев обнял Маркизу-Херонку за плечи, и они вместе прижались к боку «Сайгона».

Сейчас Царев был счастлив. Над головой горели провода, бесконечно тек в обе стороны вечерний Невский, и впервые за много лет Сигизмунд никуда не торопился. Он был никто в этом времени. Его нигде не ждали. Его здесь вообще не было.

Он стоял среди хипья, чувствуя лопатками стену. Просто стоял и ждал, когда придет аварийная служба и избавит его от опасности погибнуть от того, что на него, пылая, обрушится небо.

И «Сайгон», как корабль с горящим такелажем, плыл по Невскому медленно, тяжело и неуклонно.

На прощание Маркиза поцеловала странного мажора, сказала «увидимся» и нырнула обратно в чрево «Сайгона». Царев пробормотал, поглядев ей в спину:

— Увидимся, увидимся...

И перешел Невский. В кулаке он сжимал десять копеек, которые Аська сунула ему, чтобы он, бедненький, мог доехать до дома.

Ехать домой Цареву было не нужно. Ему нужно было на дачу. Воздухом подышать. С соседкой побалагурить. Папироску выкурить.

Оглянулся. Чтобы на «Сайгон» еще разик взглянуть.

На углу Владимирского и Невского стоял чистенький, в розовых тонах,

совсем европейского вида дом. Швейцар у входа. Сверкающие витрины. За витринами — унитазы.

Царев закрыл глаза. Открыл. Нет, все в порядке. Маркиза сидит на приступочке, рядом с ней — народ прихиппованный тусуется. Все в порядке.

Царев повернулся и пошел к Московскому вокзалу. В город со своей дачи он уже не вернулся. Как и предполагал.

\*

Несколько алюминиевых трубок. Прорезиненное днище. Узкое и неудобной пластмассовое седалище. Одно-единственное весло.

Лео с Маркизой медленно плыли сквозь ночь. Конец августа. В это время года в Питере почему-то всегда пахнет дымком, к которому примешивается запах палой листвы.

— Васьки что-то не видно не слышно.

— Так позвони ему.

— Там Стадникова.

Изломившись невероятным иероглифом Маркиза запрокинула голову и теперь смотрела в небо.

Лео всегда удивляла ее способность комфортно устраиваться в минимуме пространства.

— Так тебе-то что?

— Не хочу... Слушая, а что это за звезда там?

— Где?

— А вон, яркая такая. Прямо над нами.

— Полярная, наверное. — Лео брякнул первое, что пришло на ум.

— Думаешь?.. Там катер впереди.

— Слышу. Успеет.

— Вот хреновина какая-то торчит. Давай здесь.

Лео обернулся через плечо. Краем глаза успел увидеть приближающийся конец трубы, торчащий из гранитной кладки. Ухватился за него, удерживая посудину у стены. Вокруг тихо поплескивала вода. Пахло болотом.

Уже с час Лео с Маркизой неспешно продвигались сквозь темноту августовской ночи по нечистым водам канала к Большой Воде, то и дело прижимаясь к набережной и пропуская бесчисленные прогулочные суденышки.

Вот и теперь мимо прошел, едва не задев бортом, катер. Нарочно в стенку втерли, суки. Здоровенный облом в светлой футболке крикнул Маркизе:

— Давай к нам, подруга. А то потопнешь в этой посудине!

Маркиза даже не пошевелилась. Клала она на все. Всегда клала. Делала, что хотела.

— А мне вчера на картах гадали, на Таро, — голос Маркизы в последнее время изменился, стал ломким, с причудливо скачущими интонациями. — Там тоже «Звезда» была, в раскладе.

— А что она означает?

— Луч света в темном царстве. — Маркиза расхохоталась своим всегдашним надрывным и визгливым смехом. — Гляди, гондон плывет. Ой, а вон еще один! Ешкин корень, да мы с тобой в гондонное царство заплыли. И сами как два штопаных гондона. На невдолбенной посудине.

— Ничего, до Невы уже недалеко...К гадалке что ли ходила?

— Ну. Правду-матку, блин, слушать.

Смех у Маркизы всегда был надрывным. Особенно по пьяни. Когда Лео впервые его услышал, смех этот неприятно резанул по ушам. а потом как-то ничего, привык, перестал замечать. А теперь вот снова начал.

— А посудина и впрямь улетная. Как только Костя-Зверь на ней ходил?

— А молодой был.

Маркиза, изловчившись, перегнулась через борт. Смотрела на черную маслянистую поверхность.

Посудина и в самом деле была, что надо. Шедевр совкового судостроения. Называлась каяк. Костя-Зверь ее так и окрестил: «Каяк по имени „Каюк“». Однако же ходил на ней на Ладогу, на острова. Неделями там в одиночестве сидел.

Как давно это было!

Спился Костя, что называется, в одночасье. Никто так и не понял: с чего. Сам Костя объяснял это так: человек управляется своими снами. А более в подробности не вдавался. А раньше самым праведным из всех был — голодовки, чистки, «Бхагавадгиты» разные.

К Косте они с Маркизой ввалились сегодня поздно вечером. В загаженном, темном, похожем на пещеру обиталище Кости, помимо хозяина сидело трое каких-то ханыг. Сам Костя-Зверь уже мало что соображал. Настоячиво звал посидеть-попить, бывшее вспомнить. Когда Лео отказался, обиделся, чуть в драку не полез. Он когда нажрется, буйным делается. Однако же «Каюк» дал, не пожлобился.

Собирали «Каюк» прямо на ступеньках набережной. За каналом

золотился подсвеченными куполами Никольский собор.

Идея совершить это странное ночное плавание принадлежала Лео. А что еще он мог предложить Маркизе? Ту всегда странно тянуло к воде. И страхи ее заключались в воде. В глубокой воде.

Был период, Маркиза разжилась видеомагнитофоном и днями напролет крутила разные ужастики с чудищами, поднимающимися из бездны. Сама над собой смеялась, но смотрела, ежась от страха. А в самый последний момент нажимала на «стоп».

А потом пришла «кислота». «Ой, Лео, ты только врубись, клево как: воздух твердый, вязкий, а деревья мягкие. И я сквозь воздух продавливаюсь к берегу, сажусь в байдарку и плыву. А рядом монстр всплывает, огромный-преогромный. На Несси похожий. Только я вдруг вижу, не злобный он ни хера, а просто играть хочет...»

«Кислота» растворила страх Маркизы перед глубокой водой. Но, вместе со страхом, исчезла и сама Маркиза — прежняя, солнечная.

Мимо потянулись воняющие мочой ступеньки, спускающиеся к воде от Сенной площади.

— Слышь, Лео. — Маркиза рывком села. — А давай к Огурцу заплывем.

— Не получится, — Лео покачал головой. — Там причалится негде.

— Жаль, — протянула Маркиза с непонятной интонацией. А потом вдруг встрепенулась: — Хохму хочешь?

— Давай, — согласился Лео.

— Мне Димка-Дохлый рассказывал. Прикалывался круто. Они с кем-то вон там стояли, она махнула рукой в сторону набережной. — Стояли, пиво сосали. А лето было жарко, от канала воняет, бомжи вокруг обоссанные пасутся. Из ларька Леков магнитофонный орет, тоску нагоняет. И тут — бабах! Хмырь какой-то, прилично одетый к воде прет, на ходу джинсы стягивает. Телке своей их сунул, а сам с разлету в говнище да в тину шаст! На спину перевернулся, прется как слон, отфыркивается. А на фоне футболки — он в белой футболке был — окурки плывут да говно всякое. Дима с корешом аж прибалдели! Все думают, растворится мужик к хренам. А ему хоть бы хер. Поплавал, да и вылез... Знатная панкуха, да?

Лео неопределенно пожал плечами.

— Дохлый говорит, чуть не сблевал тогда от этого зрелища. Он же чистоплюй, хоть и под говнюка косит.

— Как он там? — спросил Лео.

— Да как все. Я его давно не видела. Вроде живой пока... Слышь Лео, Маркиза неотрывно смотрела ему в глаза тяжелым взглядом. — А не слабо



вам меня сюда, а канал...

— Кому это нам?

— Не выеживайся. Тебе, Никите — всей тусне.

— Не гони волну, — нарочито бодро отозвался Лео. — Чего раньше времени паникуешь. Ничего неизвестно пока.

— А какая разница? — Маркиза потянулась. — Я здесь задерживаться не собираюсь. Это вам тут гнить. Мне такого не надо... Сигаретку дай.

Лео протянул ей пачку.

Какое-то время плыли молча. Наконец, Лео нарушил молчание:

— Ты с Васькой-то когда в последний раз виделась.

— Давно. С полгода, наверное. Он тогда ко мне посреди ночи завалился, на сутки потом завис.

Между Васькой Лековым и Маркизой была какая-то необъяснимая мистическая связь. Не виделись они порой годами. Потом неожиданно Васька объявлялся у Маркизы. Почему-то всегда по ночам. Или же Маркиза вдруг начинала тревожиться, места себе не находила, обзванивала все вписки, пока Васька не обнаруживался в каком-нибудь гадюшнике. Тогда Маркиза успокаивалась.

Домой она ему не звонила никогда, хотя со Стадниковой они были давнишними подругами и вроде бы никогда не ссорились.

— Он в Питере сейчас? Или гастролирует?

— А кто его знает. Тебе-то что?!.. Ладно, Лео, не злись. Я не хотела.

И снова в невозможном изгибе Маркиза простерлась на корме.

Что и говорить, гибкость у Маркизы всегда была потрясающая. От природы.

\*

Однажды, давным-давно, — еще при Горби это было, сидели они с Лео и пили на пару. Потом Маркиза вдруг пошла шариться по книжным полкам. И выволокла здоровенный талмуд по хатха-йоге. Полистала, попросила перевести (книга была на английском). А потом внимательно посмотрела на Лео.

— Сколько их там?

— Чего «сколько»?

— Да поз этих?

— Асан-то? Много. Сто восемь, кажется.

— И ты чего, все их можешь?

— Нет, — честно сказал тогда Лео. А потом добавил: — Все и не нужны.

— Как это не нужны?

— Да вот так.

— Слушай, Лео, — в зеленых, раскосых от портвейна глазах у Маркизы плясали бесенята, — а давай забьемся.

— На что?

— Хочешь, я прямо все сейчас сделаю.

— Хрена ты лысого сделаешь. Пей лучше. Тут знаешь какая растяжка нужна.

— На три литра спиртяги забьемся? Только, чур, настоящего, медицинского.

— Зачем тебе спиртяги?

— Тебе-то что? Нужна.

— А облажаешься?

— Ну тогда... Да ладно, не придуривайся. Знаешь ведь, что не кину.

— З-забьемся, — сказал тогда пьяный Лео.

— Тогда книжку эту передо мной держи. И это... Если я «Агдам» не удержу — не обессудь... Я уж прямо на ковер, лады?

— Не-е, — Лео неверным движением погрозил ей пальцем. — Если не удержишь, поллитра в минус.

Маркиза тогда выполнила ВСЕ асаны. И «Агдам» удержала. А напоследок сказала:

— Говно твоя йога.

\*

— Кстати, Маркиза, — Лео поелозил задом на неудобной скамье — Помнишь, как ты на «слабо» асаны гнула?

— Ага, — засмеялась Маркиза.

— А на кой тебе тогда спирт-то понадобился?

— Да Огурца подпоить. Ну, и для прочего.

— А на фига Огурца-то поить было.

— А иначе на крышу его было не заманить. У него же высотобоязнь. А я очень хотела с ним по крышам полазить.

— И что, полазили?

— Полазили, — Маркиза вдруг разом погрустнела. — Смотри, там еще один катер прет...

Каяк закачалось на волнах, шваркая правым веслом о шершавую отвесную стену.

— Насчет Праги ты это серьезно?

— Верняк, говорю тебе... Знаешь, как там хорошо. Улочки узкие, Влтава. квартал алхимиков... А еще этот собор — я тебе про него рассказывал — где черепа навалены...

— Спас уже близко, — Маркиза, казалось, не слышала обращенных к ней слов. О чем-то своем думала, хмуря брови. — Знаешь, Лео, говорят, там икона одна чудотворная.

— Где?

— Снаружи. Мы под ней проплывать будем. Их там несколько, одна из них. Только я не знаю, какая. Постоим там под ними, ладно?

\*

На участке было непривычно пусто. Не хватало чего-то. Лео сперва никак не мог понять: чего же именно. А потом вдруг дошло: исчезла громадная туша транспортного робота.

Железное чудовище демонтировали вчера, когда Лео был на овощебазе. Не удалось отмотаться — погнали. И надо же такому случиться: вместо того, чтобы присутствовать при кульминации дурацкой пьески под названием «Мы строим ГАП» Лео вынужден был день-деньской перебирать полугнилую картошку.

— Эх, жаль тебя не было. — Серж щелкнул зажигалкой. — Это была песня!

Курилка размещалась при туалете. По кафельным стенам шмыгали тараканы. Лео всегда удивляло: чем они тут кормятся? Не стальной же стружкой. Как бы то ни было, а тараканов на экспериментальном участке было множество. Даже с других цехов ребята приходят и изумляются.

Несколько раз, по просьбе трудового коллектива, тараканов торжественно травили. На день-два они исчезали. А потом вновь возвращались в еще большем количестве.

Транспортный робот был центральным звеном гибкой автоматической линии. Нес на борту несколько малых компьютеров. По замыслу разработчиков, транспортный робот должен был ездить на склад, брать заготовки, развозить их к станкам, собирать готовую продукцию и доставлять ее на тот же самый склад.

Ездить робот не хотел. Категорически. Максимум был способен на

судорожные, конвульсивные рывки. Чтобы диво технической мысли не натыкалось на станки, для него была специально проложена белая полоса. Однако фотоэлементы робота полосу упорно видеть не желали. Было ощущение, что робот забил на все и сидел на своей белой полосе, не обращая внимания ни на готовую продукцию, ни на заготовки, ни на, собственно, разработчиков. Вероятно, у транспортного робота были свои виды на будущее. И, как подобает транспортному роботу, мыслями своими он ни с кем делиться не желал. Сидел на своей белой полосе, медитировал на кутерьму вокруг. Разработчиков не слушал принципиально. Если кто-то и мог с ним найти контакт — так это подсобные рабочие. Подсобные — те и за пивком бы сбегали, и в доминошечку забились с роботом. Но на участке не было подсобных рабочих. Поэтому и сидел себе робот, молчал и сливался в Великом растворении с Брамой. Все есть тщета и тлен. Ом мане падме хум.

Была выдвинута идея дополнительно контролировать движение железного монстра с помощью нескольких лазеров. Под идею было взято дополнительное финансирование. Залогом послужили ускоренные обязательства.

Эпических размахов показуха достигла к моменту приезда замминистра. Срочно была заказана и пошита спецформа со специально разработанной эмблемой — знай наших! — цвета хаки для работяг и голубая для ИТР. На участок приволокли в огромных горшках пальмы — где только раздобыли? — и расставили между станками.

— Знаешь, что это мне напоминает, — сказал тогда Сержу Лео.

— Чего.

— «Клеопатру». Помнишь, сцена въезда Клеопатры в Рим.

— Слушай, а точно, блин!

Название прижилось. С тех пор иначе как «Клеопатрой» робот на участке никто и не называл.

На смотринах «Клеопатра» показала себя во всей красе. Величественно выползла из-за угла, где был сектор складирования и двинулась, огромная, выкрашенная в оранжевый цвет, к станкам. Зрелище было почти мистическим железная машина, ползущая мимо пальм, лениво шевелящих забрызганными эмульсией листьями. В вытянутой руке-манипуляторе позвякивала кассета-поддон с заготовками.

Когда монстр приблизился к станку, все затаили дыхание: неужели?

Да!!!

Малый робот-манипулятор, стоящий возле токарного станка, взял заготовку и начал обработку. «Клеопатра» же поползла дальше — к

следующему станку. И вдруг! — ни с того, ни с сего отстрелила собственный манипулятор, сорвав крепежные болты. Тяжеленная рука пролетела несколько метров, лишь чудом никого не задев и врезалась в бетонный пол, оставив глубокую щербину. Звения и рассыпая заготовки, покатила кассета.

Это надо было видеть!

Думали не обойдется. Обошлось. Доработать и переработать — таков был начальственный рескрипт. Отрасли нужны гибкое автоматические производство.

На следующий день пальмы исчезли, будто и не было их, и все вернулось на круги своя.

Ом мане подме хум.

В гибкое автоматическое производство не верил никто. Нет, «не верил» это не вполне точно. Верили. Но — не сейчас. Безумной была затея совместить старые изношенные станки, помнящие еще Хрущева, с плохой вычислительной техникой. А с другой стороны подумать — кто же, в здравом уме и твердой памяти, отдаст хорошие новые станки для такой ерунды. План на чем тогда делать?

ГАП был игрой. Нет, не игрой. Праздником. Карнавалом для понимающих. Для тех кто знал и любил здоровый цинизм. Ясно, что кому-то придется платить. Ясно, что в конце концов кто-то сядет. Ну и что? Сядет и сядет. А может и не сядет вовсе.

Эта тема живо занимала всех. Кандидатов было несколько. И это были отличные игроки.

«Клеопатра»... отбыла на Чернобыльскую АЭС. Завод, не желая оставаться в стороне, внес посильную помощь. Да, нам нужен транспортный робот. Но там он нужнее. Ведь умной и могучей машине не страшна радиация. Управляемая издали, умная и могучая машина способна действовать там, где человек не протянет и пяти минут, пробираясь между завалов. Ибо слаб человек.

А мы — мы построим нового робота. Благо, опыт уже есть.

Ом мане падме хум.

— За час разобрали. Таковую хренову тучу народа пригнали, — Серж потянулся, — любо-дорого посмотреть!

— А станину как же вниз спустили?

Участок находился на втором этаже.

— На руках. Гляди, — Серж задрал рукав и продемонстрировал ссадину. — О перилину ободрал... Нет, это надо было видеть. Тут же все понабежали, все начальство. Вместе с такелажниками корячились, блядь,

показушники хреновы! Такой, мать их ети, день здоровья был — будьте нате! Абзац, одним словом. Жучару, мудака, чуть не задавили.

Лео заржал. У Жучары была изумительная способность влетать в ситуации. В последний раз, когда нагрянула очередная комиссия и Жучара рвал задницу, то чуть было глаза не лишился. С умным видом присел на корточки возле работающего малого манипулятора. И получил в торец.

Лео с Сержом тогда просто угорали со смеху. Это каким же козлом надо быть?! У манипулятора же после правого поворота выброс идет. Он тысячи раз на дню это делает. Он же ничего другого и не делает.

Правда Жучара отомстил. На следующий день демонстративно конфисковал нарды. Не фиг, в рабочее время, бездельничать. И на юродливые вопли Сержа, что время это его, Сержа, законное, сэкономленное на справлении естественных нужд, не отреагировал.

— Ты кассету-то принес? — спросил Лео.

— Да принес-принес. В камере хранения она. Обратно пойдем, напхни, чтобы отдал. И охота тебе хрень всякую слушать. Все-таки, нет в тебе, Лео, правильности. Учишь тебя, учишь.

— Ну давай-давай, порассуждай, — Лео вытащил еще одну сигарету.

— И порассуждаю. — Серж снова закурил. — Понты одни сплошные. Ну да, играет мужик хорошо, спору нет. А только драйва в этом нет.

— Это у Васьки-то драйва нет?! А у кого он, в таком случае есть?

— Да у кого угодно? А у Васьки нет. Но нет, вы носитесь с ним, как с писаной торбой. Травой в своем «Сайгоне» обкуритесь, колес обожретесь и претесь, хрен знает от чего.

— Ты же раньше сам от него перся.

— Так-то раньше было. Раньше он и играл иначе. А потом говно стал лабать.

— Ты не врубаешься! У него период другой пошел.

— Какой еще «период»? Периоды у баб бывает. Понимаешь, коли взялся играть рок — так играй рок, я не тяни нищего за яйца. А этот? Струну дернет и стоит, трясется весь, как марал на водопое, того и гляди обкончается на боты. Не ритма, не музыки — вообще ни хрена. Вот «ДДТ», к примеру, тебе нравится?

— Ну.

— Баранки гну. А «КИНО»?

— И «КИНО», пожалуй, тоже, — согласился Лео.

Так как же тебе, дураку, при этом может Васька нравиться? Сто, двести, триста раз я тебе говорил и еще повторю: ни хрена ты, Лео, в музыке не рубишь... Во, гляди, какой тараканище здоровенный. Фока,

кажись.

— Нет, это Никифор, — Лео подошел поближе.

— Сам ты Никифор. Говорю тебе, это Фока. У него один ус длиннее.

— А и впрямь Фока. Слушай, давай потом нажремся, как свиньи.

Это была игра, в которую увлеченно играли Серж с Лео — давать клички самым откормленным тараканам. Клички давали не любые — а лишь по именам византийских императоров и полководцев. А самым легендарным тараканом был Фока. Фоку не брали никакие травли. Появлялся он редко, но, что самое удивительное — обязательно к премиальным. Вот и сегодня. Видать, решили вознаградить тружеников интенсификации за проявленное благородство. Шутка ли — когда сроки поджимают — взять и отправить ключевое звено ГАП, любимое, можно сказать детище, в радиоактивный ад. А может просто, чтобы рты заткнуть.

— Ладно, — Серж щелчком отправил недокуренную сигарету в писсуар. Хорош тут отираться. Пойдем пожрем, обеденный перерыв через пять минут.

— Пошли, — согласился Лео.

Путь в столовую лежал долиной, промеж двух гор — Медной и Бронзовой. Неподалеку высился Аллюминиевый пик. На север от него тянулся Стальной кряж. Если идти вдоль него, сразу забрав вправо от Аллюминиевого пика — аккуратно к столовой и выйдешь. И время сэкономишь пару минут, меньше нужно будет в очереди стоять. Идти можно спокойно — лавин на Стальном кряже не бывает, стальные стружки — они намертво друг за дружку держатся.

— Ой, — изумился вдруг Лео. — А это что еще за Колумб на Малой Арнаутской?

На вершине Бронзовой горы широко расставив ноги и засунув руки в карманы мягких, только что вошедших в моду «теплых штанов», высился моложавый, толстый мужчина и с хозяйским видом озирает территорию завода.

— Так это новый замдиректора, — сказал всезнающий Серж. — Классный мужик. У меня дружок есть в профкоме, он с ним пил. Зашибись, говорит. Влезает в него, как в железнодорожную цистерну. И в музыке рубит. Слышал, кстати, вроде этот, — Серж кивнул на фигуру наверху, всерьез хочет концерт Григоровича у нас устроить.

— Да ну, — не поверил Лео. — У завода башлей не хватит на Григоровича.

— Этот найдет, — убежденно сказал Серж. — У него все схвачено. Вишь как стоит, блин. Прямо как Христос над Рио-де-Жанейро.

— Тот руки разводит, а этот в карманах держит, — возразил Лео.

— Вот-вот, — обрадовался Серж, — И я об том. Тот, который над Рио-де-Жанейро — он все раздать хочет, а этот — хрен. Все — в карманы.

Ихтиандр-Куйбышев еще не очень хорошо изучил топографию завода. Судя по всему те два парня внизу шли из участка гибкого автоматического производства. Ихтиандр посмотрел на часы. Обеденный перерыв. В столовую идут, выходит. А где же здесь столовая-то, черт бы все это подрал? Куйбышев знал где находится главное — административное здание, бухгалтерию, гараж, литейный цех, но разобраться в лабиринте заводских построек еще не успел. Жрать хотелось.

Ихтиандр-Куйбышев посмотрел вниз. Ребята явно о нем говорят. Интересно, что же они говорят? Хотя — какая разница? Явно, в столовую намыливаются.

Ихтиандр-Куйбышев сошел с Бронзовой горы.

— День добрый, — сказал Ихтиандр-Куйбышев обращаясь к Лео.

— Здравствуете, — осторожно ответил тот.

— В столовую? — весело спросил Ихтиандр-Куйбышев.

— Ну, — сказал Серж.

— Ребята, с ходу — анекдот. Стоят на горе, — Ихтиандр-Куйбышев махнул рукой в сторону Бронзовой горы. — Стоят на горе два бычка — молодой и старый. А внизу — стадо телок.

— Эх, — выдохнул Серж. — Телок бы...

— Не перебивай, — сказал Лео. — Продолжайте пожалуйста.

— Стадо телок, — кивнул Ихтиандр-Куйбышев и взглядом обласкал еще и Медную гору. Какие перспективы...

— Молодой бычок и говорит старому, — продолжил он. — Пойдем, мол, в темпе, говорит, трахнем вон ту, белую. Старый молчит. Пойдем, говорит молодой, быстренько трахнем вон ту, тогда, пятнистую. Старый молчит. Пойдем, наконец взъярившись, мычит молодой, хотя бы ту, рыженькую стремительным домкратом оприходуем.

Ихтиандр-Куйбышев сделал короткую паузу.

— Ну и? — не выдержал Серж.

— Ну... Баранки гну, — ухмыльнулся Ихтиандр-Куйбышев, новый замдиректора завода. — Старый подумал, помолчал, рогом поводит... Сейчас, говорит, мы с тобой спустимся с горы без лишней спешки и трахнем все стадо.

Лео громко расхохотался, а Серж просто хмыкнул и внимательно посмотрел на новоиспеченного замдиректора.

— Вы, простите, кто? — спросил он на всякий случай, хотя заранее



знал ответ.

— Я новый замдиректора этого, — Ихтиандр-Куйбышев обвел взглядом Бронзовую, Медную и Железную горы, Аллюминиевый пик, Стальной кряж, — этого предприятия. А вы кто?

— Лео, — сказал Лео, протягивая руку новому начальству.

— Серж.

— Куйбышев, — широко улыбаясь сказал Ихтиандр. — Мне кажется, парни, мы с вами сработаемся.

— Очень может быть, — осторожно заметил Серж. — А всероссийский староста вам, случайно, не родственник?

— Да что там — старосты? Какого хрена нам о старостах думать тут, да, парни? — весело вскричал Куйбышев. — Где тут у вас кормят?

— А вы не знаете? — изумился Лео.

— Все недосуг было, — гаркнул Ихтиандр. — Не до сук. Дела, ребята... Работы — море. Запустили тут у вас производство. Надо выгребать как-то. День и ночь в кабинете, покушать некогда... Ну, ничего. С такими орлами, — он хлопнул хайрастого Лео по плечу. Лео вздрогнул. — С такими орлами мы горы свернем. Ведите меня, юноши, ведите в харчевню вашу.

А в делах плотских на этом заводе начальство толк понимало, думал Ихтиандр-Куйбышев, сидя после очень даже недурственной трапезы у себя в кабинете. Да, сущий заповедник зубров. А еще не верят, что в этой стране деньги под ногами валяются. Гибкое автоматическое производство — это, конечно, чушь. Год-два пройдет — никто и не вспомнит. А вот основные цеха это Клондайк. Если перепрофилировать по-грамотному. Цветмет — за бугор. Оттуда — комплектующие. Здесь — сборка. Грамотные ребята есть, эти за меня, точнее, за бабки от меня — за них зубами держаться будут. Остальные остальных в шею. Балласт. Зубров — в первую очередь. И крутиться — оч-чень быстро крутиться. Потому как лафа эта не вечная. Года три-четыре от силы есть, чтобы подняться, раскрутиться и свернуться. Грек так и рекомендовал. Года три-четыре, в неразберихе, которая уже начинается. А дальше — новое дело. Оно и правильно. Как там у Ивана Ефремова в «Туманности Андромеды»: пообщался по Великому Кольцу, жирком пооброс — пора на подводные рудники, кайлом в акваланге махать, пузыри пускать. А оттуда — еще куда-нибудь.

Любил Игорь Куйбышев советскую фантастику. Особый прикол в ней находил. И не в новой, не в Стругацких — хотя и в них тоже — а в старой. В Ефремове том же, в Беляеве, который человека-амфибию воспел.

У Спаса-на-Крови каяк, в котором плыли Маркиза и Лео чуть не перевернули. Тот самый давнишний катер со здоровенным обломом и ляльками. Впрочем, обломов было теперь двое. Расплодиться что ли успели. Второй был как две капли воды похож на первого. Или это так показалось в темноте.

В ярко освещенном кабаке напротив оглушающе ревела попса, далеко разносясь по округе. Одно время Лео каждую ночь проходил вон там, мимо решеток Александровского сада: вечерами халтурил, возвращался к разводке мостов. Кабак этот слышен был еще с Марсова поля. Здесь, возле собора он всегда воспринимался как что-то особенно непотребное. По крайней мере Лео это так казалось. Хотя религиозным человеком Лео не был.

А кабак был неистребим. В каком году он открылся. Лет пять уже. Или шесть. Место уж больно завлекательное. Все иностранцы, как только Спас увидят, кипятком начинают писать. А тут тебе и посидеть-оттянуться. С видом на историческую достопримечательность.

Внизу, на воде звуки музыки приобретали какое-то странное кабафоническое звучание. Вверху мерцали золотом лики, устремленные на кабак.

Над головами слышались голоса, звуки шагов. Хлопнула дверца машины...

Катер появился будто из неоткуда. Странно, что ни Лео, ни Маркиза его не услышали. Просто их вдруг оглушил рев мотора, а вслед за этим брезентовую посудину завалило набок. В нос ударило выхлопом. Лео инстинктивно навалился на другой борт, удерживая равновесие. Верткое суденышко плясало на взбаламученной воде.

— Козлы!!! — он с ненавистью посмотрел вслед удаляющемуся катеру.

Сверху, с набережной донеслись смешки.

Маркиза, которая не обратила на происшедшее ни малейшего внимания, неотрывно глядя вверх, на лики, вдруг зябко передернулась.

— Все, — резко сказала она Лео, возвращаясь к действительности, — хорош херней маяться. Пошли на Неву. Заколебало тут говно месить!

Избывая злость от пережитого Лео яростно греб, смотря как медленно уплывает похожий на игрушку собор. Маркиза сидела теперь нахохлившись, погруженная в свои думы.

На Неве дул ветер. Небо на востоке уже светлело. Дыбились пролеты разведенных мостов. По реке волокла свое длинное тулово здоровенная баржа.

— Ну что, — нарушил молчание Лео. — Тут?

Маркиза огляделась.

— Нет, давай лучше там... Хотя... Нет, здесь тоже хорошо.

Каяк по имени «Каюк» медленно покачивался на волнах. Баржа уползла за Троицкий мост. Было удивительно тихо. Лишь вода поплескивала в днище.

— Странно, — проговорила Маркиза, — а почему чаек нет.

— Может спят, — предположил Лео, доставая «баян»

— Какое «спят». Их тут на рассвете всегда до дури.

— Так еще не рассвет.

## Глава 4. Огни небольшого города

— *Здесь у нас Зал оплодотворения.*

*О. Хаксли*

— Ты, тряпка, вымоченная в портвейне, заткнись!

Голос Отрадного, тысячекратно усиленный и размноженный реверберацией упал на темный зал дворца культуры, как падает платок, брошенный усталым хозяином на клетку с разверещавшимся попугаем. Голос Отрадного мгновенно заставил замолчать нескольких разбушевавшихся на балконе молодых людей. Голос Отрадного, высокий, пронзительный, известный всей стране голос разнесся по закулисы, залетел в служебный буфет и отдался эхом в гардеробе.

— Чего это он? — спросил Леков, ставя на стол бутылку пива. В буфете было почти пусто — за соседним столиком сидели две девчонки лет девятнадцати, в углу стояли трое молодых людей комсомольско-кегебешного вида, курили, поглядывали по сторонам.

— Да, как обычно, — лениво ответил Огурец. — Порядок наводит. Высокое искусство нужно с почтением воспринимать. Благоговеть надо перед божественными песнями.

— А-а, — Леков понимающе кивнул. — Тогда ясно.

— Со свиним... в калашный ряд... — донеслось со сцены.

— Во дает, — Леков уважительно прикрыл глаза. — Сила! А петь он будет сегодня?

— Подожди. Он же мастер. Сначала поговорит, объяснит, насколько он крут, а потом, конечно, споет. Его еще и не остановишь, он петь любит.

— И как?

— А ты, что, не слышал?

— Не-а.

Леков взял со стола бутылку и налил себе пива.

— Да брось ты дурака валять, — заметил Кудрявцев. — Ты хочешь сказать, что Отрадного никогда не слышал?

— Не-а, — снова сказал Леков, глотнув пива.

Кудрявцев пожал плечами.

— Пойдем тогда, послушаем.

— Пойдем.

За кулисами толпилось множество обычного сэйшенного люду — девочки, прилепившиеся глазами к черной фигуре, замершей на сцене у микрофонной стойки, мальчики с фотоаппаратами, несколько обязательных костюмно-комсомольских юношей, тетеньки-администраторы зала, боязливо посматривающие по сторонам, рабочие сцены, равнодушно-презрительно посматривающие на всю остальную публику.

— Ну он начнет когда-нибудь? — раздраженно спросил Леков. Девочка, стоящая прямо перед ним быстро обернулась. «Что за лох пробрался за кулисы», — говорили ее расширившиеся в гневном презрении серые глаза. — «Что за урел посмел покуситься на святое?».

— Чего? — спросил Леков девчушку. Та, брезгливо зашипев, вернулась в исходное положение и снова принялась пожирать глазами черную фигуру на сцене.

Фигура, меж тем, покачивая рано обозначившимся животиком, продолжала источать ругательства, направленные в зал. Зал благоговейно молчал, внимая откровениям мэтра.

— Слушай, — громко обратился Леков к Кудрявцеву. Заговорил он настолько внятно и громко, что черная фигура на сцене заметно дернулась, но головы в сторону кулис не повернула. Профессиональные навыки артиста сказывались. Зато нервная девчушка снова изменила позицию, повернувшись к сцене задом, к Лекову передом.

— Слушай, — не обращая внимания на испепеляющий взгляд девушки продолжил Леков. — Это он, что ли, рок-оперу написал?

— Ну да, — кивнул Роман Кудрявцев. — Я не пойму, Васька, ты издеваешься, или серьезно говоришь?

— Абсолютно серьезно, — ответил Леков.

— Да брось ты... Помнишь песню — «Молодость наша уходит»?

— Нет. Я эту музыку не слушаю вообще-то.

— Ладно, — Кудрявцев махнул рукой. — Смотри, он начинает.

Девушка, стоящая между Лековым и сценой зашипела, глаза ее сверкнули и потухли, лицо превратилось в каменную маску. Она еще раз яростно зыркнула на Лекова и снова повернулась к любимому, судя по всему, артисту.

Артист выверенным, отрепетированным жестом взял левой рукой за гриф гитары, болтающейся на уровне живота, занес над струнами правую и выдержал небольшую паузу. Зал, прежде находившийся в религиозном оцепенении по мановению руки артиста, просто умер.

— Курить есть? — громко спросил Леков у Огурцова и артист, приготовившийся уже обрушить на зал всю мощь своего таланта снова

нервно дернулся. Девчушка на этот раз не повернулась на ненавистный голос, а просто сгорбилась и втянула голову в плечи.

— Тс-с-с, — просвистел Кудрявцев. Леков пожал плечами и уставился на сцену.

Артист, так и не опустив руку на струны вдруг затянул акопелло:

— Аааа-а-а-а...

Выше и выше взлетал его голос и, по мере того, как он переходил из октавы в октаву лицо Лекова морщилось, приняв в конце концов совсем уже нечеловеческое выражение.

— Ну я пошел, — сказал он громко, когда артист на сцене перестал голосить и взял первый аккорд на гитаре.

— Подожди, сейчас он...

— Я уже все понял, — прервал Леков Кудрявцева. — Вы остаетесь?

— Да. Я хочу послушать, — сказал Роман. Огурцов же, потоптавшись на месте, посмотрев на Кудрявцева чудесным образом снизу вверх, хотя были они с Романом одного роста, кивнул и поддакнул:

— Да. Я тоже слушаю...

— О кей. Я в буфете. Денег только дайте.

\*

Артист вошел в буфет, сопровождаемый роем поклонников — все они были на голову ниже статного певца, одетого в черное и поблескивающего золотой оправой очков. Леков, пивший уже седьмую бутылку пива заметил в толпе поклонников девчушку, давеча торчащую на сцене. За спиной артиста маячила длинная фигура Кудрявцева, который что-то говорил герою дня, хлопал его по плечу, герой слушал, кивал головой и улыбался.

Кудрявцев указал рукой на столик, за которым сидел Леков и артист, снова кивнул, лениво повел рукой, отменяя от себя рой поклонников и поклонниц и вальяжно двинулся в указанном направлении.

— Познакомьтесь, — весело сказал Кудрявцев, оказавшись у столика Лекова одновременно с артистом. — Это наш знаменитый питерский музыкант, звезда панк-рока Василий Леков.

— А где Огурец? — спросил Леков, мельком взглянув на артиста.

— Он уехал. Какие-то дела у него. Бабы, наверное, — ответил Кудрявцев.

Артист свысока посмотрел на звезду панк-рока, и осторожно кивнул. Глаза артиста за тонкими стеклами очков странно забегали. Леков снова

посмотрел на топчущегося на месте Отрадного и тоже кивнул.

Несколько секунд артист и звезда панк-рока молча созерцали друг друга, причем глаза Отрадного продолжали бегать по сторонам.

— Ну что же, — разрядил паузу Кудрявцев. — Сережа! — он посмотрел на артиста и тот с видимым облегчением отвернулся от Лекова. — Может быть, пивка? Составим компанию молодому поколению?

Леков хмыкнул. Не такое уж он «молодое поколение». Разве что относительно москонцертовских заслуг Отрадного он может считаться молодым и недооцененным. Вернее, совсем не оцененным худсоветами, цензорами и музыкальными критиками солидных московских изданий.

— Да, пожалуй, — согласился артист.

— Я сейчас принесу, — быстро сказал Кудрявцев и направился к буфетной стойке.

Артист вежливо кашлянул. Из дальнего угла буфетного зала на него с восхищением взирала примелькавшаяся уже фанатка — та самая, со сцены.

— Вы, простите, Василий...

— Да-да? — быстро откликнулся Леков.

— Вы тоже музыкант, насколько я понял?

— Да. — Скромно ответил Леков. — Тоже. Да.

— А где вы учились?

— А вы?

Леков в упор посмотрел на артиста.

— Я? Я окончил консерваторию. Сейчас преподаю.

— Что?

— Что преподаю? Вокал...

— А-а. Ясно.

Леков взял бутылку и налил себе пива.

— А я дома учился.

Он залпом выпил целый стакан, громко рыгнул, отчего артист Отрадный вздрогнул, поставил стакан на место с громким стуком и уперся взглядом в собеседника.

— Дома, — сказал артист, переходя в наступление. — Дома — это несерьезно. Знаете, отчего в нашей стране так плохо с рок-музыкой?

— Плохо? Да, вот, интересно, отчего же у нас все так плохо? — Леков поставил локти на стол и уперся подбородком в ладони. — Отчего у нас ничего нет? Ума не приложу...

Отрадный поморщился, но продолжил.

— Понимаете, вот вы, например...

— Ну-ну, — подбодрил артиста Леков.

— Вот вы, — снова поморщившись продолжил Отрадный. — Вы говорите «дома»... А это, вы уж меня извините, несерьезно.

— Да?

— Конечно. Музыкае нужно учиться, это требует полной отдачи, это годы упорного труда... И не каждый способен понять, что такое, вообще, музыка.

— Это точно, — кивнул Леков. — Не каждый. И это, между прочим, очень странно.

— Почему же странно? Ничего странного. У нас все кому ни лень лезут сейчас на эстраду. А профессионалов, практически нет. Особенно в рок-музыке. Никто толком и не знает, как рок-музыку играть нужно. И петь. Какие вокальные школы...

— Интересно. И как же ее нужно играть?

— Ну что, познакомились? — Кудрявцев навис над столом держа в руках две увесистые грозди пивных бутылок.. — Давайте-как выпьем за сегодняшнее выступление. Отличный концерт, Сережа, был сегодня, отличный.

— Да ну, что ты... Зал такой...

— Какой? — спросил Леков.

— Гопники одни, — ответил Отрадный. — Ни черта не понимают. Половина вообще — пьянь. Сидят, портвейн хлещут... Я видел со сцены. Бисер перед свиньями...

— Ну да. А кто еще на рок-концерты ходит? Папики, ведь, не пойдут.

Две последние фразы Леков произнес с иронией, которой, впрочем, артист не заметил. Слишком увлечен он был идеей, видимо, мучавшей его давно и тяжело.

— Не пойдет. Конечно. А почему? Почему, так называемые папики не ходят на рок-концерты? Потому что «папики» — это нормальные люди, которые хотят слушать нормальную музыку. А музыке учиться нужно. Просто так ничего не дается. Вся эта самодеятельность — все эти ваши группы... Рок-клуб... Это же все детский сад. Никто ни играть не умеет, ни петь... Я столько лет уже слушаю рок-музыку, я ее знаю, я в ней разбираюсь, я могу петь все. что угодно. Но сколько я учился этому? А? Сколько лет?

— Сколько? — спросил Леков.

— О, да какая разница! Много лет. Музыкальная школа, училище, консерватория... Это годы, это десятилетия труда, бешеного труда... А эти... Ваши... Ну, не знаю, не знаю... Несерьезно это все. И, больше того, больше того — вредно.



— Чего это — вредно?

— Вся эта самодеятельность, которая называет себя «рок-музыкантами», вся эта шобла алкашей и наркоманов — это вредно. Непрофессионализм — это мало сказано... Беспомощность эта, с которой все они, самодеятельные рокеры пытаются что-то играть, вот эта беспомощность, это чудовищное звучание — вот что отбивает охоту у нормальных людей ходить на рок-концерты. И вообще слушать рок-музыку. Они дискредитируют жанр, дискредитируют все направление... Вот я пытаюсь отстоять, пытаюсь много лет объяснить людям, что рок-музыка...

— Что — «рок-музыка»? — спросил Леков.

— Что рок-музыка — это искусство, это великое искусство... Я о рок-музыке знаю все. Я ее изучаю много лет. Я весь «Битлз» пою...

— Может, тогда треснем?

Леков поднял стакан.

— За искусство-то?

Артист посмотрел на своего молодого собеседника каким-то очень странным взглядом, перевел его на Кудрявцева и взял стакан с пивом.

— За искусство можно, — сказал он неуверенно.

— Ну, чтобы все искусства процветали, — улыбнулся Леков и стукнул своим стаканом о стакан артиста.

— Да... Чтобы процветали, — проямлил тот и вдруг быстро, в один глоток проглотил двести пятьдесят граммов «Жигулевского».

— Ну вот, — заметил Леков. — Это другое дело. Продолжим? Роман, — он посмотрел на Кудрявцева. — А что дальше-то будем делать?

— Поехали ко мне, — предложил Кудрявцев. — Сережа!

— Да? — встрепнулся артист.

— Ты свободен сегодня вечером?

— В общем-то...

Отрадный с тоской посмотрел на пивные бутылки, которые выглядели как-то очень сытно, очень по-доброму поблескивали своими зелеными, запотевшими боками.

— В общем-то... — не мог решиться Отрадный.

— Да в чем дело-то, е-мое?!

Леков налил себе еще пива.

— Нужно же нам как-то закрепить дружбу Ленинграда и Москвы. А то рок-клуб — говно, самодеятельность — говно... Так не пойдет. В мире очень много есть хороших вещей. В том числе, и в самодеятельности. Поехали, Сережа. Выпьем, поговорим... А баб возмем?

— Баб? — Кудрявцев тяжело вздохнул. — А каких?

— Да вон, куча целая, — Леков махнул рукой в сторону буфетной стойки. Там маячила небольшая очередь из малолетних поклонниц Отрадного, перекочевавших сюда из-за кулис вслед за любимым артистом.

— Не люблю я московских девушек, — скучным голосом сказал Кудрявцев. То ли дело, ваши, питерские... Интеллигентные, хоть и бедные. И одеты плохо. Но, зато, обязательно посуду помоют после вечеринки, ночью спать не мешают... И, главное, никогда ничего не сопрут. А наши — их только в квартиру запусти. Сколько случаев было. То икону снимут со стены... На кухне у меня — штук пять уже ушло. Вместе с московскими девушками. То кольцо уведут... На худой конец — шампунь из ванной стащат. И вообще — засрут все, загадят квартиру, а потом еще выебываться начинают. Кофе им, понимаешь ли, в постель, еще чего-нибудь. Ты за кофе пошел на кухню — а она — шашь — к тебе в письменный стол... Такие суки. А питерские — они другие.

Кудрявцев зажмурился и потянулся, выбросив длинные руки высоко вверх.

— Питерские — они бедные, но гордые. И трахаются совсем по-другому. Наши-то ленивые... Манерные. А ваши...

Он скосил глаза на Лекова.

Леков важно кивнул.

— Да, трахаются ваши — как в последний раз, — мечтательно молвил Кудрявцев.

— Серьезно? — заинтересованно спросил артист. — С чего бы это? А? Я не замечал...

— А были у тебя питерские?

— Питерские?..

Артист пожевал губами.

— Не помню... Наверное, были... Хотя, — спохватился он. — Хотя, я, вообще-то, по сексу, знаете ли... Я такой образ жизни веду... Строгий. Работа, занятия... Преподавательская деятельность...

— Ну студенток-то пердолишь, Серега? — весело блеснул глазами Леков.

— Ну, а то, — Отрадный мечтательно посмотрел в потолок, потом спохватился и быстро закончил, — Да что вы, в самом деле...

— Короче говоря, едем ко мне? — Кудрявцев хлопнул ладонью по столу. Да или нет?

— Едем.

Леков встал и, повернувшись к буфету, махнул рукой.

— Эй, девушка!

Девчушка, та самая. которая на сцене толкалась перед Лековым и выражала свое неудовольствие его поведением встрепенулась. С лица ее исчезло сонное выражение, с которым она взидала на Отрадного, его сменила маска, выражающая крайнее раздражение и досаду. Леков, совершенно очевидно, вывел ее из транса.

— А? — растерянно спросила она.

— Вот тебе и «а»! — громко крикнул Леков, не обращая внимания на то, что взоры всех, присутствующих в буфетном зале, включая комсомольцев-комитетчиков в один миг уперлись в его покачивающуюся фигуру. Иди сюда. говорю.

— Это вы мне?

Девчушка, кажется, не понимала, чего от нее хочет странный юноша, по виду — совершенный гопник, но при этом почему-то оказавшийся за одним столиком с живым богом. И не просто оказавшийся, а ведущий с ним оживленную беседу. Как равный с равным.

— Тебе, тебе. Иди сюда.

Комсомольцы, растворившиеся было в затененных углах буфета встрепенулись и приняли охотничьи стойки.

Девчушку передернуло — вероятно от волнения, она быстро посмотрела по сторонам — товарки, стоящие в очереди за пивом и тихонько щебетавшие о чем-то своем, девичьем и потаенном как по команде замолчали и пялились на бедную избранницу во все глаза.

— Ну, слушай, давай, шевелись, — крикнул Леков. — У нас времени нет.

Кудрявцев усмехнулся и посмотрел на артиста. Тот с отсутствующим видом пил пиво маленькими глоточками, сосредоточенно, с серьезным лицом, словно, по предписанию врача употреблял целебную микстуру.

Поклонница Отрадного, снова впад в транс, медленно двинулась к столику, за которым сидел ее кумир, опустивший в стакан известный всей стране длинный холеный нос со съехавшими на самый его кончик не менее известными, являющиеся неотъемлемой частью имиджа артиста, затемненными очками.

— Тебя как зовут-то? — спросил Леков, когда девчушка остановилась у их столика глядя прямо перед собой и всеми силами стараясь сделать так, чтобы взгляд ее не упал на артиста, который, впрочем, кажется, не обращал на нее ни малейшего внимания. Несколько комсомольцев в черных пиджаках взяв пиво без очереди устроились за соседним столиком и навестили уши.

— Наташа, — гордо ответила девчушка.

— Лет сколько? — с интонацией опытного следователя спросил Леков. На лбах некоторых из компании сидящих за соседним столиком комсомольцев выступил пот.

— Двадцать.

— Сколько-о?!

— Ну, двадцать.

— Ага. Ты хорошо сохранилась, маленькая. Поехали тогда.

— Куда?

— А в гости. Поедешь?

— Куда?

— В хорошее место. Не бойся, Наталья. Не обидим.

Леков хмыкнул.

— И Сергей едет.

Отрадный еще глубже погрузил свой нос в стакан.

— Да? Я не знаю... А где это?

— В центре, — сказал Кудрявцев. — Поехали, господа. Решили, так решили. Я тоже выпить хочу. А за рулем, знаете ли...

\*

— Ты же всегда пьяный ездил, — сказал Леков, когда «Волга» Кудрявцева выехала на Кутузовский проспект. Он сидел рядом с Романом, на заднем сиденье съежилась девочка Наташка и, рядом с ней замер Отрадный, молча пялившийся в зеркало над водительским сиденьем.

— Ездил. На других машинах, — усмехнулся Кудрявцев. — Я, ведь, всю жизнь на отечественных марках езжу. Это у меня от папы. Если хорошо машину довести до ума, то вполне можно по городу рассекать. И меньше шансов, что угонят. Или разденут... Я же «Кадиллак» привез из Штатов — две недели простоял. Все.

— Угнали? — осипшим голосом спросил Отрадный.

— Ну да. Теперь где-нибудь в Грузии мой «Кадди» живет. Или в Эмиратах. Так что, думаю — ну его в задницу, хорошие машины. Гаража у меня нет, охраны нет... А «Волгу» мне тоже папа посоветовал взять. Если над ней поработать ничего, ездить можно. Одна только проблема.

— Что такое? — спросил Отрадный. Ему явно было не по себе.

— Да, понимаешь, Сережа, номенклатурная машина.

— В каком смысле? — спросил Отрадный, а Леков понимающе кивнул и хмыкнул.

— Точно, — сказал он. — Это ты верно подметил. Официоз, мать его.

— Да, Вася, официоз. Замучил меня этот официоз.

— Чем же? — снова включился Отрадный.

— Я же с детства за рулем, — с удовольствием, которое звучало в его голосе всегда, стоило только ему выйти на автомобильную тему, ответил Кудрявцев. — Я машины очень люблю. Я их понимаю. И я всегда с машиной общаюсь, как с живым существом.

— Ну это уж, пожалуй, слишком, — бросил Леков.

— Нет, ничего подобного. Ты, вот, с гитарой... И ты, Сережа — вы, музыканты, вы с инструментом, ведь, тоже, общаетесь как с другом? Да?

— Ну, это другое, — начал было Отрадный, а Леков криво усмехнулся и промолчал.

— Да нет, я думаю, тоже самое. Кому что. У вас — гитары, у меня машины. С ними общаться нужно, любить их. Тогда и они не подведут. Я, знаете, парни, на каких развалюхах иногда ездил? И денег не было ни хрена. Так вот, едешь на гробике таком, все трясется, зараза...

Девушка Наташа на заднем сиденье вздрогнула и съежилась еще больше. Кудрявцев заметил ее реакцию на мат, усмехнулся и продолжил:

— Ну да. Сволочь такая, трясется все, громыхает, чувствую, сейчас встану. Я ей и говорю — милая! Потерпи пожалуйста. чуть-чуть еще, потерпи, доедем, я тебя подлечу, я тебя поправлю, помою, почищу, мастера хорошего позову, доктора твоего... Он тебя на колеса поставит... Иной раз даже скажешь — «на ноги». Так-то вот.

— И что же? — спросил Отрадный.

— Доезжал до места. Всегда. Доедешь, встанешь — и все. Кранты. Уже машинка не заведется, пока обещание свое не выполнишь. Пока мастера не приедешь, пока не подлечишь, не помоешь... А вы говорите...

— Рома, а что ты там про «Волгу»-то начал? — спросил Леков.

— Ах, ну да. В общем, действительно, всю жизнь я пьяный ездил. Ну, не то, чтобы слишком, а так, ну, ты знаешь, Василий... Я же за обедом всегда рюмку-другую выпиваю. И ничего. Привык. Без проблем. А с «Волгой» — такая история... Я же говорю — номенклатурная машина. Не везет она пьяного. Не хочет. Отторгает. Сидишься за руль — не принимает тебя машина. Не верит тебе. Такое в ней поле... Мощное.

— Да уж, — важно кивнул Леков. — Понимаю.

— Советское поле, — заметил Отрадный. — Совковое.

— Нет, — Леков повернулся к артисту и, невзначай рыгнул в сторону девушки Наташи отчего та еще сильнее уменьшилась в размерах и стала почти потерялась рядом с огромным гитарным кейсом Отрадного.

— Нет, — сказал Леков. — Не совковое в ней поле.

Он глубоко втянул воздух, демонстративно поводя носом, обнюхивая салон машины. — Не совковое, Нет. Но — имперское. Уважаю.

После этого Леков отвернулся от артиста и замолчал.

— Василий у нас уважает империю, — сказал Кудрявцев после паузы. — Я знаю... Да, Вася?

— Да, — спокойно ответил Леков совершенно трезвым голосом. — Уважаю.

\*

Водки Кудрявцев купил в магазине, который находился совсем рядом с его домом. В том же магазине Лекова, увязавшегося за Романом стошнило — не очень сильно, но, все же Несколько покупателей, толпившихся возле прилавка начали было поговаривать о том, что не худо бы вызвать милицию. Этому же мнения придерживалась и продавщица, но Кудрявцев быстренько вывел ослабевшего товарища на улицу, сунул в машину, прыгнул за руль и «Волга», в мгновение ока растворилась в темноте арки двора.

В лифте Лекову снова стало плохо, он побледнел, на лбу его выступил пот, но до тошноты дело не дошло — питерский гость громко рыгнул, обдав окружающих густым пивным духом и, в очередной раз заставив девушку Наташу скукожиться. Отрадный же, по своему обыкновению делал вид, что все происходящее вокруг его совершенно не касается, а Кудрявцев пристально посмотрел на своего товарища и спросил:

— Нехорошо тебе, Василий?

— Нехорошо матом ругаться при детях. А мне дурно, — просто ответил Леков. — Но это сейчас пройдет. Вы не бойтесь.

Он посмотрел на девушку Наташу.

— А я и не боюсь, — ответила та, глядя на Лекова снизу вверх.

— И правильно, — согласился Кудрявцев. — Вася — он хороший.

— Да я вижу, — кивнула Наташа. — Вижу.

— Вот только не надо иронизировать, — строго заметил Леков, утирая пот со лба. — Не надо, девушка. Вы такая красивая, а такие глупости начинаете говорить. Мы ведь с вами совсем незнакомы. Как же можно-с, вот так, незнакомого человека смешивать прилюдно с говном-с? А? Хорошо ли это?

— Приехали? — с надеждой спросил Отрадный, когда лифт

остановился и двери его со скрипом разъехались в стороны.

— Да. — Кудрявцев сделал рукой приглашающий жест. — Прошу на выход. С вещами.

\*

В квартире Романа Отрадный, наконец, расслабился. Он, явно, чувствовал себя в своей тарелке — даже облик его очень хорошо сочетался со шкафчиками карельской березы, с мягким, старинным кожаном диваном, на резную деревянную спинку которого Отрадный небрежно закинул руку, с тяжелыми бархатными портьерами, закрывающими окна, с иконами и картинами, висящими на стенах.

Отрадный, пожалуй, единственный из всей компании выглядел в апартаментах Кудрявцева на своем месте — даже хозяин в своих потертых джинсах и кожаном пиджачке казался гостем в собственном доме, не говоря уже о покачивающемся Лекове и окончательно потерявшейся девушке Наташе, которая, войдя в квартиру юркнула в массивной кресло и затихла, снова сосредоточив все свое внимание на Отрадном.

Артист сидел, закинув ногу на ногу и курил дорогую, длинную сигарету. Поблескивал очками, поглядывал по сторонам.

— Хорошо у тебя, Рома, — наконец, молвил артист. — Я, знаешь, редко в гости хожу... Все работаю, работаю... А у тебя — просто прелесть, что за дом. Можно посидеть по-человечески...

— Сейчас, сейчас, все будет по-человечески, — пробормотал Леков, срывая винтовые пробки с водочных бутылок.

Когда Кудрявцев, гремевший на кухне тарелками и хлопающий дверцей холодильника появился в комнате с подносом, на котором лежали закуски копченая колбаса, буженина, хлеб, зелень, тонко нарезанный, ароматный сыр, Леков уже выпил свои первые двести грамм.

— Не гони, Василий, — строго сказал Роман. — А то вырубишься раньше времени.

— А когда, позволь спросить, это время, до которого мне нельзя вырубаться?

Лекову, очевидно, стало лучше. Пот на лбу высох, лицо порозовело, в глазах заиграли злые, веселые искорки.

— Я хотел тебя попросить спеть последние твои песни. Из нового альбома. И Сережа бы послушал. Хочешь, Сережа?

Кудрявцев посмотрел на артиста. Тот пожал широкими плечами и как-

кто странно сморщил лицо. При желании, конечно, выражение, которое приобрела физиономия Отрадного можно было назвать заинтересованностью, но, с тем же успехом, к нему подходило и определение «отвращение». Он провел ладонью по длинным, густым, холеным волосам, зачесывая их со лба на затылок и прромычал что-то неопределенное.

— Ну да, Сережа у нас только свои песни любит слушать, — ехидно заметил Кудрявцев.

— Ну, отчего же, — прикрыл глаза артист. — «Битлз» я слушаю с удовольствием... Вы как, — нарочито-официально обратился он к Лекову. — Как насчет «Битлз»?

— Нормально, — ответил Леков, странно глядя на статного артиста. Нормально насчет «Битлз».

— «Нормально», — вздохнул Отрадный. — Эх, молодость, молодость... Это гениальные композиторы.

Сказавши это артист снова прикрыл распахнутые было глаза и погрузился в самосозерцание.

— Глубоко, — констатировал Леков. — Глубоко. Гениальные, значит. Ну, ладно. Раз в консерватории так считают, я, что же, я ничего...

Артист не реагировал.

— Ладно, Рома, давай еще по двести и споем.

— Не много будет тебе?

— Ты чего, Рома? Я свою дозу знаю. Гитарку вашу можно взять, Сергей... по отчеству, извините, не помню?... А?

— Не надо, не надо, — Кудрявцев быстро погасил пожар, — заматавшийся в мгновенно открывшихся глазах Отрадного, пожар, который, кажется, вот-вот готов был расплавить дорогую золоченую оправу его очков. — Не надо. У меня есть гитара.

Он метнулся в кухню и, через секунду, вручил Лекову двенадцатиструнный инструмент.

— Специально купил, — сказал Роман. — Как, ничего?

— Говно, — коротко ответил Леков. Отрадный усмехнулся.

— Говно, — повторил Леков. — У нас хороших гитар на заводах не делают. Не умеют.

— Ну, ладно, — пожал плечами Роман. — Как-нибудь с тобой походим по Москве. Поможешь выбрать...

— Если только по коммиссионкам — сказал Леков. — Ладно, сыграем пока и на этой...

С дивана, на котором восседал артист донеслось какое-то сдавленное



шипение.

— Последняя песня, — объявил Леков и быстро налил себе полстакана водки. — Называется «Время Богов».

— Можно водки выпить? — глухо спросил Отрадный.

— Конечно, — Кудрявцев быстро поднес артисту требуемое. — И огурчик возьми, Сережа, огурчик.

— Спасибо.

Отрадный залпом выпил водку. Леков, наблюдавший за ним с гитарой в руках, одобрительно кивнул.

— Ну, понеслась, — сказал он, когда артист прожевал и проглотил крохотный, крепенький соленый огурчик.

\*

Отрадный потянулся за сигаретой, его качнуло и он вляпался растопыренной ладонью в блюдо с крупно нарезанными помидорами. Очень серьезно рассмотрев свои, вымазанные в розовой помидорной каше пальцы, артист, не найдя салфетки, потащил из кармана брюк носовой платок, попутно заляпав и черную рубашку и, собственно, брюки, умудрился окропить скатерть и накапать на пол.

— У тебя гитара...

Язык артиста заплетался, лицо покраснелось и покрылось капельками пота. Кудрявцев наблюдал за именитым гостем с видимым удивлением. Прежде он не видел Отрадного в подобном состоянии.

Артист, конечно, выпивал. Но никогда — по крайней мере последние несколько лет — никогда и никто не видел его пьяным. Может быть, только родные и близкие, дома, ночью... В общественных же местах артист старался (и у него это получалось) выглядеть образцом трезвости. Живым символом здорового образа жизни. Раньше, в молодости, конечно, всякое бывало. Но за те несколько лет, которые сделали артиста популярным, и не просто популярным, но по-настоящему знаменитым, едва ли не символом поколения, которое он перерос давным-давно — за эти годы артист успел так мощно «засветиться», дать такое количество журнальных, газетных, а, главное, теле-интервью, такое количество концертов, выпустить столько пластинок, что иначе, как трезвенником и борцом за нравственность и чистоту искусства его уже никто и не воспринимал.

Он пел романсы на стихи русских поэтов, записывал народные песни, арии из итальянских опер, сам писал — и очень много — концерты артиста

длились иной раз часа по три.

Он добился того, что в консерватории ему разрешили вести, правда, факультативно, уроки рок-вокала. Он считался первым и главным советским рокером, его, несмотря на сравнительную молодость, называли «дедушкой русского рока». Он застолбил этот участок и надеялся разрабатывать его до конца дней своих. При этом он не являлся циничным хапугой, а во всех своих убеждениях был искренен. Но то, что он услышал сейчас — от пьяного, грязноватого и грубого ленинградского парня, совершенно неизвестного самоучки с немывтыми руками и обломанными ногтями на пальцах, матерщинника и, бездельника — повергло артиста в глубочайшее смущение.

Он старался не терять лицо и не впадать в видимый посторонним восторг, но он, все-таки, был профессиональным музыкантом. И он был потрясен.

— Слушай, это... Вася, — вспомнил артист имя гениального самородка. Вася... У тебя гитара... Как-то странно строит... Точнее, не строит...

Отрадный икнул и задел рукой бокал с водкой. Бокал упал и замочил брюки артиста.

— Я на тон опускаю, — сказал Леков, шаря рукой за воротом свитера девушки Наташи, которая после прослушивания пяти песен в исполнении пьяного хулигана впала в совершенно зомбическое состояние и когда Леков, отложив гитару, поманил ее пальцем она подошла и молча устроилась на его коленях.

— На тон опускаю, — повторил Леков, найдя, наконец, пальцами соски девушки Наташи. Она, впрочем, даже не дрогнула. — Струны легче... — Он крутанул правый сосок. Девушка Наташа тихонько завывала. — Струны легче прижимать.

— Ну...

Отрадный решил качнуться на стуле и едва не завалился на спину Кудрявцев придержал начавшего падать назад артиста за плечи и вернул в исходное положение.

— Ну, по-моему, не совсем на тон... У меня абсолютный слух.

— А кто его знает, — рассеяно сказал Леков, начиная шарить второй рукой между ног девушки Наташи. — Может и не на тон. У меня — не абсолютный. Может, промахнулся... Какая разница?

— Не скажи... Не скажи... Василий, тебе бы поучиться... Цены бы тебе не было. Ты отличный музыкант... Вернее, можешь стать отличным... У тебя школы нет. Школы не хватает...

— Да брось ты, — сказал Кудрявцев и снова придержал за спинку стул Отрадного, который сделал еще одну попытку качнуться. — Брось. Всего ему хватает. Самобытное такое исполнение... Это же чистая энергия...

Леков поморщился. Девушка Наташа взвизгнула — пальцы Лекова расстегнули молнию на ее джинсах и теперь блуждали по резинке трусиков.

— Ненавижу это слово, — сказал Леков, быстро укусив девушку Наташу за ухо. — Энергия... Бред собачий. Никакой нет энергии...

Из уха девушки Наташи потекла кровь.

— Бред, говорю, — повторил Леков, укусив девушку Наташу за другое ухо, которое она с удовольствием ему подставила.

Девушка Наташа закатила глаза.

Отрадный, не услышав его замечания, продолжал:

— Школа... Это — главное. Это — выход на мировой уровень. Скоро все изменится.

— Уже меняется, — убежденно сказал Кудрявцев. — Горбачев пришел теперь все будет круто меняться. Мне сказали люди, ну, ты Сережа, в курсе...

— Да, да, — важно кивнул Отрадный.

— Ну вот, мне сказали, что Горбачев еще себя так покажет — мало не будет. Никому мало не будет. Все перевернет. Там, в ЦК готовятся уже. Интриги плетут. Он не так прост, как кажется, Горбачев. Ему палец в рот не клади.

— Да, ты что, Рома?!

Леков выдернул руку из джинсов обливающейся кровью девушки Наташи, поковырял пальцем в носу и снова запустил ладонь в расстегнутую ширинку своей пассивности.

— Какая, разница — Горбачев — не Горбачев?

— Ну, Василий, твои политические пристрастия нам известны.

— Не известны они вам!

Девушка Наташа начала медленно сползать с колен. Лекова, когда его пальцы вонзились туда, где находилось самое святое, самое заветное. Девушка Наташа была девственницей.

— Да ладно, ладно...

Кудрявцев, наблюдая за манипуляциями Лекова, криво усмехнулся.

— Ты ведь на империи тащишься...

— Да? — встрепнулся Отрадный. — В самом деле?

Леков встал, при этом девушка Наташа рухнула на пол и осталась лежать под столом, судорожно подергивая ногами и жалобно скуля.

— Пошли гулять, — сказал Леков. — А, товарищи мои? Пойдемте на улицу! Такая ночь клевая.

Он посмотрел на пустые водочные бутылки.

— Все равно еще бежать. Пробоздимся вместе... Я люблю Москву ночью. Особенно летом. Красота...

— А мне очень нравится Петербург, — начал Отрадный. Язык его заплетался, глаза за стеклами очков смотрели в разные стороны. — Вы, питерцы, вы не цените того, что имеете. Москва... Москва — это с-с-су-у-масшедший дом, — с видимым усилием закончил он фразу.

— Да ладно тебе, Сережа, — махнул рукой Леков и наклонился к копошащемуся под столом телу.

— Слышь, девушка! Подъем! На прогулку!

Девушка Наташа вылезла из-под стола, провела обеими руками по длинным густым волосам и, краснея, оглядываясь на Кудрявцева и Отрадного, послушно побрела в прихожую.

— Как ты ее, однако...

Кудрявцев плотоядно улыбнулся.

— Как ты ее окрутил. Без единого слова. Гипнотизер ты, Василий. Экстрасенс.

— Да перестань, Рома. Чего ты, в самом деле? Девчонка — что с нее возьмешь?..

Отрадный встал со стула, его качнуло вперед и, если бы Кудрявцев в очередной раз не придержал его — на этот раз, за талию — рухнул бы прямо на стол.

— Слушай, Сережа, может быть, тебе отдохнуть? — спросил артиста Кудрявцев.

— Не-е!

Отрадный поводил перед носом Кудрявцева длинным пальцем.

— Не-е... Я пойду гулять. Мне нужно поговорить с Васей. Я хочу его учить.

— Пошли, пошли. — Леков шагнул к прихожей. — Пошли, Рома. Меня сейчас учить будут. Пошли. Учиться, как это?.. Никогда не поздно. И никогда не рано. Пошли.

\*

— Смотрите, какие дома! Какая мощь! — говорил Леков идучи по ночному Кутузовскому проспекту. — А ты говоришь — «Горбачев»!

Он остановился и взял Кудрявцева за рукав.

— Вот это — настоящее. Ужасное, отвратительное. Но — настоящее. Я все это ненавижу и, одновременно, люблю. Восхищаюсь! Вот она, советская музыка! Русская музыка!

Леков покрутил по сторонам головой и широкими шагами двинулся дальше по проспекту.

— Кстати, — вмешался Отрадный, слегка протрезвевший от погожего, свежего ветерка, гуляющего по июльской Москве. — Кстати, вот о чем я хотел поговорить...

— Ну? — очень невежливо бросил Леков. В отличие от артиста, Леков не то, чтобы опьянел еще больше, но странно напрягся, озлобился и тащил девушку Наташу, вцепившуюся в его локоть, не обращая внимания на то, что она семенит за ним спотыкаясь и, едва ли, не падая.

— В твоих песнях, Вася, совсем нет русских интонаций...

— А какие есть?

— Да, я не понял, честно говоря... Очень эклектичная музыка... Вот, я поэтому и говорю, что тебе нужно заняться теорией... Русская песня — это же такой кладезь... Тебе нужно изучать историю музыки, чем больше будет багаж...

— Не нужен мне никакой багаж, — отрезал Леков.

— Нет, ты не прав... Ты сможешь использовать приемы, которые уже давным-давно открыты... Это не значит — копировать... Просто ты изобретаешь велосипед... Ты очень способный парень...

Леков мерзко захихикал.

— Нашел себе парня... Какой я тебе парень?

Леков снова остановился, причем девушку Наташу занесло вперед и, если бы ответственный Кудрявцев не подхватил ее под руки, она бы наверняка упала на асфальт и, вполне вероятно, серьезно пострадала.

— Что ты мне вешаешь про этот вонючий русский дух? Все уже пропахло портяночной вонью... И это, — Леков схватил артиста за ворот. — Это только начало. И ты, ты, композитор, ты, лауреат премии Ленинского комсомола, ты эту заразу тащишь на сцену. Ты ее разносишь по стране!

— Что такое? — возмутился Отрадный. Он был на голову выше Лекова и тяжелее килограмм, как минимум, на двадцать, поэтому легко отпихнул обнаглевшего самодеятельного музыканта. Леков отлетел в сторону, но Кудрявцев, с проворством хорошего футбольного вратаря, фиксируя правой рукой девушку Наташу, левой поймал своего товарища и удержал в вертикальном положении.

— Все эти ваши «Песняры», все эти «Ариэли»... Все это...

Леков сморщился и плюнул на асфальт.

— Это не русская музыка. Это развесистый, разлюли-малинистый блатняк. И ты, артист, ты свои заунывные рулады валишь со сцены, называешь это «корнями», как и все вы... Ты, мать твою, дедушка русского рока... Какой, там рок? Рок — это свобода, это, как ты говоришь, искусство. А знаешь ты, композитор, главное правило любого искусства? А?

Отрадный молчал, тяжело дыша.

— Знаешь? Главное правило искусства — отсутствие каких бы то ни было правил. Понял?

— Козел ты, — переведя дыхание сказал Отрадный. — Рома, я не знал, что твои друзья такие мудаки. Я его хотел, урод, завтра в студию отвести. Хотел его продвинуть... А теперь — пошел он в жопу. Пусть сидит в своих подвалах. Со своей сраной самодеятельностью. Я хотел ему, — он посмотрел на Кудрявцева. — Я хотел ему открыть Москву. Хотел вывести в люди. Подумаешь, блядь, спел три песни... Кроме этого надо еще столько всего... Одними песнями ты себе, идиот, дорогу не проложишь...

— Дорогу куда? — ехидно спросил Леков. Он уже успокоился и стоял, посмеиваясь, чиркая зажигалкой, прикуривая сигаретку и косясь на девушку Наташу, безвольно висящую в руках Кудрявцева.

— Дорогу куда? — переспросил Отрадный. — Дорогу на большую сцену. Познакомить хотел с Лукашиной...

— Вот, счастье-то! — хмыкнул Леков. — Еще мне только не хватало с Лукашиной дружбу водить.

— Ладно, кончайте вы. Пошли в магазин, — Кудрявцев попытался остановить перепалку. — Покричали, и будет.

— Действительно.

Леков шагнул к Роману и принял у него девушку Наташу.

— Наталья! — обратился он к девушке. — Пойдем в магазин?

— Да, — пролепетала девушка Наташа.

— А потом? — спросил Леков. — Потом куда?

— Не знаю, — ответила девушка, блуждая взглядом по сторонам.

— Молодец! Вот верный ответ. А этот — «на большую сцену»!.. В гробу я видел вашу большую сцену. Я все знаю, что с вашей «большой сценой» будет...

— Ну и что же ты знаешь, пацан? — крикнул Отрадный. — Что ты можешь знать? Ты просираешь свою жизнь, не скажу — «талант», потому что у тебя его нет.

— Где уж нам, — со скукой в голосе отозвался Леков. Он уже двинулся по направлению к магазину и Кудрявцеву с Отрадным не оставалось ничего, кроме как присоединиться к молодым людям.

— Да, потому что талант подразумевает под собой не только владение инструментом... Не только умение писать... Это, прежде всего, огромная ответственность. И умение существовать в социуме... Ты можешь всю жизнь просидеть в полной заднице со своими способностями... Талант — это реализованные способности... А ты, вы все — вы не в состоянии реализоваться. Не в состоянии донести до слушателя то, что у вас есть... Если, вообще, есть.

— Ты зато в состоянии, — не оборачиваясь сказал Леков.

— Да, — начал было Отрадный, но Леков отмахнулся и крепче прижал к себе девушку Наташу.

— Да брось ты... Ты все что мог, уже сделал. И Лукашина твоя, великая певица земли русской... Все, теперь по инерции покатиться.

— Что покатиться?

— Ваше говнище...

— Да я тебя сейчас, щенок...

— Брек, — сказал Кудрявцев. — Василий, ты чего заводишься? Давай, кончай. А то водки больше не дам.

— Дашь, — строго вымолвил Леков. — Ты хороший человек, Рома. Ты не можешь не дать мне водки. А ваше говнище, — он снова посмотрел на Отрадного. — Ваше дерьмо покатиться по стране и все в нем утонет. Ты не смотри на меня так, не смотри. Не обижайся, вообще-то. Я, ведь правду говорю. А на правду чего на нее обижаться? Правда — она и есть правда. Против правды не попрешь. Точно, Рома?

— Ты о чем? — Кудрявцев пожал плечами. — Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.

— Я имею в виду, что господин Отрадный имеет в виду невиданный прогресс в области популярной музыки. Грядущий прогресс, конечно, так ведь, господин артист?

— Пошел ты, — огрызнулся Отрадный. — Тебе этот прогресс не грозит.

О-о! какая жалость! — воскликнул Леков. — Какая, блядь, жалость! Не попаду я в вашу тусовку! Не согреют меня огни большого города!

Он быстро крутанулся на триста шестьдесят градусов, обозревая окрестности. Девушку Наташу он при этом, каким-то хитрым образом, не выпустил из рук, она только качнулась и снова обрела равновесие.

— Только...

Леков понизил голос.

— Только не будет уже большого города. Была Москва большим городом.

Он махнул рукой на сталинские здания Кутузовского проспекта.

— Была... А скоро ничего от этого всего не останется.

— Это почему же?

Кудрявцев положил руку на плечо Отрадного, который снова хотел вступить в дискуссию.

— Подожди, Сережа. Так почему же, Василий?

— Потому что — ты говоришь — Горбачев... Не в нем дело. Дело в том, что империя себя изжила. Не Горбачев, так кто-нибудь другой даст первый толчок. И все рухнет. Все. Но мне начхать. Мне это даже интересно, Мне это нравится. Но — этого самого искусства, о котором так долго говорили господа прогрессивные композиторы — его не будет. Вы, композиторы хреновы, — он снова обращался к Отрадному. — Вы почву подготовили. Своими псевдорусскими стенаниями. Своими проститутскими песнями.

Леков перевел дыхание. Девушка Наташа внимала его словам с благоговением, сходным с религиозным экстазом.

— Вы все — шлюхи...

— Слушай, ты! — начал было Отрадный, но Кудрявцев снова не дал ему начать перепалку, начал что-то шептать в ухо артиста, от чего тот замолчал и даже начал улыбаться. Леков, тем временем, продолжил:

— Шлюхи, я сказал! Играете на власть... Все вы, вся ваша кодла прихвостни царские. Что вам прикажут, то и поете. Что разрешат — выставляете как свою заслугу. «Мы пробили»... «Мы протолкнули»... Лукашина эта ваша, мама, понимаешь... Подсадили всю страну на совковую пошлятину, на блятняк трехаккордный... Рома! Ты, вот, меня поймешь...

— Я понимаю, Василий, — начал было Кудрявцев, но Леков, увлекшись, не дал ему договорить.

— Империя рушится. Это историческая закономерность. С империями это, вообще-то, бывает. И что же будет? Люди привыкли быть нищими. Рухнут стены все кинутся разгребать обломки. Тащить к себе в конурки... Деньги станут главным и единственным законом. Ну, это, конечно, простительно. Несколько поколений нищих — изголодались, соскучились по денежке... Тем более, что вообще никто, почти никто не знает, что такое деньги... И вы, вы, проститутки, вы первыми броситесь за этими самыми деньгами. Легко будет. Народ будет просить калинку-малинку, а вам-то, с



вашей школой — чего не сбацать? И будете бацать, будете. Дедушка русского рока... Будешь «Мурку» петь, никуда не денешься. Все вы будете тюремную романтику наяривать с утра до ночи и с ночи до утра. Вот что будет! Понял, ты, композитор? Понял, какое светлое будущее тебя ждет? А Москва — Москва станет отстойником. Это судьба всех империй. Всех имперских столиц. Что сейчас с Питером? Отстойник Российской Империи. А Москва станет помойкой Советской Империи. Это наверняка, это я точно знаю.

— Откуда же ты это знаешь? Видение было? — спросил Кудрявцев.

— Да, — серьезно ответил Леков. — Не веришь?

— Ну, почему... Всякое в жизни случается.

— Это точно. Так что, огнями этого, — Леков показал подбородком на Триумфальную арку, — огнями этого небольшого города меня не соблазнишь.

— Да кому ты нужен, — снова начал Отрадный и осекся.

Леков вдруг побледнел так, что лицо его почти засветилось в полумраке ночного проспекта, губы сжались, пот на лбу не то, что выступил, а полился ручьями. Девушка Наташа отшатнулась — кавалер сделал какое-то неловкое движение рукой. Почти оттолкнув девушку Наташу в сторону, схватился освобожденными руками за живот, согнулся, разогнулся и, закатив глаза, повалился на бок, звонко стукнувшись виском о теплый, не успевший остыть от дневного жара асфальт.

— Что такое? — крикнул Роман, бросаясь к лежащему без движения товарищу. — Василий! Что случилось?

Кудрявцев присел рядом с Лековым, одной рукой поднял его голову, другой стал искать пульс на шее.

— Мать вашу! — крикнул он через несколько секунд. — Пульса нет! Сережа! Скорую, быстро! Звони! В автомат! Наталья! Лови машину! Пулей!

Девушка Наташа с ужасом смотрела на лежащего Лекова и не двигалась с места.

## Глава 5. Сила и слава

*Нам с тобою повезло в отношении всего.*

*(Панов)*

*Если ты не хочешь быть никем, то не будь никем. А если не можешь быть никем — не залупайся.*

*(Панов)*

— Как я ненавижу праздники, если бы ты знала! А, особенно, — восьмое марта. Мерзее и придумать ничего себе нельзя. Мужики, эти мужики... Нет, я не пидор, пойми меня правильно. Но мужиков этих терпеть не могу. Меня от них тошнит. Как они с этими светящимися лицами, да, какими, там, лицами — с рожками, красными от водки, как они улыбаются, уроды, в очереди за мимозами... Это такая пошлость, я сказал — «тошнит» — соврал. Не может меня тошнить. У меня сводит скулы, мне рта не открыть. Я только мычать могу. Когда вижу эти толпы с их мимозами! Да ладно, восьмое — а, вот, седьмое — предпраздничный день... «Короткий день». На работе начинают бухать — причем, и дамы тоже. Ну как так можно? Это как же нужно свою работу ненавидеть, чтобы придти туда, и не работать, а жрать водку? Я не понимаю, просто не понимаю! И слинять пораньше — и кайфовать от этого. Так зачем на нее, на работу эту вообще ходить, если главное желание — слинять? Я не понимаю... Я, вот, не хочу на работу ходить, так я и не хожу. Уже много лет. Я делаю то, что мне нравится. Я работаю больше, чем десять этих работяг вместе взятых.

— Странно, Саша.

— Что — «странно»?

— Странно видеть, как люди меняются.

— А что такое? Ты кого имеешь в виду? Меня?

— А кого же? Ты, как закодировался, таким стал...

— Каким?

— Занудой ты стал, вот что. Полным занудой. Иногда слушать тебя тошно.

— Не слушай. Люди меняются, это ты верно сказала. Не меняются только олигофрены. А нормальные люди растут. И приоритеты со временем

тоже...

— И я уже для тебя не приоритет, да? У тебя другие теперь приоритеты? Познакомишь?

— Познакомлю. Обязательно познакомлю.

— Ага. И я тебя со своими познакомлю. У меня тоже теперь есть новые приоритеты.

— А то я не знаю! Иди, катись к своим мужикам. Веселись. А я пока пахать буду. Денежку зарабатывать.

Огурцов резко встал из-за стола, брезгливо взял пустую тарелку из-под только что съеденного им супа и швырнул ее в раковину. Тарелка не разбилась, но звякнула, скрипнула, проехавшись по металлу мойки, и затихла, напоследок обиженно булькнув, захлебываясь тонкой струей воды, льющейся из неплотно закрытого крана.

— Бей, бей посуду. Бей. И меня можешь побить. Пожалуйста. Ты же у нас в доме хозяин.

— А что? Может быть, ты?

— Да что ты, милый. Конечно, ты у нас знаменитость. Ты у нас сильный. Ты у нас...

— Да, да, да. Я не жру водку каждый день. Посмотри, сколько я всего сделал за последние годы! Да, я меняюсь! А что с теми стало, кто не меняется? Во что Леков превратился? Бомж натуральный! Ты этого хочешь? Конечно, зато он не зануда! С ним весело! Нажраться пивом с утра, потом водочку херачить до полного отруба! То-то жизнь! То-то веселье!

— Дурак ты.

— Слушай, Таня...

Огурцов, уже собравшийся, было выйти из кухни, повернулся к жене.

— Таня, я не пойму тебя... Не было у нас денег — плохо. Я виноват. Я лентяй. Я — бездельник. Теперь — хочешь квартиру — на тебе квартиру. Хочешь машину — вот тебе машина. Хочешь пятое-десятое — получи и пятое и десятое и, в довесок — двадцатое и двадцать пятое. Бонусом. Опять плохо. Когда тебе хорошо-то будет? А? Когда? Что мне сделать еще? Обосраться и не жить?

— Дурак.

Огурцов молча повернулся и направился в прихожую. Таня появилась в коридоре в тот момент, когда он, надев пальто, зашнуровывал ботинки. Черт бы подрал эти шнурки круглого сечения. Вечно так — наденешь обувь, завяжешь узелки, пальто натянешь, шаг сделаешь — и снова наклоняться приходится, уже при полном параде. И контрольные узелки

вязать. Кто только эту мерзость изобрел?

— Ты куда собрался?

Огурцов молча возился со шнурками.

— Далеко, я тебя спрашиваю?

— А что? Это принципиально?

Огурцов выпрямился и отодвинул засов на двери. Засов противно взвизгнул, царапая металлом по металлу.

— Давай, давай. Проветрись. Тебе это полезно.

— Пошла ты, — сквозь зубы прошипел Огурцов и, что было сил, хлопнул за собой тяжелой железной дверью.

Спустившись двумя этажами ниже он понял, что оставил дома ключи от машины. И от квартиры, собственно.

И черт с ними. Бумажник на месте, паспорт всегда при нем — в пиджаке. Как-нибудь и без ключей проживем.

Куда пойти? Ночь на дворе.

Так это еще и лучше, что ночь. Днем шастать по невавскому пешком — мука смертная. А на машине — так еще хуже. Пешком — можно, хотя бы, в «Катькин садик» свернуть, на лавочке посидеть.

К нему, к Огурцову, отчего-то пидоры, что в садике болтаются круглые сутки, не пристають. Мимо проходят. Вот и хорошо. А то бывает, что Огурцов в таком настроении в садик всему городу известный заходит на лавочке посидеть, что может и морду дать пидору наглому. А среди них много ребят крепких, вполне за себя постоять способных, вообще, пидор нынче не тот пошел, что прежде. Прежде-то они запуганные были, по туалетам вокзальным прятались, чуть что — в бега, ищи, милиция, свищи его, пидора, пока головой будешь крутить, милиция, да меня в толпе приезжающих и провожающих высматривать его, пидора, уже и след простыл.

Отсидится потом пидор, в гостях милых, у людей приятных во всех отношениях, залижет раны душевные и снова на Невский. Робкий тогда был люд, представляющий сексуальные меньшинства, тихий и какой-то нежный.

А сейчас что? Расплодились с невиданной скоростью, словно китайцы или индийцы, ходят толпами по проспекту, глазами алчными до плотских утех косят по сторонам. Обнимаются, целуются. И парни все накачанные, с мордами наетыми, жизнерадостные, не боящиеся никого и ничего.

Но к нему, к Огурцову, однако, ни разу не лезли. Было в нем, наверное, что то ущербное, какая-то патология скрытая. Или запах неправильный он выделял, на который пористые пидорские носы не реагировали. Поэтому и

любил он в «Катькином садике» посидеть, носком ботинка по гравию повозить, сигаретку-другую выкурить, молодость вспомнить.

Потом встать, плюнуть в сторону запруженного народом Невского и по переулку Крылова, мимо ОВИРа, в котором свой первый заграничный паспорт получал — какое волнение было, какой трепет душевный он испытывал, сколько адреналина было в его кровь выброшено смущенным и напрягшимся, готовым к бою организмом, пока битых два часа слушал Огурцов истории, рассказываемые соседями по очереди. Очереди за счастьем. За документом, открывающим путь в огромный и прекрасный мир.

Теперь половина его знакомых и друзей живет в этом Огромном и Прекрасном, и сам он там, в этом Прекрасном и Огромном побывал. Поездил, водки с пивом попил, марихуаны покурил, поглазел на достопримечательности Огромного и Прекрасного. Амбиции не дали только остаться там, далеко, по ту сторону океана.

Европа сразу отпала — слишком близко. Ощутимо близко, а хотелось оторваться, хотелось преграду выстроить между осточертевшим «совком» и собой, забыть навсегда и все пути к возвращению отрезать.

Амбиции, будь они неладны.

А другие, ведь — живут по сю пору — и ничего. Вполне довольны. Кто поваром на Манхэттене, кто маляром, деньги друг у друга занимают, что, вообще-то, там не принято. Но — довольны.

И Дюк доволен.

В лесу живет, на отшибе, говорит, что никакой у него тут Америки нет в радиусе двадцати миль. И вообще никакой страны — есть только владения сорокапятiletнего хиппи Марка, который наследство получил да и прикупил участок в глухом лесу.

Вокруг фермы Марка поселились его старые друзья по Вудстоку — тоже люди все не бедные.

Дети — цветы. Уходили в свое время, в конце шестидесятых из домов своих обеспеченных родителей, мотались по миру — от Индии до Австралии и от Тибета до России с заездами в Европу. Многие не выдержали тягот и лишений общинной жизни, вернулись в офисы и университеты, кое-кто помер от передозы или экзотических европейских болезней, а часть — вот такие, как Марк и его товарищи дождались благополучной кончины престарелых родичей и оказались владельцами состояний, что сколачивались долгие годы трудолюбивыми, патриотичными и набожными отцами.

Марк и его соседи жили исключительно своим трудом. Так, по

крайней мере, считалось.

Возились в земле, сажали огороды, пахали, сеяли, били зверя в глухом лесу — от вегетарианства уже давно отошли древние хиппи, баловались ружьишками. Возводили теплицы, цветы сажали, торговали этими цветами через Интернет.

Если ломался у Марка, к примеру, трактор, то он просто снимал со своего наследного счета деньги и через тот же Интернет спокойно покупал новый. Понятно, что трактор доставляли поставщики — Марку даже в городе ездить не приходилось, хотя пара машин у него были — старенький, но мощный джип и форд для деловых поездок, которые, с появлением в его доме хорошего компьютера случались не часто.

Дюк снимал Марка домишко о двух этажах, на отшибе участка, вырубленного в лесу.

Огурец гостил у старого приятеля, выходил перед сном на улицу и часами глазел в бархатную тьму леса. Такой тишины он не слышал никогда и нигде. Ни на подмосковных дачах, ни на Карельском перешейке, ни в Сибири, ни, уж, тем более, в Крыму или на Кавказе.

Тишина медленно текла из невидимого леса, заполняла лощинку, в которой стояла ферма старого хиппи Марка — заполняла с верхом. Огурцов физически чувствовал, что стоит на дне глубокого черного пруда, даже движения его рук в тот момент, когда он решал прикурить очередную сигарету были замедленны, затруднены, словно он проделывал свои манипуляции под водой.

Ни звука не раздавалось из-за стены деревьев, вплотную подходящих к дому Полянского. Но он уже знал, что тишина эта обманчива. В черном безмолвии бродили олени, еноты, какие-то граундхоги, живущие только в этом полушарии, иногда, рассказывал Полянский, и медведи захаживали. Как это они умудрялись передвигаться совершенно бесшумно, было Огурцову решительно непонятно. Ни веточка не треснет, ни трава не зашуршит. Да еще — медведи. Сказки какие-то. Тут город недалеко — двадцать миль... И вообще — Америка. Цивилизация. Хоть и глухомань, конечно, жуткая, но, все-таки.

Когда в словах гостя появлялась ирония, Полянский спрашивал его, мол, как ты думаешь, зачем мне собачка? Ну как это, пожимал плечами Огурцов. Дом охранять.

А от кого здесь мне дом охранять, снова задавал вопрос Полянский. Здесь частная территория. Сюда никто не сунется. Опасно для жизни. Марк и выстрелить может, несмотря на то, что хиппи. У него оружия — полон дом. А собачка у меня на пороге ночами спит, если медведя учует — сразу

вой подымет. Или там — лай.

А это видел, — спрашивал Полянский и показывал новенький «Винчестер». Что ты думаешь, говорил, я карабин боевой купил, чтобы по банкам консервным стрелять? Мало ли — мохнатый забредет, так выбора не будет. Либо я его шугану, либо он меня. Впрочем, мы с Марком, да с его арсеналом, да с этой игрушкой — он взвешивал «Винчестер» в руках, как-нибудь отобьемся. Медведь это, ведь, не КГБ, против которого и вправду ни карабин, ни лом, ни топор, что бы там Солженицын не писал — никакое оружие не работает. Не получается. А медведь — это для меня после «совка» — так, легкое приключение.

Вечерами, когда было еще не совсем темно, Огурцов, сидя на завалинке наблюдал, как на ближайшие деревья карабкались, срываясь иногда на нижние ветки, тяжело взмахивая крыльями и неуклюже лавируя пышными длинными хвостами павлины.

Это было настоящим откровением — узнать, что павлины ночуют на деревьях. Застывают на такой высоте, где ветви еще могут, хоть и опасно прогнувшись, удержать вес их массивных тушек и висят там всю ночь неподвижными черными сгустками.

Павлинов, в приступе сентиментальности купил Марк. Когда Полянский спросил его — зачем? — Марк ответил — чтобы больше было похоже на рай.

За день до отъезда на родину Огурцов и Полянский гуляли по этому раю, остановились возле водопада — ровная стальная полоска лесной речки резко обламывалась под прямым углом и, дробясь на бесчисленное множество осколков, летела вниз, на огромные серые камни, взлетала блестящим бисером брызг, и продолжала свой путь уже в другом качестве — бурля и пенясь, шипя, извиваясь, стремилась вниз туда, где в низине развалился лениво небольшой, уютный и стандартный, как дешевый диван, обыкновенный американский городок.

Огурцов достал из кармана паспорт, проверил, на месте ли обратный билет и заметил усмешку на лице Полянского.

— Ты чего? — спросил он.

— Холишь и лелеешь?

Улыбка на лице Полянского стала шире.

— Краснокожую свою паспортину, говорю, холишь и лелеешь?

— Да нет, просто проверил...

— А слабо сейчас ее порвать и в речку?

— То есть? — не понял Огурцов.

— То есть, взять и жизнь свою изменить. Причем, как мне кажется, в

лучшую сторону.

— Нелегалом. Что ли, тут остаться?

— Человеком. Свободным человеком. Начать новую жизнь. Вместо одной жизни прожить две. Может быть, вторая и будет трудной, хуевой... Несчастной. Хотя, здесь это вряд ли, рай ведь. Павлины... Но, в любом случае, у тебя их будет не одна, как у большинства людей, а две. А? Что скажешь?

Огурцов молчал. Он знал, что и Полянский пять лет жил в Штатах на нелегальном положении. Знал он и то, что все в руках человека. Знал также, что если чего-то сильно хочешь, то обязательно получишь желаемое. Хоть грин-карту, хоть домик в деревне. Хоть «Мерседес» или еще что. Нужно только очень хотеть.

— Нет, Леша. Я поеду к себе. У меня же там работа, и вообще, не так уж там страшно, как прежде. Жить можно.

— Ну-ну, — хмыкнул Полянский. — Приезжай к нам еще. Мы гостям всегда рады.

Он плюнул в водопад.

— Пошли обедать, — сказал тот, кого в Ленинграде называли Дюком странно заикнувшись, словно слезы проглотил. И, быстро повернувшись к Огурцову спиной, зашагал по густой траве в сторону дома.

\*

Он посидел на лавочке в «Катькином саду». Выкурил две сигареты. В последнее время много стал курить. Две пачки в день — норма.

А Полянский, вот, в Америке не курит. И за те десять лет, что они не виделись, почти не изменился. Потолстел, порозовел, разве что. И, что удивительно, ростом выше стал. Не вырос, конечно, в наши годы не растут. Позвоночник распрямился. Перестал товарищ к земле голову клонить. Гордо на мир смотрит из своего леса.

Огурцов сегодня, перед тем, как покинуть родной дом, зашел в ванную и посмотрел на себя в зеркало. Просто так. Мешки под глазами, отеки, хоть и не пьет уже несколько лет, а вид — краше в гроб кладут.

Черт с ним.

Выбросил сигарету на гравий, встал, шагнул в сторону ненавистного Невского.

«В клуб „Зомби“ пойду, — решил он. — По старой памяти. Там, кажется, сегодня „Вечерние Совы“ работают. Вот и послушаем, чего эти



девчонки могут. А то разговоров вокруг этой группы просто шквал».

Огурцов никогда не слышал «Вечерних Сов», равно, как и большинства современных, молодых групп. Неинтересно. Посмотрел пару раз «МТВ», заскучал и не то, чтобы крест поставил на подобного рода развлечениях, а просто равнодушно отвернулся от бесперебойно работающей, не останавливающейся ни на секунду конвейерной ленты шоу-бизнеса. Он всегда не любил все, что связано с заводами. И пролетариат не любил. Юные же дарования, одно за другим выкатывающиеся из цехов по выковыванию сценических героев ничего, кроме завода имени Ленина, на котором он трудился в ранней юности, ему не напоминали. На заводе имени Ленина тоже производили блестящие, красивые металлические агрегаты — с виду — загляденье. А в цехах — грязь, вонь, мат-перемат и тупость в разговорах и глазах товарищей по работе. Не любил Огурец ничего, чтобы напоминало ему заводы. В любой форме. Хоть тебе «MTV», хоть современная детективная литература, хоть Государственная Дума. Тот же конвейер, те же стандартные операции и тот же, заранее известный, запланированный и рассчитанный инженерами результат.

Клуб «Зомби», который Огурцов помнил еще по началу девяностых, пьяных и бессмысленных, теперь превратился во вполне респектабельное заведение с опостылевшим уже бильярдом на втором этаже, с неплохим баром и средней, но вполне приемлемой кухней, с удобными столиками и уютным светом.

Концертный зал располагался ниже, в первом этаже и, пожалуй, самой большой находкой дизайнеров и строителей была отличная звукоизоляция — если кому-то не нравилась группа, играющая на первом этаже, он спокойно мог подняться на второй и мгновенно забыть о том, что творится внизу.

Огурцов, заплатив охраннику несколько червонцев, сразу прошел в зал и через десять минут уже сидел в верхнем кафе.

Группа была в точности такой, какой он представлял ее себе еще не слыша, собственно, музыки, а исходя из рассказов приятелей. Безголосые девчонки, бубнящие убогие, часто игнорирующие правила русского языка тексты, примитивные гармонии, отсутствие мелодий и слабое исполнение. Все это, впрочем, было в современной отечественной музыке в порядке вещей и такого рода коллективы пользовались большой популярностью.

В кафе было лучше. Из нескольких задрапированных колонок, развешанных по стенам доносилась музыка. Тоже, не бог весть что, но, все-таки, мелодия, игра, качество европейское. Эрик Клэптон — поздний.

Огурцов тяжело вздохнул, посмотрел с завистью на сидящих за соседними столиками девушек — в первую очередь, потом — на юношей — все они пили пиво, коньяк или элементарную водку и заказал себе кофе.

«Хорошо бы сейчас нажраться», — подумал он, прихлебывая «Эспрессо». «Вон с той девушкой, длинноногой. Нажраться, начать анекдоты рассказывать, за бока ее хватать. А потом — к ней поехать. Или, собственно, в гостиницу. Денег на гостиницу хватит. Почему нет? Да только у нее, наверняка дома папа с мамой, в гостиницу она с незнакомым мужчиной потасканного вида не пойдет, а мне пить нельзя. В бильярд, что ли, попробовать. Да ну его на хрен.»

— Позвольте компанию составить?

Низкорослый, плечистый мужичок с очень ухоженным лицом, отличной стрижкой, распространяющий вокруг себя запах хорошего одеколона вырос рядом со столиком Огурцова. Одет был мужичок в традиционный для бизнесменов и бандитов средней руки просторный черный костюм, белую сорочку и ботинки, почему-то из крокодиловой кожи. Ботинки никак не вязались с общим обликом странного господина. Огурцов быстро прикинул, что обувка эта стоит на порядок дороже, чем весь гардероб коренастого.

— Ради Бога, — лениво ответил он и отвернулся.

— Винцом не угостишь? — вдруг спросил мужичок, присевший напротив Огурцова.

— Что?

Саша удивленно повернул голову и уставился на странного соседа.

— Винца, говорю, не нальешь, бригадир?

Мужичок улыбался. Огурцов никогда не любил банальных фраз вроде «он улыбался, но глаза его оставались холодными». Ничего похожего. Человек, если улыбается — то улыбается всем лицом. Он может быть злобным типом, может радоваться несчастью другого, но если он радуется — то радуется. От души. А если «глаза оставались холодными» — то он и не улыбается вовсе. Так просто рожи корчит.

Сосед Огурцова улыбался. Искренне.

— Я не понял. Это вы мне?

— Огурец, слушай, короткая же у тебя память.

— Я, право, — забормотал Огурцов. — Я, честно говоря... Напомните пожалуйста. Извините...

— «Ленфильм» помишь?

— Ну...

Огурцов начал судорожно перебирать в памяти лица знакомых

режиссеров, актеров, светотехников, гримеров — несть числа лицам, которые он перевидал, пока трудился на киностудии.

— Э-э-э...

— Троллейбус-то забыл наш?

— Миша Кошмар!

— Михаил Васильевич, — корректно поправил его Миша Кошмар. —

Ну, наконец-то.

— Господи... ты изменился, Миша... Прости, Михаил Васильевич.

Огурцов вдруг почувствовал себя неуютно.

— Да и ты, Огурец, заматерел слегка. Был-то полным сопляком. А в людях вообще не разбирался. Сейчас, не знаю — может, насобачился... Хотя — вряд ли. Такому не учат. Такое либо есть у человека внутри, либо нет. И ни зона этого не даст, ни война, ничто.

— Да-да, — неопределенно протянул Огурцов. — А ты... То есть, вы, как сейчас?

— Что это — «как»?

— Ну, где работаете? Чем занимаетесь?

— Чем занимаюсь? Троллейбусы впариваю разным козлам, — ответил Миша Кошмар и вытащил из кармана пачку «Кента». — А если серьезно, то контора у меня.

— Контора? — Огурец еще сильнее ощутил уже почти физическое неудобство от присутствия этого неприятного ему гостя из прошлого. Явно криминальный тип. Мешает дышать. Нигде покоя нет — ни дома, ни в клубе... Только, разве, в «Катькином Садике». Да и то — покой относительный.

— Контора, — подтвердил Миша Кошмар. — А ты, я вижу, как был босяком, так и остался.

— Послушай, Миша...

— Михаил Васильевич, — снова улыбнувшись сказал Кошмар.

— Да. Конечно. Это все хорошо. Все замечательно. Я все помню, конечно. Только, Михаил Васильевич. Я сейчас не в настроении беседовать. Да?

Он постарался посмотреть на Кошмара так, как смотрели на врагов герои его романов — жестко, пристально, убедительно и т. д. и т. п.

Кошмар пожевал губами.

— Да... Другой бы кто так мне сказал — проблем бы огреб по самые «не могу». А тебя прощаю. Подельник, все-таки. Но ты не залупайся особенно, Огурец. А то, не ровен час, нахамишь незнакомому человеку и — пиши пропало. Ты же пишешь там чего-то? Как это называется?...

Писатель — инженер человеческих душ. Точно?

— Ну...

Огурцов никак не мог с легкостью произнести «вы» в отношении Миши Кошмара — бывшего беспаспортного, затюканного и замороженного какими-то своими микроскопическими проблемами разнорабочего с «Ленфильма», мужичка на побегушках, которым помыкали все и вся.

— Ну, в общем... Так, по-разному.

— Ладно, не крути тут. Я все про тебя знаю.

— Да? В самом деле?

— В самом, в самом. Ну что, по водочке, писатель? Ты меня не бойся...

«А я и не боюсь», — хотел сказать Огурцов, но осекся. Понял, что, в самом деле, боится этого непредсказуемого персонажа, который, как снег на голову свалился за его столик. И, судя по всему — и по нынешнему виду Миши, и по тому, как легко он тогда, пятнадцать лет назад его, Огурцова, руками украл с киностудии троллейбус, он мужик далеко не простой. И, что самое неприятное — опасный. Непредсказуемый. Черт его знает, в каком он сейчас статусе находится? Может быть, вообще, крутой бандит. А с крутыми бандитами Огурцов дела иметь не любил. И самих их, бандитов, тоже не любил очень сильно. Хотя и написал о них несколько книжек — книгами он сам никогда эти произведения не называл. «Мое личное средство против дефолта», — посмеиваясь говорил он приятелям и издателям, когда заходил разговор о его ранних детективных романах. Действительно, детективы помогли им с женой пережить трудное время, он даже получал денег гораздо больше, чем прежде, в благодатные и стабильные времена короткого додефолтного периода когда казалось, что жизнь в стране наладилась, что люди начали зарабатывать деньги без мордобоев, стрельбы, когда ушел в прошлое грубый уличный рэкет, незаметно исчезли с улиц бритые парни в спортивных костюмах, когда начал расцветать шоу-бизнес и издательское дело, когда большинство из тех, кто хоть что-то мог и умел делать, увидели перед собой некую перспективу.

— Не бойся, — повторил Кошмар. — Я тебя случайно увидел. Память-то у меня на лица — будь здоров. Никогда не жаловался. Вот и решил со старым знакомым водочки выпить.

— Так я, ведь, не...

— Ой, только не надо, не надо. Я не мальчик тебе. Защитый, что ли?

— Да нет, просто так...

— Просто так не бывает. Кодировался?

— Нет, говорю же... работы просто много, а я, как пить начинаю — так и все. Никакой работы.

— Ну, ты, просто меня удивляешь, бригадир. Помнишь, как на студии говорили — «Если водка мешает работе — брось!».

— Работу, — печально качая головой закончил Огурцов.

— Ну вот. Помнишь. Короче, давай, бригадир, за наш троллейбус. Я, ведь с тобой его так и не обмыл.

«Конечно. На меня все повесил и свалил, — подумал Огурцов. — А если бы прихватили меня — сидел бы я сейчас в этом кабаке? Вся жизнь могла бы обломаться».

— Не думай о грустном, бригадир, — словно прочитав мысли Огурцова сказал Кошмар. — Давай бутылочку раскатаем.

«Да что я, в самом деле? Дома — полный мрак, в голове пусто, жить не хочется... Из дому ушел... Миша этот ни с того ни с сего...».

— А давай, — сказал Огурцов. — Была — не была.

— Дело.

Кошмар махнул рукой и тут же перед столиком появилась высокая девушка в мини-юбке, которая вполне могла бы сойти за купальник. Кроме юбки на черноволосой, стриженной под мальчика официантке был так называемый «топик» — коротенькая маечка, заканчивающаяся сразу под увесистой, очень правильной формы и очень соблазнительной грудью.

«Ух ты, — пронеслось в голове Огурцова. — Может быть, этот Кошмар — он, действительно. Перст судьбы? Поворотный пункт в моей жизни? Сколько раз она уже менялась... И все время вот так — резко. Неожиданно и круто. И ничего со мной страшного не случилось. Все время вывозила нелегкая. Все, если разобраться, к лучшему складывалось».

— Вот что, милая моя, — говорил Миша Кошмар. — Ты нам водочки принеси, самой хорошей. Ну ты меня понимаешь.

— Конечно, Михаил Васильевич, — улыбнулась официантка.

«Так он тут свой человек, — удивился Огурцов. — Это и к лучшему. Если его тут знают, значит, все в порядке».

Он не мог мотивировать, откуда в его голове появился такой странный вывод, из каких предпосылок и логических выкладок, но, почему-то, был уверен в его справедливости.

— Ну и закусить там... Что у вас?

— Да все, как всегда, Михаил Васильевич.

— Ну вот и давай, Глаша, неси как всегда.

«Глаша?» — вздрогнул Огурцов. — «Глаша...».

Что за мистика? Сначала Миша Кошмар невесть откуда взявшийся,

теперь Глаша...

— Что, понравилась девочка?

— Да... То есть... Не в этом дело.

— Ох, бригадир, сложный ты стал человек. «Не в этом дело». В этом, милый, в этом. Проще надо быть и народ к тебе потянется. Какой с телкой может быть разговор? Либо понравилась, либо нет. Что еще?

Огурцов покачал головой. Конечно, не прост этот Миша Кошмар, ох, не прост. Но не объяснять же ему все.

— Ладно, не хочешь, не говори. А если понравилась, все-таки, скажи.

— Зачем? — быстро спросил Огурцов.

Кошмар хлопнул себя ладонями по коленям.

— Ну ты даешь... Видно, у вас, писателей, точно в головах полный бардак. Я, вообще-то, всегда так думал. Теперь убедился.

Бутылка «Родниковой» уже стояла на столе. Уже дымились жульены в блестящих металлических чашечках, уже матово блестели сочные с виду яблоки, груши, виноград в широкой низкой вазе, Кошмар уже наливал в рюмки, а Огурцов все никак не мог придти в себя.

«Эта ночь должна что-то значить. Не может она закончиться просто так».

— Давай, бригадир, за то, чтобы все у нас было.

Чокнулись.

Огурцов выпил — с опаской — несколько лет ничего крепче кефира, ведь, не употреблял.

Однако, водка прошла привычно, словно и не делал он долгой паузы, когда казалось ему, что и вкус водочный позабыл. Прошла и зажглась в животе горячий, светлой лампочкой с отражателем, поставленным таким образом, чтобы свет от этой лампочки был направлен в голову.

Кошмар сразу же налил по второй.

— Давай теперь за наш троллейбус. А, бригадир? У меня тогда трудный период в жизни был. Много денег должен был людям серьезным. И личные проблемы. В общем, пил, опустился... А деньги — знал, где взять, только время нужно было. Думаешь, я на этой студии работал за эту гребаную зарплату? Шухерился просто. Мимикрия — есть такое слово.

— Ну да, знаю.

— Конечно знаешь. Ты же писатель. Ты все должен знать. В общем, сваливать мне было нужно. Вычислили меня. А бабок не было — ну вообще. Я же не грабитель, не вор квартирный. Такими делами никогда не занимался. Вот, троллейбус наш мне и помог. Старт легкий дал. Выкарабкался, в общем. Ну, если бы не он, что-нибудь другое бы придумал.

Так что давай за то, что помог ты мне тогда сильно. Вперед, бригадир!

— Вперед, — Огурцов чувствовал как все его тело становится легким, послушным, ловким и сильным.

— Я тебя случайно увидел, — повторил Кошмар. — решил отблагодарить. У нас, — он сделал многозначительную паузу. — У нас принято за добро добром платить. Что ты думаешь по этому поводу, писатель?

— Я...

Огурцов вдруг вспомнил, что несколько лет уже исповедывал жесткий, как ему казалось, принцип — с бандитами не пить, подарков от них не принимать и дел совместных не вести. А Кошмар — явный бандит. Они, ведь, разные бывают бандиты. Могут и не убивать своими руками, и морды не бить, и, как, вот он говорит, в квартиры чужие не лазить. А один черт — бандиты.

— Я...

— Что, запаadlo, что ли? — весело спросил Кошмар. — Или боишься, все-таки?

— Ничего мне не запаadlo, — сказал Огурцов. — И не боюсь я. У меня все нормально.

— Ну, вот и ладушки, — сказал Миша. — Тогда на дачу ко мне поедem. Идет? Покажу тебе дачу свою. Увидишь, чего умный человек в наши дни достичь может.

«Хвастаться начал. Ну, точно, бандит. Из грязи в князи и — хвастать первому встречному — во какой я крутой. Во у меня всего сколько».

— Поехали, — сказал Огурцов. Авось, пригодится материал для какой-нибудь книги. Писатель иногда должен жизнь наблюдать непосредственно. На одной фантазии далеко не уедешь.

— Глаша, — крикнул Кошмар. — Глашенька, поди сюда, солнышко мое...

«Сон. Просто сон», — снова подумал Огурцов.

\*

— Глашка...

— Да?

— Почему мы с тобой раньше не встретились?

— Всеmu свое время. Мой приятель один так говорил — всякому овощу свой фрукт.

— Нет, это неправильно.

— Слушай, принеси чаю.

Дача у Миши Кошмара была двухэтажной, срытанной от дачных домиков небольшой березовой рощицей. Проехать к ней можно было только по узкой лесной дорожке, петляя и прыгая на ухабах.

«Ну и местечко выбрал Кошмар для своей резиденции, — думал Огурцов, мягко — благо джип был приспособлен к бездорожью — мягко взлетая и опускаясь на заднем сиденье. — Неужели не мог поближе к дороге человеческой. Не такой уж он и бедный, судя по всему».

— Люблю глухомань, — сказал хозяин джипа. Миша сам вел машину, несмотря на то, что изрядно, даже по меркам Огурцова, выпил в клубе.

Огурцову не впервой было ездить на машинах с пьяными водителями и он не особенно беспокоился по этому поводу. Судя по всему, Кошмар был водителем классным, не лез на рожон, не лихачил, не гнал по ночным пустым улицам, хотя и мог бы — деньги для штрафов у него были в достатке — это Огурцов заметил еще в клубе, да и машин на всем пути от клуба до дачи им встретилось крайне мало.

В предутренние часы накануне выходных ездить по городу — одно удовольствие.

А если человек отдает себе отчет в собственных действиях и головы не теряет — он может по пустой улице и пьяным проехать.

Но, на самом деле, Огурцов, на протяжении всего пути не думал ни о Кошмаре, ни о том, куда они едут и чем будут заниматься по прибытии на место. Он держал за руку Глашу — девушку из собственных снов, девушку, о которой писал новый роман, которую он никогда в жизни не видел, но знал лучше, чем кого бы то ни было в этом городе. Да и не только в городе. Он держал за руку девушку, о которой мечтал всю жизнь.

Глаша молчала, улыбалась, изредка тихо отвечая на замечания Кошмара, который справлялся о работе клуба, о посетителях — вопросы, как понимал Огурцов, были совершенно не обязательными, просто, видимо, Миша, как и многие водители, имел привычку разговаривать за рулем.

— Люблю глухомань, — повторил Кошмар, когда машина высветила фарами высокий дощатый забор. — Как-то в лесу, бригадир, спокойнее. Люди надоели, знаешь, устал от людей. Но не все. Ты на себя мои слова не примеривай. Мы с тобой сегодня отдыхаем. И девочка наша отдохнет. Уработалась там, в шалмане своем. Верно, Глаша?

— Да, — усмехнувшись ответила официантка. — Это точно. Устаешь там, в клубе.



— Ну, ничего, ничего. Все мы пашем, — заметил Миша и аккуратно направил джип в распахнувшиеся перед ним ворота.

Огурцов не успел заметить, кто же там манипулировал воротами, жизненный опыт подсказывал ему, что, наверняка, у такого человека, как Миша Кошмар на даче должна быть охрана. Но и это было сейчас неважно.

Они пили еще, сидя в гостиной на мягких кожаных диванах под Колтрейна, саксофон которого тихо пел из небольших, но очень дорогих колонок. Это тоже не удивило Огурцова — Миша Кошмар, тихий алкаш с киностудии, неожиданно превратившийся в авторитетного человека, явно связанного с криминалом — ну и что — вдобавок еще и меломан. Большое дело, С людьми и не такие метаморфозы происходят.

Миша стал грустен, видимо, алкоголь, заглушенный необходимостью вести машину, все-таки, взял свое.

— Пойду я спать, дети мои, — сказал он, когда Колтрейн сыграл последнюю композицию и на дисплее компакт-проигрывателя высветились цифры, показывающие, что диск кончился. — Пойду. А завтра погуляем, если хотите. Бригадир, ты свободен завтра?

— Да, — почти не услышав вопроса ответил Огурцов.

— Вот и славно. О делах давно минувших дней побеседуем. Пришелся ты мне, бригадир. Еще на студии. Впрочем, ладно, все — завтра. Глашенька, покажешь бригадиру, где ему спать лечь?

— Конечно, — ответила Глаша.

Когда они поднялись на второй этаж и Глаша, щелкнув выключателем указала гостю на широкую кровать, стоящую в небольшой, уютной комнатке, Огурцов молча взял девушку за руку.

— Ты ляжешь со мной? — спросил он напрямик, почему-то зная наверняка, что экивоки и намеки сейчас совершенно неуместны.

— Да, — просто ответила Глаша. — Если ты хочешь.

— Конечно хочу. Ты что, не поняла?

— Я поняла это еще в клубе.

— Глашка... Почему мы раньше с тобой не встретились?

\*

«Какая разница, где мы находимся, — подумал Огурцов через три часа, когда к нему вернулась способность думать о чем-то кроме глашиного тела. Какая разница — у бандита на даче, или еще где-то. И кто такой этот кошмар какое мне дело? Что все это значит по сравнению с любовью? Что

может быть важнее?».

— Когда мы с тобой увидимся еще? — спросил он у Глаши.

— Мы еще не расстались, — заметила девушка.

— Да... Я не хочу расставаться.

Глаша промолчала.

— Знаешь, это, наверное, звучит глупо, но у меня никогда такого не было. Смешно слышать это от человека, которому уже за сорок.

— Саша, ну что ты говоришь? Конечно, смешно. Ты вспомни, подумай спокойно, трезво. Ты, ведь, уже протрезвел? Или еще нет?

Огурцов вспомнил Веру. В тот день, много лет назад, когда Вера пришла к Полянскому и он увидел ее — не эти ли чувства он испытывал?

Что-то похожее. Они прожили с Верой полтора года. После чего надоели друг другу смертельно. Расстались и никогда больше не пытались продолжать свой роман. Расстались просто и, кажется, к взаимному удовольствию. Ничего, кроме облегчения ни он, Огурцов, ни Вера не испытывали. А, ведь, была у них та самая — Большая и Светлая любовь. Гуляли белыми ночами по набережным, целовались, трахались так, что Огурцов сам себе удивлялся — откуда только силы-то берутся — сутками из постели не вылезать? А — на тебе — прошло полтора года и выяснилось, что говорить им не о чем, что музыка Вере нравится совсем не та, что Огурцову, что друзья Огурцова ей неприятны, что в гости к ним она ходить не любит и не хочет, да и Огурцов мог бы денег побольше зарабатывать.

Не дождалась Вера той поры, когда начал бывший ее возлюбленный зарабатывать деньги. Когда стал известным, популярным писателем, когда стали в его квартиру звонить и приходить люди именитые, знатные и богатые. Когда оделся он по-взрослому, стал носить хорошие костюмы и дорогие туфли, когда подстригся и купил себе машину — уже и близко Веры не было. Они несколько раз сталкивались в каких-то клубах, на концертах, которые Огурцов посещал теперь очень нечасто, сталкивались, кивали друг другу и расходились в разные стороны.

А ведь любовь была — ну, просто Шекспир. И тоже, вот, как сейчас с Глашей — с первого взгляда.

Огурцов тяжело приподнялся на постели. Устал. Годы берут свое. Встал, подошел к окну.

— Ты что? — спросил Глаша. — Что-то не так?

— Все так. Просто думаю.

— О чем?

— Не могу сформулировать.

— Ну попробуй. Ты же писатель.

Он услышал в голосе девушки иронию.

— Ну, писатель. А что в этом смешного?

— Да так. Инженер человеческих душ, да?

— Отчасти, — отчего-то начиная злиться ответил Огурцов.

— Знаменитый...

— Не особенно. К сожалению.

— А чего ж так?

— Это сложный вопрос, — ответил Огурцов. — Там же все, как в любой отрасли шоу-бизнеса. В принципе, литература сейчас — тот же шоу-бизнес. Развивается по тем же законам. Раскрутка, реклама, промывание мозгов массового читателя. Поработали как следует, деньги вложили — вот, получайте новую звезду. Нового, так сказать, знаменитого писателя. Причем, в любом жанре. В детективе это заметно больше, в, если можно так выразиться, серьезной литературе — меньше, но суть одна.

— А чего ты сердишься-то, Саша?

— Я? И не думаю. Мне с тобой так хорошо, что я не могу сейчас сердиться, — соврал Огурцов. На самом деле он злился все больше и больше. Злость подпитывала сама себя, началась какая-то цепная реакция — он не понимал причину, вызвавшую мощную волну раздражения и от этого непонимания все глубже и глубже погружался в бездонный омут агрессивной депрессии.

— Я же вижу, — сказала Глаша. — Вижу, что ты злишься.

— Ну, допустим, — ответил Огурцов.

— Ладно, перестань, Саша. Расскажи лучше, что ты пишешь сейчас?

— А откуда ты меня знаешь, вообще?

— Ну, как это — «откуда»? Ты же бываешь в нашем клубе. Редко, но бываешь, И с друзьями. Друзья и говорят. И потом, я, ведь, слышу, о чем за столиками клиенты беседуют. А город наш, Питер — он же маленький. Здесь почти все про всех рано или поздно узнаешь. Книжки твои, между прочим, в магазинах продаются. А знакомые твои — большей частью, алкоголики. Как пойдут за столиками трепаться, орать на весь зал — волей неволей все окружающие в их беседу включаются.

— Ладно... Ты лучше о себе расскажи.

Злость не проходила. Встретил, видите ли, женщину своей мечты и вместо того, чтобы предаваться нескончаемой радости, жить этими минутами — кто знает, когда их время закончится — может быть, никогда, а, может быть — уже завтра или сегодня — вместо этого снова начинается самокопание, комплексы какие-то, размышления о смысле бытия и о месте

его, Огурцова в этом бытии. Может быть, болезнь какая-нибудь психическая развивается? Незаметненько так — подкралась и начинает подтачивать организм известного писателя. Что же это даже стильно...

— О себе? А что мне о себе рассказывать? Работаю в «Зомби»...

— Это я уже понял.

— Сын у меня...

— Взрослый?

Глаша усмехнулась.

— Извини...

— Ничего, ничего. Я, наверное, выгляжу уже старушкой, если ты такие вопросы задаешь.

— Да нет, что ты...

— Семь лет. Папа наш где-то по стране рыщет...

— Что так? Бросил?

— Я его послала. Алкаш. Когда замуж за него шла — казался красавцем-мужчиной. Умницей. А потом — ни работы, ничего. Перестройка, как раз случилась. Он и запил. Лег на диван — и лежит. Только пиво сосет и водку эту, из банок железных. Ну, полежал год, другой, третий... Начал вещи потихоньку продавать. Я его и послала. Квартира-то моя — иди, говорю, куда хочешь. Развелись, одним словом.

— Алименты, хоть платит? — спросил Огурцов.

— Я и думать про него забыла — какие, к черту, алименты... Я же по судам не буду таскаться. Противно.

«Да. Ты и так можешь заработать», — подумал Огурцов и тут же назвал себя за эту мысль подонком.

— В общем, если честно, то как белка в колесе.

— А живешь... Одна?

— Хм... Ну, одна. Мне, знаешь, и с сыном проблем хватает. А мужика в дом... Что-то не хочется. После моего благоверного как-то, знаешь, не тянет больше замуж. Даже не замуж, а вообще — как-то одной спокойнее.

— А с Мишей... Ну, то есть, — Огурцов указал пальцем на пол. — С ним у тебя что?

— А что ты имеешь в виду? Если то, о чем я подумала, то, этом смысле ничего. Просто помогает он мне. Время от времени.

— С друзьями своими знакомит? — не удержался Огурцов.

— Саша... Ты мне кто? Муж? Или папа? Что ты хочешь от меня услышать?

«Я хочу услышать... Что я хочу услышать? Что я самый лучший из всех ее мужчин? Что она хотела бы жить со мной? Чушь. С Веркой так же

было. Тоже любовь до гроба. С первого взгляда... И что? Ничего. Поздно, Огурец. Проехали. Шел бы ты домой».

— Мы с тобой еще увидимся?

— Как хочешь.

— А ты как хочешь?

— Мне с тобой интересно. Ты, кстати, так и не рассказал, что ты сейчас делаешь.

— Я? Пишу новое произведение. Роман века.

— О чем же?

— Обо всем. О тебе, в частности.

— Обо мне?

Глаша села на постели.

— Интересно. Ты же меня сегодня в первый раз увидел. Точнее, заметил. Что же ты обо мне можешь написать?

— Там есть девушка очень на тебя похожая. И ее, представляешь, тоже зовут Глашей. Я как услышал твое имя, так и опух сразу. И внешне... Получается, что я все время о тебе думал, представляешь?

— Бывает, — покачив головой ответила Глаша. — Всякое бывает. Так что же там, в романе твоём?

— Там все... Знаешь, я, ведь, раньше детективы писал.

— Знаю. Читала кое-что.

— И как тебе?

— Нормально. Вполне. Даже занимательно.

— Вот... Занимательно. И деньги шли хорошие... Поднялся на этом деле. А потом так достало. Вот, решил написать книгу о Ленине.

— О ком?!

Глаша хихикнула и повалилась на спину.

— О Ленине. Только не так, как все совки писали. А так, что там и мы фигурируем...

— Мы — это кто?

— Мы. Мои друзья, все, короче, говоря, кого я знаю. Или знал. Книга о времени. Время — оно относительно... Для меня многие из тех, кого уже нет, они более реальны, чем те, кто рядом ходит... Вот об этом. Но сложно, мне сейчас, честно говоря, лень в теорию вдаваться.

— Конечно, — сказала Глаша. — Лень. А мне на работу вечером сегодня мне не лень. Нереальный ты, Саша. Все вы...

— Кто это — «мы»?

— А, вот, как ты сказал — ты и твои друзья. Нереальные у вас мир отдельный, свой, который с реальным миром почти не пересекается. Вы в

нем и живете, ничего не замечаете из того, что рядом с вами происходит. Я же в этом клубе много кого видела. И писателей, и артистов, и музыкантов... Совершенно параллельное существование. Мне с вами скучно бы было. Я бы ни с кем из вас жить не смогла.

— Да почему же — нереальный? Что ты знаешь-то обо всем этом? Это самая настоящая реальность и есть. Там такие люди, в шоу-бизнесе... Такие бабки крутятся... Там людей могут замочить в два счета. Или — звездой сделать в неделю. Я столько историй могу рассказать, ты с ума сойдешь. И все они реальны. По-настоящему. Ты меня удивляешь, Глаша. Надо же такое сказать «нереальный». Хм...

Огурцов вдруг понял, что вся его сегодняшняя злость была вызвана той самой мыслью, которую неожиданно озвучила официантка из клуба «Зомби» по имени Глаша. Он не мог, не хотел себе признаться в том, что последнее время подсознательно ощущал то, о чем сейчас услышал от девушки, с которой провел ночь — ощущал полную нереальность собственного существования.

— Мне тоже лень в теорию вдаваться, как и тебе, Сашенька. Но я реальный человек. Это вы умеете деньги из воздуха делать, а я — нет. Я своим горбом зарабатываю себе на хлеб и сыну своему... А вы-нет, я ничего плохого сказать не хочу... Писатели должны писать, певцы — петь... Только у вас все не так. Вы словно фантомы. Словно призраки какие-то. И чувства ваши — на девяносто процентов выдумка. Вы заигрались, ушли в свою тусовку, заперлись в ней. А вне тусовки вы беспомощны, даже не как дети, а как... Как... Чуть что — спиваетесь, в наркоту падаете, еще что-нибудь с вами происходит. Мужики, вроде взрослые, сильные. А истеричные как бабы. Слава вам нужна. Слава, популярность, внимание... Ты вот про Мишу спрашивал. Миша — он сильный мужик. За это я его и люблю по-своему. На него опереться можно. А на кого из вас можно опереться? Вот ты бы на его месте — истерику мне бы закатил, стал бы с балкона бросаться, самоубийство разыгрывать — как же, его девушка трахается с кем-то там...

— Так ты его девушка?

— Вот, видишь, тебя уже зацепило. Уже глазки расширились. Могла бы тебе и не говорить... Нет, Саша, я не его девушка. Мы с ним просто дружим. Потому что я — тоже сильная. А он силу уважает. И тебя сильным считает. Хотя... Он в людях очень хорошо разбирается. Может быть, уже и не считает.

— Ты меня не знаешь совсем, — сказал Огурцов. — Почему ты думаешь, что я — истеричный слабак?

— Не знаю... Может быть, я и ошибаюсь. Только, я повторяю — навидалась я вашего брата на своем веку.

— Спиваемся мы, значит... Зато весь остальной народ не спивается. ехидно заметил Огурцов, чтобы только что-нибудь сказать...

— Ладно, Саша... Давай не будем об этом. Иди ко мне.

«Провокаторша, — подумал Огурцов, залезая под одеяло и целуя глашины губы. — Настоящая провокаторша.»

— Так мы увидимся еще, — успел спросить он перед тем, как снова погрузиться в неистовую нирвану. — Глаша? Увидимся?

— Ты мне роман свой принеси почитать, ладно? Вот этот. Который про Ленина.

— Конечно. Только он еще не написан.

— А когда...

— Вот я его в данный момент и заканчиваю, — сказал Огурцов. — Вот сейчас... Сейчас...

## Глава 6. Презентация

*Самая большая трагедия моей жизни — это смерть Анны Карениной.*

*С. Довлатов*

— Вставайте, приехали.

Огурцов открыл глаза. Он лежал на аккуратно застеленной полке, на хрустящем от крахмала белье. На столике перед ним стояли три, нераскупоренные бутылки коньяка, две картонные пачки с дорогим соком, на блюдечке горка ломтиков копченой колбасы, на другом блюдечке — угнезвился крепенький пупырчатый лимон с синим лейблом на крутом бочке. Огурцов пошевелился, поднял голову и увидел, что он лежит на неразобранной постели не просто в костюме и пальто, но и в ботинках. Вот так нынче ездят в Москву известные писатели.

— Очухался? — приветливо спросил его неизветный мужчина.

— Если проснулся в ботинках, значит вечер удался, — вяло пошутил Огурцов.

Неизвестный мужчина хохотнул.

— Да уж, у тебя-то, точно. Я, признаться, завидую. Сам-то я на подшивке... Ну ладно, сосед, удачи тебе.

В принципе, Огурцов мог бы вспомнить, кто этот добрый человек, но вспоминать было лень. Дверь купе аукнула, щелкнула задвижкой и неизветный сосед навсегда исчез из жизни видного писателя Огурцова.

Он посмотрел в окно. По перрону шли люди с отвратительно озабоченными или, что еще хуже — с тошнотворно-радостными лицами. Некоторые же были просто омерзительно беззаботны. Огурцов открыл бутылку, сделал большой глоток из горлышка, вздрогнул от ужаса перед наступающим днем, потянулся к колбасе и, поняв, что не хочет ее, взял лимон и отрез от него приличный кусок.

Сумка валялась под столиком. Огурцов сунул в нее две непчатые бутылки, взял в руку начатую и вальяжно вышел из купе.

— Всего доброго, — стараясь улыбнуться, сказал он чудовищно некрасивой женщине в убогой форме железнодорожницы. Та не ответила, но сделала такую гримасу, словно собирался смачно плюнуть себе под ноги.



«Ни одного приятного лица, — думал Огурцов, уверенно шагая по перрону. — Одни уроды. Хотя, вот на этого грзчика посмотреть... Квазимодо... И погода мерзейшая. И вокзал — гадость одна, архитектора расстрелял бы... Асфальт замусорен. Лотки книжные с дерьмом всяким...».

Он остановился у одного из лотков, за которым стоял продавец с лицом и взглядом удава.

«Это что такое, — подумал Огурцов, глядя на сверкающую целлофанированную обложку с изображением четвертованного брюнета, судя по виду, иностранца. — Что за чушь?»...

— Дайте эту, — неожиданно для себя сказал он продавцу — удаву, ежась не то от мелкого холодного дождика, не то от похмелья.

— «Швейцарский излом»? — спросил продавец. Огурцов внимательно посмотрел на него и понял, что перед ним стоит не продавец, а продавщица.

— Ну да... Излом...

— Вчера только поступила, — услужливо забормотал удав женского рода. Я уже прочитала... Очень интересная книжка. Необычная такая...

— Хорошо, хорошо...

Огурцов сунул книгу в карман и, сделав еще один глоток из бутылки, двинулся к стоянке такси.

В номере гостиницы он допил бутылку и улегся на кровать. Что-то кольнуло в бок.

«Ах ты, как же я опять забыл...».

Огурцов встал и снял пальто. Из кармана выпала книжка с глянцевой обложкой.

«Четвертованный иностранец... Откуда же это?».

Болтинки он решил не снимать. Снова рухнул на кровать, открыл «Швейцарский излом» и углубился в чтение. Читал он, по привычке, быстро, врем яот времени морщился от корявой фразы, смачно матерился, когда дошел до последней страницы вторая бутылка закончилась.

Книжка не понравилась Огурцову. Композиция — дерьмо, длинноты, зачем-то Ленин вместе со своим братом Сашей, какие-то Бухари, ни с того ни с сего Шаляпин затесался. Дешевая стилизация под пост-модернизм. Булгаков для бедных. Что-то смутно всплыло в его памяти, но вспоминать было лень. Огурцов встал, пошел и справил нужду, попутно бросив книжку в мусорную корзину. Заняться было решительно нечем. Посмотрев на часы он понял, что до презентации, ради которой он, собственно, и приехал, еще куча времени. Открыл третью, решил допить, а дальше — целенаправленно трезветь. Нужно появиться на людях в более или менее вменяемом

состоянии. Это тоже часть работы.

— ...Вам открыть?

— Чего?

— Открыть, говорю?

— Слышь, мужик не задерживай.

Голос, прозвучавший за спиной Огурцова был веселым и лишенным привычной для подобного обращения агрессии и смутно знакомым.

Унылый осенний пейзаж. Новостройки. Амбразура ларька, из которой высовывается красная, в цыпках, рука продавщицы. В цыпочных, потрескавшихся пальцах — открытая бутылка пива.

— Спасибо, — стараясь сохранять достоинство, выдавил Огурцов и, повернувшись к тому, кто его только что поторопил, добавил, — Извините...

— Сдачу-то возьмешь? — насмешливо спросила продавщица. — Нам чужого не надо...

Огурцов вздрогнул и трясущейся рукой сгреб внушительную пачку купюр. Несколько из них упало в грязный снег, Огурцов заметил это и понял, что наклониться за ними он не в силах.

— Чего соришь? — снова спросили его из-за спины знакомым голосом. — Не иначе, большие бабки получил... Ладно, я подберу.

— Спасибо, — не оборачиваясь ответил Огурцов

«Большие бабки... Большие бабки...».

Он посмотрел на часы. До презентации оставался час.

«Ладно. Сейчас пива... И все. А где я?».

— А где я? — спросил он у продавщицы, но вместо лица увидел перед собой обширный, дышащий уютный домашним теплом зад, обтянутый синими шароварами. Дородная продавщица, пыхтя, копалась в своих ящиках и, спасибо, что не пукала от упоения любимой работой в лицо видного писателя.

— Держи свои бабки. Пиво с тебя, — сказал терпеливый покупатель за его спиной.

— Ага. Спасибо.

Огурцов, не глядя на соседа по очереди принял из невидимой руки несколько смятых, мокрых бумажек, не считая, комком, запихнул их в карман пальто и шагнул в сторону, чтобы освободить место у амбразуры неизвестному доброжелателю.

— Пиво-то возьми, — укоризненно напомнил тот.

— А... Спасибо.

Он взял с алюминиевого прилавка бутылку, отошел в сторону и

огляделся.

— Ну что, поправимся? Видно, хорошо вчера погулял, да?

— Что?

— Хорошо погулял, говорю.

Рядом с Огурцовым стоял мужичок — среднего роста, в нейлоновой, дешевой куртке и турецких, с вещевого рынка, джинсах. В руке мужичок держал бутылку пива и неотрывно смотрел на своего визави.

— Слушай, а где я? — спросил Огурцов.

— Вот я и говорю, хорошо погулял. Бабки-то большие у тебя. Ты поосторожней тут... А где? Улица Космонавтов. Район лихой. Так что — гляди в оба. Повезло тебе, что на меня нарвался. Другой бы тебя тут прямо у ларя обул бы. Может, проводить? Тебе куда ехать-то?

— Мне в центр... А улица Космонавтов — это где?

— Это тут, — весело ответил мужичок. — До центра-то, в общем, недалеко. Ты только тачку возьми, а то в метро менты повяжут. А с твоими бабками, сам понимаешь... Бизнесмен?

— Да нет... Писатель.

— О-о, писатель... Сейчас все пишут. Вот я бы написал — такого бы написал. Про свою жизнь — ого-го, сколько у меня было разного. Роман целый можно отгрохать. Круче любого детектива будет. У меня, ведь, тоже — и большие бабки были, и все такое... А теперь, знаешь, в магазине работаю, грузчик — так и хрен с ним. Мне понта не надо. А деньги тоже зарабатываю не жалуясь. Халтура каждый день, наליком платят — а мне что? Ну, ты писатель, ты врубаешься... Как звать-то тебя, кстати? Меня — Славиком. Меня тут все знают. Так что, ежели что, писатель, огурчики, помидорчики — все ниже госцены — обращайся. Тебе, ведь, гостей принимать надо? Надо. Вот и приходи. Седьмой гастроном, ну, семерка, тут все знают. Спросишь Славика... Всегда поможем хорошему человеку...

— А откуда ты знаешь, что я хороший? Да, извини, Саша я. Огурцов фамилия.

— Так видно, что Саша Огурцов, — хмыкнул мужичок. — Ну, давай, Огурец, по пивку...

— А почему это видно, что я...

Лицо у мужика знакомое. Аж зло берет — настолько знакомое, явно, встречались раньше, но не вспомнить, где, когда... И — странная штука — точно где-то его видел — меняется это лицо. Очень привычно как-то меняется — вот оно опухшее, а вот — худое, строгое... И улыбается так... И про большие бабки он что-то...

— Васька? — неожиданно для себя спросил Огурцов понизив голос.

— Леков? Ты, что ли? Ты же...

Лицо мужичка посерьезнело и стало совсем уже знакомым.

— Знаешь что, писатель Огурцов, — сказал он рассудительно. — Давай-ка я тебя сам в тачку посажу. А то тебя глючить начинает. Славик я, а не Васька. Славик. Я тебя в машину пристрою и езжай себе — Бог тебе судья. А за помидорчиками, ежели что — не забудь — седьмой гастроном. Улица Космонавтов. Во-он там.

— Погоди, мужик, погоди... Как тебя... Славик... Васька...

Сильные руки тащили Огурцова по мокрому снегу, перед его лицом мелькнул рукав нейлоновой куртки, скрипнули тормоза и через секунду он оказался в тесном, пахнущем бензином, салоне «Москвича».

— В центр ему, — услышал Огурцов знакомый голос. — Довези, шеф, это хороший человек.

— Ну и куда тебе, хороший человек? — спросил водитель.

— В «Россию», — машинально ответил Огурцов, пытаясь рассмотреть сквозь заляпанное снегом стекло удаляющегося Славика.

«Это он. Он. Леков. И походка его и все... Вот, сволочь-то. Скрылся от всех. Это в его стиле. Сколько раз так исчезал. А теперь дошел уже совсем смерть свою инсценировал. А на хрена? Может быть, и мне? Надоели все... Скучно. Может быть, взять, вот, как он — раз, и всю жизнь поменять. И вместо одной жизни две прожить. Полянский об этом говорил... Да, а что — как Александр Первый, если это, конечно, не туфта. Бросить все к черту и начать заново...».

— В «Россию»? — переспросил водитель.

— Да, — спохватился Огурцов. — И побыстрей, командир. Не обижу.

— Отсутствие метафор — это еще не признак плохой литературы. Литература хороша тем, что она — разная. И фирменный стиль Огурцова — стальной сюжет и вкусный текст. Книга, которую мы сегодня представляем, надеюсь, оправдает, уважаемые читатели, ваши ожидания. На мой, лично, взгляд, это, я, конечно, прошу прощения у уважаемого мною и всеми нашими сотрудниками, автора, большой шаг вперед. Она чрезвычайно необычна и насыщена... Впрочем, дорогие наши гости, вы сами сможете в этом убедиться, купив и прочитав новую работу Александра Огурцова.

Мария Николаевна Зуева, главный редактор издательства «Дронть» перевела дух и посмотрела в сторону Огурцова, который стоял за колонной. Со стороны могло показаться, что он потупился от врожденной или благоприобретенной скромности, но, на самом деле, у основания престола его души в смертельную битву вступили пиво и коньяк — две вещи

несовместные, ян и инь, лед и пламень, вода и камень.

Огурцов шагнул к микрофону.

— Пиво, — сказал он, — вторгается в коньяк словно орды северных варваров в цветущие виноградники юга...

Щелкнули сразу несколько фотоаппаратов и блеснули вспышками. Огурцов тут же вспотел.

— Я продолжу, — сказал он, пытаясь сосредоточиться и чувствуя, как рот его наполняется вязкой, с металлическим привкусом ржавчины, слюной. Опустив глаза долу, чтобы собраться с мыслями и не видеть перед собой толпы журналистов и читателей, собравшихся на презентацию его новой книги, он увидел перед собой несколько диктофонов.

«Раз они лежат, значит, это кому-нибудь нужно, — ни к селу ни к городу подумал он. — Пусть будет лучше хотя бы одному из них».

Он взял первый попавшийся под руку диктофон и поднес его к губам.

— Так я продолжу, — повторил Огурцов. — Хотя, на самом деле, говорить я не умею. Я не рассказчик. Все, что я хочу сказать...

Он говорил давно заученные фразы.

— Все, что я хочу сказать, я пишу. Такая у меня профессия...

Это была не первая его презентация и он знал уже, в каком месте монолога публика засмеется, когда начнут щелкать фотоаппараты, когда журналисты начнут задавать вопросы разной степени каверзости.

— Вот, Анатолий Франс, — в третий, за последние два года, выдал из себя Огурцов. — При всей искрометности...

Он прекрасно знал, что он внешне очень похож на Анатолия Франса и старался использовать это сходство. Перед теми, конечно, кто, хоть однажды, видел портреты его французского двойника.

— При всей искрометности и упругости его фразы был в быту страшным мямлей и занудой. Я — такой же. Конечно, я не претендую на его талант, я говорю лишь о быте, об обычной жизни... А что до моей новой книги, — сбился Огурцов, — то просто читайте ее, я надеюсь, что вам...

Пиво с коньяком окончательно рассорились.

— Простите, — перебила его высокая, огненно рыжая девица. Могла бы и не обращаться на «вы». Хотя, протокол обязывает. Огурцов спал с ней уже неоднократно — Нина, корреспондентка газеты «Московский Ленинец» давала всем без очереди, как Люся из Сайгона...

— Простите, — сказала Нина, словно видела Огурцова впервые. — В ваших произведениях часто мелькает образ писателя. И, как правило, выглядит он в вашем прочтении, весьма несимпатично. Чем вы это можете

объяснить?

— Не идентифицируйте героев литературного произведения с автором.

— Хорошо, — усмехнулась Нина. — А, скажите, что вы читаете в последнее время? Какие произведения современных авторов оказывают на вас влияние и оказывают ли вообще?

— Сегодня, — Огурцов громко икнул. — Сегодня утром я прочел книжку под названием «Швейцарский излом».

Зал разразился аплодисментами.

— Так вот, — Огурцов поднял руку, успокаивая публику. Он уже видел, что сегодня ему удастся все. Тем более, что в толпе он распознал несколько знакомых лиц. Та же Нина, еще парочка девушек — Катька и Маришка, и — вот, кого он не ожидал сегодня увидеть — Артур Ваганян приветливо махнул ему рукой. Они были знакомы лет пять, Ваганян работал администратором у самого Вавилова — а Вавилов — это сила. Это концерты, это пластинки, это и издательские дела, наконец, Вавилов — это билеты в любую точку земного шара, это отсутствие проблем с визами... А Ваганян — просто хороший дядька. Приятно с ним и выпить, и поговорить, и за девочек московских подержаться Ваганян всегда самых лучших выписывает, у него, чуть ли, не своя контора по этому делу.

— ...Так вот, что я могу сказать об этом, с вашего позволения, произведении... Если бы не коньяк, который я, слава Богу, захватил с собой из Питера, я, вряд ли бы дочитал до конца. И несть числа таким работам. Завалены лотки — вы посмотрите только чем? Ну, я все понимаю, авторам нужно зарабатывать деньги, но нельзя же так... Нельзя же все валить в одну кучу... Я не сторонник цехового братства. Я никогда не скажу писателю, который написал полную лажу, что его творение интересно, оригинально и, вообще, он, мол, перерос своего читателя... В таком, вот, роде...

— Ну да, — отчего-то хихикая, снова встряла Нина. — А, вот, в вашем предыдущем романе «Петух топчет курицу» вы обратились к Серебряному веку. И все писатели, поэты, вообще, творческие люди той эпохи представлены вами в чрезвычайно карикатурном виде. Даже с какой-то злостью. С каким-то садистским наслаждением вы выписываете их пороки, их маленькие слабости, представляя их важнейшими чертами их характеров и отрицая тот вклад в мировую и отечественную культуру, который они... Ну, взять, к примеру, хотя бы созданный Вами образ Валерия Брюсова...

Все проходит, — сказал Экклезиаст. Нет, не все. Ничто не проходит бесследно. Страшный спазм, поднявшийся из утихомирившихся, было,

глубин желудка, скрутил Огурцова, тело его само собой завязалось сложным морским узлом и он стошнил — всеми тремя бутылками коньяка, пивом, выпитым на улице Космонавтов — стошнил прямо на россыпь диктофонов и сверкающие глянцем книги, лежащие перед ним на столе. В последний миг перед тем, как отключиться, Огурцов прочел название на одной из них. «А.Огурцов, — было написано на обложке с изображением четвертованного иностранца. — Швейцарский излом».

Еще ни разу ни один питерский писатель не срывал в московском Доме книги таких аплодисментов.

## Глава 7. Черные яйца

*«Души мертвых уходят на запад»*

*В. Леков «Путешествие к центру Земли»*

*«Мы красные кавалеристы и про на-а-а-а-с...»*

*Ночной вопль в тихом московском дворике.  
Середина 2001 года.*

Вавилов быстро прошел сквозь стеклянные двери. Кивнул охраннику в форме, сидящему в прозрачной пластиковой, пуленепробиваемой будочке, поднялся на второй миновав три лестничных пролета и два металлоискателя, предупредительно отключенные охранников снизу и снова заработавшие, как только Вавилов миновал последний и оказался в просторном холле.

— Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Секретарша Юля вскочила из-за длинного прилавка, уставленного телефонами, календарями, как в железнодорожных, или авиакассах, чтобы посетители отчетливей представляли, какое нынче число и когда им отъезжать, объявлениями в стеклянных «стоячих» рамочках, извещавших о том, что через неделю — общее собрание, что через две недели — общее собрание но только одного отдела, что через месяц шеф уходит в отпуск и его обязанности будет выполнять первый зам Якунин, кроме этого на прилавке стояли пепельницы, лежали гелевые авторучки, зажигалки, ближе к окну — чашки для кофе, электрический чайник, сахарницы, ложечки.

— Здравствуйте. Владимир Владимирович! К вам уже...

— Привет, — бросил Вавилов. — Я вижу. Да. По одному.

Ни на кого не глядя он прошел прямо в свой кабинет, оставив за спиной с десяток посетителей, которые, завидев Самого, как по команде поднялись с мягких кожаных диванов и кресел, в обилии имевшихся в холле.

Глаза-то его были опущены долу, но видел он всех и каждого. Видел и мгновенно отделял зерна от плевел.

— Ну что, Артур? — спросил Вавилов, потягиваясь. Вчерашний теннис напоминал о себе. Как, впрочем, и о том, что почаще бы следовало Владимиру Владимировичу вспоминать о любимой игре. И не



пренебрегать тренировками.

Застоялся конь в конюшне, явно, застоялся. Такая утренняя боль в мышцах — словно напоминание о далекой молодости. Когда растут они, эти мышцы, когда молочная кислота в них вырабатывается со страшной силой — от нее и боль вся, от молочной кислоты. И изжить эту боль можно одним только образом — снова мышцы нагрузить. Тогда и рассосется. А иначе — суток трое будет мучить, заставляя кряхтеть и морщиться каждый раз, когда поворачиваться приходится или просто на стул садиться. Не говоря уже о со стула вставании.

А поворачиваться сейчас ох, как приходится. Знай только поворачивайся. Не то, что прежде. Иначе — если поворачиваться не будешь — нет, конечно, не хана, пережили уже ту стадию, когда хана, теперь уже не хана. Теперь может быть только покой, домик в Сан-Франциско и еще один — в глуши, в деревне, на Рублевском шоссе. Ну, конечно, почет и уважение, улыбки ресторанных халдеев, абонированные кресла на театральных премьерах, но — не то, не то. Вылететь из обоймы отстреленной гильзой — дзынь, и покатишься в грязь — нет уж, увольте. Есть еще силы, есть еще перспективы, есть еще цели. А это для человека очень важно, когда цель есть. Цель — она силы дает. А силы дают средства. А средства — хотя бы иллюзию личной свободы, независимости, любви, счастья, наконец. Иллюзию, конечно, всякий взрослый, работающий мужик с головой это скажет, но у других-то, ведь и иллюзии нет. Пусть уж иллюзия будет — все лучше, чем ничего.

Впрочем, чего себя обманывать. Средства — они новые цели обозначают. Делают их видимыми. Вот и получается: цели-силы-средства-цели. Замкнутый круг.

Владимир Владимирович Вавилов весьма почитал польского фантаста Станислава Лема. Особенно — роман «Эдем». Запал в свое время жуткий образ из «Эдема» — завод, который работает сам на себя: производство элементов-деталей, сборка, технический контроль, складирование, утилизация, производство элементов-деталей. И так до бесконечности. Страшно? Страшно. Нужен такой завод? Нужен. В том-то и дело, что нужен. Вся жизнь — такой завод. Эдем. Почему Эдем? Потому что тому, кто не ужаснулся — тот получит все.

Буддийские монахи могут очень долго, из месяца в месяц выкладывать сложнейшую мандалу из крохотных разноцветных камешков. С тем выкладывать, чтобы потом, в один миг разрушить.

Нужно это?

Нужно.

В свое время Владимир Владимирович Вавилов спонсировал международный конкурс создателей саморазрушающихся скульптур. Всю Москву на уши поставил. Вся столичная творческая интеллигенция целый месяц об этом только и говорила. А месяц для Москвы — это очень много.

И не диво. Потому что очень красиво это было. Потому что великая жизненная правда в том сокрыта, когда за неделю разрушается вещь, на создание которой уходили долгие месяцы. Не говоря уже о годах обучения, творческих поисков, ошибок, открытий, разочарований.

Владимир Владимирович Вавилов каждый день смотрел, как умирал под лучами солнца ледяной Феникс. Сначала истаяли перья, потом оплыл страдальчески раскрытый клюв, придав символу бессмертья удивительно идиотский вид. Феникс стал похож на забытую всеми старушку, доживающую свой век в грязной московской коммуналке. Прошло еще два дня — и Феникс уподобился разделанной замороженной тушке цыпленка. А еще через день от него остались лишь «ножки Буша».

В свое время на «ножках Буша» Вавилов неплохо заработал. И вспоминал о тех временах с удовольствием. Потому что и стране польза была и ему, Вавилову. Если отбросить иронию и все рассуждения о трансгенной продукции, то чем бы спасся народ в голодные постперестроечные годы, как не пресловутыми «ножками Буша».

На ножках заработал, а на Фениксе потратился. Кто как не Вавилов платил бешеные гонорары всем этим сумасшедшим скульпторам.

Владимир Владимирович Вавилов испытывал странное, а грани с мазохизмом удовольствие при виде оплывающих и скучнеющих ледяных и песчаных божков и чудовищ, давидов и голиафов.

Вся желтая пресса смаковала эволюции, а точнее инволюции, происходившие с ледяным Давидом — точной копией статуи работы Микеланджело. На третий день у победителя филистимлян отвалился маленький, аккуратный, дотошно исполненный скульптором член, мышцы одрябли, конечности истончились, ввалилась грудная клетка, сморщились аппетитные ледяные ягодицы, а лицо опухло, сделалось пористым, бесформенным и порочным и стало напоминать одновременно нескольких поп-идолов. Еще через день Давид выглядел как законченный наркоманджанки. Но — все же простоял еще два дня. Лишь потом упал, не в силах удерживаться на артритных ногах. При падении сломал в локте руку, держащую пращу. Так и лежал, бедолага, с чудовищно увеличенной печенью, глядя в небо заплывшими, слезящимися глазами — старый, лысый пастух-пращик, никому на свете не нужный, никем не любимый, всеми брошенный. Последнее, что оставалось у несчастного Давида от

лучших времен его харизма. Но и та истаяла через несколько дней. И в совке дворника нашел Давид свой конец.

За Давида Вавилов заплатил фантастический гонорар. После Давида жить хотелось. Передернуться и жить. Жить и работать. Отрасль ставить. Продукты глубокой заморозки — дешево, питательно, без очереди, через каждые двести метров. Ну, и мороженое, конечно. Всевозможное. На внутренний рынок и на внешний. Экологически чистое, без наполнителей, без заменителей и консервантов.

\*

— Ну что, Артур, — повторил Вавилов. — Что-то хорошее хочешь мне сказать?

Владимир Владимирович очень хотел хороших новостей. Потянулся еще раз, чтобы снова почувствовать приятную боль в мышцах, взглянул на холодильник, в котором, как и положено, стояла бутылка коньяка «Греми», взглянул в окно на крыше соседнего дома лежал толстый рыжий кот — хорошая примета. Он не часто выходил на крышу, кот этот. Но, Вавилов уже просчитал закономерность если кот нежится на теплом железе кровли — значит день будет удачным.

— Да, знаешь, Володя...

Артур Ваганян, администратор, занимающийся вопросами, связанными со всем, что касалось музыкального бизнеса, был человеком на редкость ответственным. Уходить даже хотел из концерна «ВВВ», из Вавиловской империи, но смекнул, видно, что лучше, все равно, ничего не найдет. И правильно.

Бывает, с каждым бывает — истерика случилась с человеком, о творчестве начал рассуждать, о том, что попса московская ему поперек горла встала, что тошнит его от всех этих дутых, искусственно созданных артистов, певцов и певиц, которые не могут ни одной ноты правильно взять, если компьютера под боком нет или дублирующего исполнителя — Вавилов все это понял. Понял и простил. Когда Артур, через неделю после своего срыва пришел к нему в кабинет, даже виду не показал, даже не намекнул на давешний скандал. Словно бы и не было ничего. Словно и не кричал Артур, что ненавидит шоу-бизнес, что ноги его не будет больше в кабинете патрона, что надоело ему все и ни в один клуб, ни на один концерт он даже в качестве зрителя не придет.

Ничего. Пришел и в кабинет, и в клуб, в один, в другой. в третий. И,

как и прежде, стал прилежно трудиться на ниве музыкального шоу-бизнеса, выращивать и продавать молодые таланты.

— Ну, ну, не тяни, — улыбнувшись подбодрил Артура Владимир Владимирович. — Давай, выкладывай, что там у тебя. Еще одно новое дарование?

— Да нет. Дарование-то, как раз, старое... Не знаю только, что с ними делать. Да и вопрос большой — то ли это дарование, или...

— Погоди, погоди. Давай конкретно. Излагай так, чтобы я понял. По порядку. Только не очень долго, ладно? А то у меня немцы сегодня, такая с ними запара.

Вавилов посмотрел на свой старенький «Ролекс». Не слишком модные часы для современной Москвы, но Владимир Владимирович любил эту фирму, с юности любил. Во времена юности для Вовы Вавилова «Ролекс» казался вещью совершенно недостижимой. А теперь уже поздно вкусы менять. Пусть молодежь глупая часы каждый месяц себе обновляет. Вавилов — человек солидный. Консерватор.

— Ну вот. Через сорок минут уже должны быть. Давай по существу, поторопил он Ваганяна, странно ерзающего в кресле и, явно, не решающегося перейти к сути дела.

— Володя, — сказал Ваганян и снова замолчал, вытащил белый, идеально выглаженный платок и вытер лоб.

— Ты чего потеешь? — хмыкнул Вавилов и снова посмотрел на кота, развалившегося на соседней крыше. — С бодуна, что ли? Так давай коньячку.

— Нет, — Артур махнул платком. — Нет. Правда, дали вчера немножко... На презентации, понимаешь, был...

— Ну? — нетерпеливо спросил Вавилов. Музыкальный бизнес, в общем, был в компетенции Ваганяна, Владимиру Владимировичу и других дел хватало. — Ну и что — презентация... А дальше?

— Книжку новую представляли, Огурцов такой, может помнишь?

— А, писатель?.., — поскучнел Владимир Владимирович. — Ну так что там случилось-то у тебя?

— Да не случилось ничего, Володя. Просто Огурец, ну, то есть, писатель этот... Сашка, в общем...

— Слушай, не части, а?

Владимир Владимирович снова взглянул на часы.

— Давай быстренько вопрос решим и все. У меня сегодня очень день плотный, Артур.

— Так вот, Огурец... Тьфу ты, господи, Огурцов мне и сказал, что

видел на улице Лекова.

— Ну?

— Ну вот. Собственно, я с этим и пришел.

— погоди. Твой писатель видел на улице Лекова. А я тут при чем?

— Ну, Леков же...

— Что — «Леков»?

— Он же умер...

— М-да? И что теперь? — спросил Вавилов начиная скучать.

— Ну как же?

Ваганян встал с кресла и прошелся по кабинету. Посмотрел в окно. Вавилов машинально посмотрел туда же. Кота на крыше уже не было.

— Так, ведь, Леков же...

— Что ты мне голову морочишь? — недовольно буркнул Вавилов. — Что я теперь должен делать? Денег, что ли, на похороны дать?

— Володя...

— Я — Володя, — рявкнул Вавилов. Утро переставало ему нравиться. — Я Володя, — повторил он. — Что ты мне тут кота за яйца тянешь? Что мне делать? Я сказал — если у тебя там кто-то гавкнул, так скажи толком — помочь, похороны организовать, или что там еще?

— Володя... Леков — это тот самый музыкант, которого мы...

— Ну понял я, понял. Короче, давай, пиши смету, иди в бухгалтерию. И, вообще, это твоя вотчина, что ты меня грузишь с утра? Бери все в свои руки и сам решай. О кей? Может коньячку?

— Володя...

Артур снова сел в кресло.

— Ты не понимаешь. Этот парень — Леков, он умер уже давно. Год назад. Мы выпустили его триббют. Концерты делали. Бабки в этом деле крутятся хорошие. Права купили на все его песни. Гольцмана вписали к нам — он же в Питере теперь все наши акции делает.

— А-а, — Вавилов боковым зрением заметил, что кот снова появился на соседней крыше. — Ну, понял теперь. Так бы сразу и говорил. Ну так в чем суть-то?

— Огурцов мне вчера сказал, что видел Лекова на улице. В Москве. Живого.

— Ну и очень хорошо, — ответил Вавилов. — Новые песни напишет.

— Володя! Ты меня слышишь, вообще?

— Более чем. Орать только не надо.

— Он же умер. Я тебе русским языком говорю — у-мер. Какие к черту, новые песни? Как мы их подавать будем? Он умер год назад! Все права у

нас! Мы на этом деньги зарабатываем...

— Большие? — вяло спросил Владимир Владимирович. Разговор начал его утомлять.

— Большие, — сказал Артур. — Вся страна его хоронила. Фильм сняли документальный.

— А-а... Точно. Было такое. Вспомнил наконец. Что же ты мне голову морочишь столько времени?

— Так я... Я же по порядку все... Короче говоря, выходит, что не умер он, а просто слился. А теперь всплыл. И с правами теперь — черт разберет, что делать?

— Погоди. Так я не понял — кто тогда умер-то?

— Хрен в пальто, — вскрикнул Артур. — Откуда я знаю, кто там умер. А то, что Лекова живым видели в Москве — это факт. Вчера мне Огурец... Огурцов, то есть, сказал, Трезвый был, между прочим. А это таким нам может боком выйти, Володя, такая вонь поднимется...

— Слушай, ты этим делом занимаешься, вот и занимайся. Мне мозги не пудри. Или ты хочешь как? Чтобы я за вас всю работу делал? Я за что тебе деньги плачу? А? За Лекова твоего сраного? Вот и разбирайся с ним сам? Все? Смету принеси, если бухгалтерию не устроит, поговорим...

— Ладно, — мрачно кивнул Артур. — Я все понял. Буду разбираться.

— Вот и молодец. Давай, Артур, крутись-поворачивайся.

\*

Легко сказать — крутись-поворачивайся. Вавилов, он, как блаженный. Ситуация-то и в самом деле куда как аховая. Если, конечно, не привиделось Огурцу. Литераторы — они народ нервный, мнительный.

Совпадение?

Хрен его знает. Жизнь — штука причудливая. Может и совпадение. Ну, попался мужик у ларька. Ну, похож. Ну, очень похож. Так и что?

Ваганян вспомнил, как давным-давно встретил в трамвае своего двойника. Правда, двойник изъяснялся лишь по-арабски. В те времена арабских студентов тьма-тьмуца в Союзе обучалась.

Посмотрели тогда друг на друга, вытаращив глаза. Да и разошлись.

С другой стороны, что тогда было? Встретились два студента.

А тут бабки. И наипервейшее правило: лучше перестраховаться. Последить за странным мужиком — вдруг, это и не Леков вовсе. А, с другой стороны время, время! Дел невпроворот. Это Вавилову легко

говорить — реши, мол, сам. Он-то уже вообще, почти делами не занимается. Весь концерн «ВВВ» как хорошо отрегулированный механизм работает. Многоотраслевое объединение выросло из продюсерского центра — тут тебе и птицеферма, которую Вавилов недавно достроил — гигантское предприятие под Москвой, видно, «ножки Буша» все шефу покоя не давали — решил продолжить свои отношения с битой птицей. В общем-то, и птицеферму уже не Вавилов строил, а деньги его. Вавилов теперь в офисе появляется в одиннадцать, а в двенадцать уже в ресторане сидит с какими-нибудь нужными людьми. Там все вопросы и решает за рюмкой «Агдама». Это у него такой же рудимент, как и «Ролекс» на запястье. С детства Владимир Владимирович этот напиток полюбил. И никак разлюбить не может. Впрочем, есть в этом шик особенный. Сидит он, допустим, где-нибудь в Доме Академиков, на карту вин даже не смотрит, а вышколенный халдей ему персонально холодную, запотевшую бутылку «Агдама» несет. «Самтрестовский», мутноватый, подлинный. Особенно Владимир Владимирович любит, если бутылка, что на стол к изумлению всех присутствующих официант ставит перед всемогущим «ВВ» вся опилками заляпана.

Молодец он, конечно, такую махину раскрутил — и битая птица тут тебе, и издательство престижное, и производство видеокассет, и строительный бизнес, и музыка, и автомобили, и водка. Пару телеканалов собственных имеет, одновременно — личное рекламное агентство — сам себе рекламу продает, сам у себя ее покупает, сам с собою, бывает, по неведению или в силу забывчивости, торгуется, переговоры изнурительные ведет. Но — ни одной копейки, в результате, на сторону не уходит. А Вавилов уже к этому привык. Это раньше у него радостное детское изумление возникало, когда выяснял он с похмелья, что вчера двое его администраторов вели торг друг с другом, не подозревая, впрочем, о том, что работают на одного и того же хозяина. Со временем, впрочем, и это перестало удивлять. Дел ведь — край непочатый, и тут, и там. Страна огромная, а он, Владимир Владимирович один. Попробуй все в голове удержать, если курам — дай, телевидению — дай, литераторам, хоть и не столько, сколько курам — но тоже дай. Подумаешь, Леков какой-то умер, потом ожил и права качать начал. Тут вон полтора миллиона кур снесли яйца черного цвета. А почему — неизвестно. В Доме академиков когда сидели последний раз, астролог какой-то там же отирался. Говорил, мол Черная Луна по Солнцу пошла. Говорил, говорил, все на бутылку «Агдама» поглядывал, о благости-неблагости вещал. А у самого кадык вверх-вниз нервно ходил. Прямо как у курицы, перед тем как яйцо снесет. Эх!

Черные яйца охотно покупали владельцы дорогих ресторанов, но это был мизер. Несколько тысяч, положим, умяла московская элита. Еще по тысяче ушло в Питер, в Нижний и на Николину Гору. Проститутки дорогих угощали новым изыском — black balls. Проститутки лупили black balls, рассыпая черную скорлупу на дорогие ковры отдельных кабинетов.

Но что такое несколько тысяч, когда на руках около десяти миллионов нереализованных black balls.

Проще всего было отправить роковые balls на переработку. Любой другой так бы и поступил. Но не Владимир Владимирович. Было в этих яйцах что-то завораживающее. Многообещающее.

От черных яиц ощутимо пахло тайной. Птичницы и птичники, грузчики, ответственные, не очень ответственные и безответственные вовсе работники огромной птицефермы провоняли тайной настолько, что некоторым из них пришлось даже уйти из семей. Взгляды работников, обеспечивающих бесперебойное производство яиц стали тяжелыми, многозначительными, порой, отпугивающим. Щеки у большинства работников покрылись густой щетиной практически у всех, не исключая и представительниц слабого пола. Некоторые стали выше ростом, другие, напротив, за считанные дни измельчали, похудели, стали прихрамывать, но, вместе с тем, обрели необыкновенную физическую силу. Крохотные грузчики теперь грузили ящики черными яйцами в три смены без обеда и ни капли пота не выступало на их сморщенных, позеленевших лбах. Тонкие руки с легкостью подхватывали тяжеленные поддоны, словно муравьи носились становившиеся все больше похожими на карликов разнорабочие по складам Вавилова, все больше напоминающим муравейники.

Интерес к новой продукции стали вызывать самые разные организации и объединения. Теперь Владимиру Владимировичу по мимо того, чтобы решить, как же и куда реализовать странную продукцию приходилось думать еще и том, как откреститься от сатанистов, денно и ночью околачивающихся вдоль заборов предприятия. Сатанисты жгли костры, тянули заунывные песни и вступали в неформальные отношения с грузчиками и птичницами.

Основные подъезды к ферме были перекрыты пикетами «Гринписа», которые, как ни парадоксально, проводили ночи у сатанистских костров, угощали парней в черной коже печеной картошкой и рассказами о светлом, экологически чистом будущем в котором место найдется всякому, кто пожертвует на благое дело долю малую из своего бюджета.

В общем, от black balls исходил вызов. И Владимир Владимирович



чувствовал, что вызов этот направлен лично ему. Тем более, что овуляционная флуктуация скоро закончилась и куры, косясь боязливо на птичниц с зелеными лицами стали, хотя и осторожно, но нести обычные и милые желудкам широких масс яйца с белой скорлупой.

На все можно с разных сторон посмотреть. Много ли найдется людей в этом лучшем из миров, который вот так, в одночасье оказываются владельцем десяти миллионов black balls?

Нужно было что-то решать. И решать срочно.

Артур Ваганян был посвящен в проблемы птицефермы и понимал, что Вавилону сейчас не до шоу-бизнеса. Придется, в самом деле, самому разбираться с неожиданно вставшим перед ним препятствием.

\*

Решать. Легко сказать — решать. В принципе, Артур знал, что решить можно любую проблему. Но всякое решение требует времени, а его у Артура не было. Да и вообще — с какой стати он сам должен торчать у незнакомого подъезда и выслеживать неизвестного ему гопника. И пытаться понять — Леков это или просто гопник. Есть штат, есть куча народу, которым он платит неплохие зарпалты, а народ этот, как и положено ему, по ночам в клубах дорогих развлекается, а днями в офисе кофе пьет и по мобильникам с девками треплется. О том, как ночью в клубе будет развлекаться. Понтярщики. Лентяи и пройдохи. Только других-то нет. Если человек не понтярщик и не пройдоха ему в шоу-бизнесе делать нечего. Сожрут. Или подставят на деньги. Так что, взялся за гуж — не говори уже ничего. Тяни его и радуйся, что работа эта считается престижной и трудной, что она открывает двери очень многих известных домов и раскрывает секретные номера телефонов серьезных людей.

Короче говоря — ...

Звонок мобильного телефона прервал размышления Артура о предстоящей операции.

— Але-о, — привычно пропел он в трубку.

— Артурчик! Это я!

Вот, кого только сейчас здесь не хватало. Стадникова. И, судя по голосу, уже с утра на дозе.

— Хочу денежек у тебя взять, солнышко мое. Да, да, я в Москве. Когда смогу увидеть тебя, ангел мой черненький?

— Ты где? — спросил Артур.

— Я на Тверской. Пиво пью. А ты?  
— Подъезжай во «Флажолет». Это рядом.  
— Да знаю я, господи! Он, что, открыт в это время?  
— Для нас с тобой он открыт всегда. Я буду там через пятнадцать минут.

— Целую тебя, ласточка моя, Артурчик. Лечу к тебе на белом вертолете любви.

Артур в задумчивости покрутил «мобильник» в руках. Только Стадниковой сейчас и не хватало. А если она уже в курсе? Если Огурец и ей рассказал про то, как встретил в Москве Лекова? Или, как нынче принято говорить, человека похожего на Лекова.

Да ладно, тут же успокоил он себя. Ольга Стадникова — тетка разумная. Ее нынешнее положение более чем устраивает. Муж — бизнесмен, Боря Гольцман. Наполовину инвалид, сердечник. Так это еще и лучше. Или?

Нет, в любом случае с ней эту ситуацию надо обсудить. Да и Гольцмана в известность поставить — Боря тоже в этом деле завязан.

— Привет, солнышко!

Стадникова вскочила из-за стола — в полутемном зале «Флажолета» кроме нее и полусонного официанта не было никого — вскочила и бросилась к Артуру. Задела бедром за стул, уронила его, официант вздрогнул было, но, заметив, что ничего страшного не произошло, снова впал в обычное утреннее оцепенение, подскочила к Ваганяну и повисла у него не шее.

— Привет, привет, — Артур привычно чмокнул Стадникову в щечку.  
— А ты все хорошеешь.

— Ну, скажешь тоже. Нам до вас, бояр московских далеко. Это вы тут...

Стадникова посмотрела на официанта и кивнула ему. Тот медленно поплыл к стойке бара.

— Ладно, ладно, не прибедняйся, — через силу улыбнулся Артур. Прекрасно выглядишь.

Он не лицемерил. Ольга, действительно, за последний год сильно изменилась. Хоть и пила так же, как и в старые времена жизни с Лековым, но как-то вытянулась, разругалась, похудела, даже, кажется, длинные светлые волосы ее стали гуще.

— Ну, пойдем, Артурчик, пойдем... Ты в это время суток насчет коньячку — как?

— С тобой, — Артур посмотрел на часы. Двенадцать дня. — С тобой

всегда.

— Ты за рулем? — Стадникова посмотрела в глаза Артура и улыбнулась. Ваганян заметил, что она вставила себе новые, по виду судя, довольно дорогие зубы.

— За рулем, — ответил он. — Но это не имеет значения.

— Вот, уважаю профессионалов, — сказала Стадникова, неловко плюхнувшись на стул. — Молодец. А в клуб этот, и вправду, меня без вопросов пустили.

— Ну, еще бы. Своим здесь всегда рады. В любое время дня и ночи.

— Слушай, у меня денюжки кончились совсем... Борька новую машину взял, вообще, в Питере чего-то неважно все идет... В общем, потратились мы... Как там у тебя дела?

— Деньги есть. Сколько тебе?

— Ну, это надо по бухгалтерии посмотреть...

Стадникова кивнула официанту, поставившему на их столик две рюмки коньяка, два бокала с соком и какой-то салат.

— Ладно. С бухгалтерией завтра разберемся. Ты будешь еще завтра в Москве?

«Хорошая она, все-таки, баба, — думал Артур, произнося необязательные фразы о бухгалтерии, о завтрашнем дне — все можно было решить сегодня, сейчас, не сходя с этого места. — Хорошая баба. И настроение у нее — лучше не бывает. А что будет, если я ее сейчас так озадачу. Мол — жив твой муженек первый. Что с ней будет? Она же любила. Его. Не любила бы — не маялась бы пятнадцать лет. Стоит ли ее сейчас этим напрягать, пока ничего доподлинно неизвестно? Может быть, да и скорее всего, это и не Леков вовсе...».

— Буду, буду, — улыбаясь ответила Стадникова. — Конечно буду. В контору к тебе заеду обязательно.

— Слушай...

Артур полез в карман.

— Я тебе штуку могу прямо сейчас дать. А остальное — завтра по бумагам посмотрим. Устроит тебя?

— Конечно, солнышко!

Стадникова приняла из рук Ваганяна десять зеленых купюр с портретом президента Франклина и небрежно сунула в сумочку.

— А как там Боря Гольцман? — осторожно спросил Ваганян.

— Нормально. Жив старик наш. Жив и полон сил. Сейчас замучивает какие-то проекты новые выставки, что ли, я не в курсе, если честно. Это его дела. Курить бросил. С сердцем, вроде, тьфу-тьфу-тьфу, порядок.

— Ну да, славно, славно. Слушай, а с Огурцовым ты не общалась последнее время?

— Нет. А что?

— Да так. Я вчера у него на презентации был. Думал, мало ли, и тебя там увижу...

— Не-е... Я только сегодня утром приехала. А Огурец — он снова пить начал. Как у него деньги пошли за романы его — рухнул в клевость.

Стадникова покрутила в руках пустую рюмку и в очередной раз кивнула официанту.

— А, знаешь, когда он пить начинает, у него башня совсем съезжает...

— Ну, творческий человек, с кем не бывает, — хмыкнул Артур.

— Точно. Не знаю, может быть, когда в Питер приеду, заскочу к нему... Хотя, он, вроде бы, на дачу собирался до конца лета... А сейчас в Москве он, ты говоришь?

— Ну да. Вчера виделись.

— Ладно... Может быть, пересечемся. Хотя у меня тоже тут дел по горло.

\*

Артур ехал по Садовому кольцу. Так, со Стадниковой пока торопиться не стоит. Лишняя шумиха сейчас совсем не к чему. И без этого не знаешь, за что первым хвататься. Да еще эта история с «Черным лебедем». Угроздило же парней перессорится в самый неподходящий момент. Два миллиона кассет продано, заявлен второй альбом, а господа артисты заявляют, что видеть друг друга не хотят. И было бы из-за чего. Ну, поссорились из-за денег, это понятно. Понятно и легко решаемо. А тут глупость какая-то, чушь несусветная, детский сад, гусарщина дешевая — грызня из-за женщины. Девчонку какую-то, вертихвостку поделить не смогли господа артисты. И было бы из-за кого. Тем более, что в каждом городе у «Лебеда» аншлаг — выбирай любую. Сами на сцену рвутся, сметая охрану. Так нет же, по самому идиотскому варианту сыграли. И что теперь, спрашивается, делать, если все летит в тартарары. А спрос за новый альбом с кого? Правильно, с него — с Артура Ваганяна. Артистам — им все до лампочки. Вот и приходится теперь Артуру выплясывать половецкие пляски, каждого уговаривать, водкой поить, сопли вытирать пятидесятилетним седовласым старцам. Впору самому за всех отпеть-отыграть, в студии свестись и самоиздаться — нате!

И девка эта, черт бы ее взял! Разговаривал с ней Артур, и не раз, и не два. Просил, умолял войти в положение. Деньги предлагал — ни в какую. И выбрать никого не может, весь коллектив ей люб. В результате — все в подвешенном состоянии, а она еще и Артура в постель потащила. Еле вырвался еще не хватало.

Всякий ловит кайф по своему. Вот и пигалица эта кайфует. Еще бы держит за яйца целое стадо мэтров отечественной эстрады. Все пигалицы страны ей завидуют черной завистью. А Артур, вдобавок ко всему, после того, как от утех любовных с ней отказался, стал для пигалицы врагом номер один. Ну и для старцев-«лебедей» само собой.

Артур глянул на часы. Успевает. Артур Ваганян торопился на конспиративную встречу с ударником «Черного лебедя» — единственным представителем славного коллектива, с которым у Артура сохранились остатки дипломатических отношений. Иного пути воздействовать на токующих «лебедей» в этой водевильной ситуации сейчас просто не существовало. Студия оплачена, простаивает, деньги уходят в никуда, а господа артисты по слухам смотрят порнуху и медитируют на пигалицу.

А тут еще Огурец этот со своим бредом. Может и права Стадникова, когда говорит, что крыша у Огурца едет. Ведь он, когда про Лекова ожившего рассказывал, пьяный уже был.

После ударника надо еще успеть в контору. Дизайнер должен придти, обложку принести на подпись. Обложку, мать ее так, второго, незаписанного еще альбома «Черного лебедя». В отличие от пигалицы дизайнера бы этого Ваганян трахнул с превеликим удовольствием. Да времени нет. А девчонка хоть куда, хоть и вся на понтах. И гонорары такие заряжает — мама не горюй. Зато альбомы с ее дизайном уходят не в пример прочим. Умеет нужную сумасшедшинку поймать — такую, которая глаз останавливает.

И кого, спрашивается, отправлять ожившего Лекова искать. Из администрации. Так мол и так, Лекова знаешь, мы еще трибьют его делали. Тут такие дела, вроде ожил он. Ты б походил по Москве, поискал.

Бред! Совсем, скажут, шеф спятил. Черных яиц переел. Слухи идиотские поползут. Сразу в газетах информация появится. Будут вместе с «Черным лебедем» склонять. Фотографии на первой полосе — вместе с пигалицей и какими-нибудь трансвеститами — фотомонтаж слепить — пара пустяков. А потом доказывай, что не было ни пигалицы, ни трансвеститов, а просто парился Артур в бане с самыми заурядными проститутками — кто этому поверит? Даже человек, похожий на генерального прокуратора не смог отмыться после бани своей роковой. А

уж Артуру-то — куда ему с прокуратором тягаться. Не отмоемся.

Ему, Артуру Ваганяну это нужно? Нет, ему это совсем не нужно. Пусть газеты и телик «Лебедем» тешатся и прайм-тайм слезливыми излияниями похмельных влюбленных старцев забивают. Народ это любит, народ это смотрит. Звонят, подбадривают, болеют. Одни за певца, другие за гитариста. Те, кто совсем отмороженные — те за клавишника. Ну и пигалицу, понятное дело, вниманием не обходят.

Греку нужно звонить, вот кому. У него есть люди, обученные такого рода делам. Специалисты.

Ясное дело, что сам Грек этим делом заниматься не будет. У него и так головной боли хватает. Цены на нефть падают, выборы в 1310 округе почти проиграны, пошлины на подержанные иномарки поднимают, с таможенной проблемы из стран Юго-Восточной Азии комплекующие для компьютеров теперь гнать стало совсем невыгодно.

Но работники-то у него есть, поможет, пару-тройку ребят подкинет грамотных.

— Але-о! — пропел Артур в трубку мобильного. — Георгий Георгиевич? Здравствуйте. Артур беспокоит...

\*

Артур был удивлен. Прежде у Георгия Георгиевича не было золотых зубов. Ни о одного уважающего себя публичного человека в Москве золотых зубов нет. Фарфоровые, металлокерамика — чего проще. Не так уж и дорого.

— Чего смотришь? — спросил Грек, проглотив седьмого по счету (счет вел Артур) маринованного воробья. — Зубы мои, что ли, интригуют?

Они сидели в отдельном номере мексиканского ресторанчика «Гуано».

— Да не без этого.

Артур знал, что Грек любит фамильярность по отношению к себе, правда, до определенного предела.

— Ха... Я тоже удивился. Фарфор-то ваш, — он подмигнул Ваганяну и тот машинально провел языком по своим передним, дорогим и очень искусно выполненным в хорошей американской клинике зубам, — фарфор-то ваш, он только в молодости хорош.

— Да, наверное, — протянул Ваганян, не понимая, куда клонит Грек. Ясно было уже, что бестактность проявил Артур, так откровенно разглядывая зубы Георгия Георгиевича. Обидится еще, не дай бог. Тогда все

дело насмарку пойдет.

Георгий Георгиевич не обиделся. Сегодня он был в хорошем настроении.

— Не поверишь, — Грек задумчиво гонял вилкой тушки воробьев, плавающих в широкой фарфоровой супнице. — Вдруг протезы мои начали шататься. И десны распухли. Я — к дантисту. Так мол и так. Отчего плохо сделал. Протезы-то на гарантии. А тот руками разводит — крепитесь, Георгий Георгиевич, у вас новые зубы режутся. Регенерация, дескать, в вас, Георгий Георгиевич, полным ходом идет. В крови избыток металлов.

Потом совсем плохо стало. Температура поднялась. Голова свинцовая, руки чугунные. И постоянно кажется, будто окалиной пахнет. И никаких мыслей только таблица Менделеева перед глазами — и так две недели, представляешь? С ума сойти можно. Унитаз пришлось менять — пошел однажды, извини, не к столу будет сказано, покакать — бац! Иридия кусок как вылетел — и все. Унитаз, считай, как не было. Потом, дней через пять тошнить начало. Чем только, меня, Артур, не рвало. Гафнием кашлял, ванадий метал в раковину, титаном сморкался, столько пережил, врагу не пожелаешь. Лежал, плакал как дитя, кашкой питался, а металл прет и прет. Много переосмыслил. Тебе, Артур, этого не понять, когда утром встаешь, а простыня вся в желтых разводах.

Артур поперхнулся текилой и закашлялся.

— Это не то, о чем ты подумал, — спокойно продолжил Георгий Георгиевич. — Потел, понимаешь, по ночам солями урана. Девки бояться меня стали. Светиться по ночам начал. Бр-р-р.

Грека передернуло и мобильный телефон Артура пискнул.

— Не обращай внимания, — сказал Грек. — Это у меня остаточные явления. Ты, кстати, аккумулятор поменяй. Слетел, точно. Ты не первый уже...

Грек вздохнул.

— Что я пережил за это время, не описать словами. Во рту треск стоит новые зубы старые протезы ломают. Штифтами плевался, все уже проклял. А потом вдруг полегчало разом — прорезались. А что теперь, рвать их прикажешь? Дантист предлагал, а я ему: хрен тебе. Своя ноша не тянет.

— Дела, — озадаченно сказал Артур.

— Во-во, — Георгий Георгиевич подцепил одну из воробьиных тушек и, прищурясь, вглядывался в тусклый глаз маринованной птицы. — Халтурщики!

Сверкнув зубами он откусил воробью голову. Похрустел клювом.

— Вот так всегда. Вроде приличный ресторан, а и тут развести

норовят. Знают же, что я всегда самцов заказываю. Ан нет, обязательно хоть одну самочку, да подсунут. Совсем в Москве покормиться нормальному человеку стало негде. Еще немного — по вокзалам пойду беляши жрать. Так что за дело у тебя, Артур?

— Дело-то...

Артур посмотрел на уминающего последнего воробья Грека и дело его вдруг показалось ему ничего не стоящим, пустячным и глупым.

— Георгий Георгиевич...

— Ну-ну.

Съеденная воробьях печально пискнула под пиджаком Грека.

— Вы помните такого певца, Лекова?

— Конечно, — ответил Грек.

— Так вот он...

— Он же помер, насколько я знаю?

— Да. В том-то и дело, что помер. Только один мой приятель сказал, что видел его в Москве несколько дней назад. Проверить бы — он или не он... Большой конфуз может выйти, если Леков до сих пор жив. Нет, я, конечно, как и вся фирма наша, только рады будем — человек ведь... Но с правами там, со всей бухгалтерией сложности возникнут. В общем, если он жив, то заранее нужно знать — чего ждать, к чему готовиться. Понимаете меня? Прошу Вас, если есть такая возможность, дайте пару парней, чтобы выяснили — он это, или не он?

— Регенерация, — понимающе кивнул Грек. — Это мне знакомо.

Он отодвинул от себя блюдо с гуано.

— Предупреждал я этих уродов английских — не играйте в клонирование. Опасное это дело. Так нет, Долли, все-таки, вырастили. Ну, я тебя слушаю, продолжай.

— Да я, собственно, уже все сказал, — Артур пожал плечами. — Поможете?

— Обязательно. Тебя это серьезно беспокоит?

— Не только меня, — ответил Артур. Владимира Владимировича тоже.

— А-а... Ну. если Вовку это задевает, тогда вопрос решим. Где, ты говоришь, его видели?

— На улице Космонавтов. Он там у ларька болтался. Вот, на всякий случай, фотография.

— Да что я, в самом деле, Ваську не знаю? И без фото разберемся. У тебя все?

— Все, — сказал Артур.



— Тогда — пока.

— До свидания, Георгий Георгиевич.

Грек поднял блюдо с круто наперченным гуано и шумно хлебнул через край. Артур Ваганян, чувствуя, что его сейчас вырвет, быстро встал, вышел в зал, миновал пеструю стайку весело щебечущих трансвеститов, сидящих в гардеробе, сунул десять долларов швейцару в сомбреро и, только усевшись в свою машину, почувствовал, что отпустило. Тошнота прошла, зеленые мушки, замелькавшие перед глазами при виде тарелки с гуано рассеялись и руки перестали дрожать.

Артур неожиданно решил позвонить той самой девчонке — дизайнеру. Предупредить, что он немного задерживается. Глядишь, что и сладиться у них сегодня. Хорошо бы было ее, наконец, трахнуть. Необходимо просто — после «Лебеда», после черных яиц шефа, после Грека с его гуано и поющими в желудке воробьями, после регенерированных зубов — после всего этого просто необходимо трахнуть дизайнера.

И к чертям эту мексиканскую кухню.

Телефон не работал. Аккумулятор, как и предупреждал Грек, вылетел.

\*

— Гена, ну что?

— Что-что, я же сказал, найдите мужика, мешает он нам.

— Мешает?

— Ну. Долго объяснять нужно? Мне сам Г.Г. звонил. Понял?

— Понял. Нет базара.

— Ну вот. А то, я уж думал, тебе как мальчику все нужно по полочкам...

— Не-е... Мороженого мне покупать не надо.

— Вот и я так думаю. Короче, понял, о чем речь?

— Йес.

— Ха... Инглиш?

— Хе... Не-а... Так, просто в базаре в тему легло...

— В общем, этот мужик нам все сливает. Лишний он, понял? Разберись там, как умеешь, да?

— Нет проблем, шеф.

\*

Тоже — подумаешь, проблема? Отследили мужика на раз — грузчик из овощного. Не шифровался совершенно. А, с другой стороны, хрен его знает, кто такой? Если сам Грек через Витю задание дал — слить мужика. Значит — крутой. Значит — надо так. Значит — серьезно нужно к делу подойти.

Вышел из магазина своего. В троллейбус сел. Знаем мы таких конспираторов. Подумаешь — на троллейбусе... Некоторые, вообще, под бомжей косят. Вот, как Егор, например. Егору можно только позавидовать. Слился на время, отсидится в подвале своем, а у самого-то — квартира, антиквариатом набитая, да не в Москве этой, загаженной, а в Бангкоке. Портной-то, портной он был, конечно, но дело свое туго знал. Эскадрилья «МИГ»-ов только оперением хвостовым покачала, пролетая мимо портного Егора. Кто же знает сейчас, отчего через три дня после того, как портного Егора выслали из Вьетнама ВВС Таиланда неимоверно усилились? Никто. Я только слышал об этом. И я об этом никому не скажу.

Стоит рот открыть — тот же Егор, который, как бы, бомж, первым плюнет в лицо. Бритвенным лезвием, как их там учили в портняжном училище. Кладешь на язык лезвие, потом плюешь специальным методом — в горло, например, собеседнику непонравившемуся, или, там, в глаз — в любом случае приятого мало. А Егор эти штуки умеет проделывать. И не только эти. Иначе не было бы у него банковского счета в Швейцарии, грин-карты американской и гражданства Доминиканской Республики. А то, что он бомжом сейчас по Москве гуляет — его личное дело. Трудный период. Кризис личности. С мужчинами всякое бывает. Но — тем не менее, с Егором ссориться я не стану. Сделаю, как приказано. Слить лишнего — значит слить. А Егор — ну его в задницу. Он пока в Юго-Восточной Азии терся с триадами ни одну рощу побегов молодого бамбука схарчил. Теперь к Егору только сунься — тут же уснешь, а когда проснешься — через тело твое побеги молодого бамбука прорастают. И, несмотря на то, что Москва — город кавказский, к звону юаней прислушивается.

Нет, лучше уж делать и не думать ни о чем. Тем более, что за мужиком, на слив подписанным, вроде, ничего нет. Связи нулевые.

Хотя — раз нулевые — это уже подозрительно. МОССАД, может быть, ФБР, может быть, шпион из Монако или — упаси господь, Люксембургский резидент, а, возможно, и из Монако щупальца тянутся через грузчика овощного магазина Славика.

Кто такой этот Славик? Живет, практически, в центре Москвы. Почему? Квартира окнами выходит на улицу Космонавтов. А в доме напротив кто живет? В доме напротив живет, как я разведаль, живет шурин

космонавта Ерофеева. Тот самый, который сто восемь дней на орбите пробыл. На седьмой день скинул возвращаемую капсулу, а на девятый день вышел в открытый космос, за что и получил орден.

Я за ним иду. Нет, не за космонавтом Ерофеевым. И не за его шурином. А за Славиком — грузчиком из овощного, за которым такая символика — дух спирает. И я должен его слить. И я его солью. Славика солью, а не дух. Дух слить нельзя. Дух сливается сам. Дух — он вроде электрического заряда. Пока тело-престол его удерживает, он с тобой. А как перестает удерживать (ну, к примеру, духа много становится), он и стекает сам.

Разливается по земле, испаряется, нарушает все прогнозы погоды тайфунит, торнадит, ливни и наводнения провоцирует в районах, вовсе и не готовых к ливням и наводнениям.

Глобальное потепление на горизонте маячит. Ученые всего мира головы ломают — с чего бы это? А я знаю, с чего. Много людей не своей смертью умирает. Вот от этого и потепление. Экстрасенс знакомый в ноосферу выходил. Такое увидел, что даже рассказывать не стал. Напился после выхода в ноосферу, заплакал, как маленький... Потом только, утром, когда пива выпил, сказал — такое видел, сказал, столько их там... Представь себе, говорит, аэропорт Кеннеди. И все, кто там бродит, кто за стойками билетными стоит, кто в барах сидит, кто тележки с багажом таскает, в очередях на таможне, за кассами, в туалетах, на автостоянках — все мертвые. Вот она — современная ноосфера. Хочешь поглядеть, — спросил экстрасенс. Нет, — сказал я.

Я не буду глядеть на его ноосферу. У меня своих дел по горло. Мне нужно грузчика Славика завалить.

Чего проще.

Двоих поставил у его парадняка — эти ребята не промахнутся. Витек и Рыба. Если что — сольются оба в «Матросскую Тишину». Забаксаем за них, понятное дело, ребята молодые, горячие, нужные. Первая проба у них. Мокруха, как они сами говорят. Я это слово давно забыл. Вспоминаю только тогда, когда вот такие пацаны шепелявят — «На мокруху нас подписываешь, командир?»...

Какая вам разница, пацаны, убивать, или просто морду бить — один черт. Черт — он за нас...

Я сижу в машине — говно машина, не моя, вишневая «девятка», которую я взял сегодня — из Петропавловска-Камчатского угнала братва, специально для меня. Смотрю на них.

Объект к парадной подошел. Витек первым выстрелил — молодец, будет толк из него, не мандражирует, держит себя. Рыба контрольный

сделал — тоже, соображает... Ну, садитесь, парни в машину, быстрее, быстрее...

Хорошо. Молодцы. Поехали.

## Глава 8. Анна Каренина

*hand on the arm, seal on the wing  
in barracks of doubt they are washing  
my notebook is wet  
I know what for I walk on this earth:  
be easy to fly away*

*A. Bashlachev. Translated by A. Rodimsev*

Ранним утром переходить Садовое кольцо — одно удовольствие. Иди где хочешь. Ментам это давно по фигу. Вот если под машину попадешь — тогда для них головная боль и начнется. Но в это время суток такое вряд ли возможно. Если только специально подловить бедолагу-водитиу. Подкараулить и нырнуть неожиданно под бампер. Или на капот. По желанию.

Но водитель нынче ушлый пошел. Без тренировки, с первого раза вот так, на таран пойти — не каждый сдюжит. Да и машины не те, что прежде. Юркие падлы, руля слушаются, тормоза держат — это вам не «лохматки» семидесятых под те только ленивый не попал бы.

Да и водители — трусливые стали, берегут свои тачки. Головой ведь можно так капот срубить, что одного ремонту будет на месячную зарплату банковского клерка. Да еще штрафы, да подмазать там кого... В общем, сплошной геморрой. Так что под машину — дохлый номер. Особенно, в это время суток. Когда дорога пустая, когда все видно за версту. Днем — еще куда ни шло, но в это время суток — хрена лысого.

В это время суток можно под автобус. Можно. Попробовать, то есть, можно. Но тоже шансов мало. А вот под троллейбус — это да. Под троллейбус самое то. Ползет он, ползет, можно рядом с ним пешочком, пешочком, а потом р-р-раз! Спрут! Бросок вперед, потом прыжок в сторону, да с разворотом, таким чертом, двойным тулупом, короче, загляденье.

Собственно, Анне Карениной, к примеру, в наши дни разве только под рогатого. Она же старенькая уже совсем старенькая была бы. Да и не в этом дело. Приличный вокзал сразу скажет — «отказать». На перрон без билета не пустят. А старенькой Анне в очередях маяться... Нет, не пошла бы Анна на приличный вокзал. А на неприличный, туда, где без билета можно под поезд дворянская кровь не пустила бы.

Нет, только к троллейбусу пошла бы Анна. Есть в этом некий вызов. Вот вам, мол. Эпатаж, мать его.

Мысли о старенькой Анне разметающей юбки, залихватским «двойным тулупом» уходящей из жизни под старый троллейбус заставили Огурца непроизвольно улыбнуться.

А почему, собственно, старый? Лужков следит за общественным транспортом столицы, машинный парк обновляет регулярно. Да нет, конечно же старый должен быть. Есть в этом стиль. Есть литература. Да и живопись, наверное. Пост-фактум.

Огурцов ступил на тротуар. Теперь от клуба «Флажолет» его отделяла двойная асфальтовая граница. И хорошо, что отделяла. Он и так уже давно отделился. Все отделились. По-настоящему. А сейчас Кольцо, выступив неким асфальтовым символом пролегло запретной полосой и обозначило это отделение визуально.

Мимо Огурцова прошуршал «Мерседес». Не бог весть, что, но, все-таки... «Трехсоточка». Огурцу такого в жизни уже не купить. Это вам любой скажет до сорока хорошей машины не купил — забудь. Так и будет на своем «Форде» битом рассекать под «Кобелинскую Любовь» из старых динамиков и воевать с долбаным замком левой дверцы.

Вот, тоже — едет куда-то, ни свет ни заря. На «Трехсоточке». А Огурец на обочине. Как символично, блин.

— Слышь, мужчина.

Был во «Флажолете». Слушал рок. Понравилось? Понравилось. Что самое паскудное-то — понравилось. Молодые парни, один — просто теленок, тут и про молоко на губах вспоминать нечего, и так видно, что портвейну не нюхал в жизни, одно это молоко сраное да шипучку ядовитую жрет с утра до ночи. Точнее — с ночи до утра. А так давал, такого джазу, что мама, не горюй.

— Слышь, друг...

А вот интересно, если сейчас в «Пекин» зарулить — дадут пожрать? Во «Флажолете» тоже можно было пожрать, но жрать там не хотелось. Там слушать хотелось. Там необычно было. Интересно. А в «Пекине» — там только жрать. Место для жранья. Самое то. Как всегда было — захотел жрать — идешь в «Пекин»... Как двадцать лет назад, с Кудрявцевым, с Лековым. Черт бы его взял. Да, собственно, и взял, ведь... А во «Флажолете» выть хотелось. Где ты, урод, Василек, где ты, мудака, просрававший все, что имел и чуть-чуть еще у товарищей прихвативший, когда во вкус просиранья вошел? Что бы ты сказал, когда этих сосунков, этого теленка, этого в жопу трезвого рокера послушал?

Нет, должны же в «Пекине» круглосуточно кормить, Москва это или не Москва? Обязательно должны.

А этот сосунок, как он легко все, как правильно... Именно так, гаденыш, играл, как они тогда хотели. Ну, положим, у Лекова получалось. Когда не очень пьяный был. А если бы он чаще был не пьяный — был бы он Лековым? Хер знает, кем бы он был, но только не Васильком. Пан или пропал, короче. Панк или пропалк. Получается, что пропалк.

А ни хрена бы ты, Леков, ни хрена бы не сказал. Либо понты кинул, либо просто нажрался мгновенно, как только ты умел. А, скорее всего — и то и другое бы, в комплекте, в твоей, всем известной фирменной упаковке — с матюгами, с битьем посуды и товарищеских лиц, с разрывание в клочья платьев интересных дам. С лековщиной, короче. Что тебя сгубило? Лековщина? Очень может быть. А может — нет.

Нет, конечно, конечно в «Пекине» накормят. Или — ну его? Вот, та же Анна — если бы она все-таки решила под троллейбус тулупом — пошла бы она сначала в «Пекин» зажевать чего-нибудь напоследок? Схарчить лангет-другой? Жульенчик навернуть? Или по-плебейски, с нищенски пустым желудком дала бы на Садовом акробата-камикадзе? Нет, дворянская кровь непременно бы ее сначала в «Пекин» погнала. Бламанже, Дом Периньон, бекасов по-нормандски, устриц, икорочки, нет, икорочка — это для купцов, да под троллейбус с икорочкой в животе как-то не очень эстетично. То ли дело — с бекасами по-нормандски. Сразу увидят люди — аристократа задавили. А то — икорочка... Тьфу, скажут люди, совсем зажралась. С жиру бесится. А про бекасов такого не скажут. Они незаметные, ну птица и птица, только знающий человек оценит. «Бекас», подумает знающий человек. Значит, причины у бабки серьезные были... С бекасами-то под троллейбус.

Постоит такой человек с минуту, поглядит на бекасов, опечалится да и пойдет домой Тургенева читать. И спросит себя — чего же старуха в Баден-Баден умирать не поехала, как все приличные люди, а на Садовом кольце кеды выставила...

— Оглох, что ли, товарищ?

Низкий, хриловатый, со скрытой визгливостью, однако, с неуловимыми обертонами, присущими только слабому полу.

Огурцов вдруг понял, что он стоит прямо перед неопрятно одетой дамой неопределенного возраста и что эта самая дама уже в третий (подсознание зафиксировало) раз обращается к нему не то с вопросом, не то с предложением.

«Нашла себе товарища...».

— Курить есть?

«Нашла себе товарища...»

Огурцов никак не успевал додумать фразу до конца, все время останавливаясь на «товарище».

— Я вижу, ты удалбан, мужчина.

Не вопрос, а констатация.

«Нашла себе това...».

— МАРИКИЗА?!!

Женщина неопределенного возраста, неопрятно одетая открыла рот и замолчала. Зубы в неопрятном, неопределенного возраста рту были, как успел заметить Огурец, вполне респектабельные. Чуть ли не фарфоровые.

— Ты кто, мужчина?

Маркиза отошла на шаг, прищурилась.

— Етит твою мать! Огурец! Ты-то здесь как? Ты же теперь крутой, говорят? Икрой рыгаешь!

Грязное троллейбусное колесо переезжающее сухонькое тельце увядшей Анны Карениной и красная икра в последней предсмертной отрыжке.

Коньяк «Хеннеси» поднялся из глубин желудка к альвеолам.

— Тебя тошнит, что ли, Огурцов? — забеспокоилась Маркиза.

— Старик «Хеннеси», — просипел Огурец.

— Кто? — не поняла Маркиза. — Ты побллой, побллой как человек, покашляй макаронами, легче станет... Ой, Огурцов, тебя просто не узнать... А что за старик-то? Знакомый твой? — затараторила Маркиза.

— Более чем, — с трудом проглотив наполовину переваренный коньяк просипел Огурец.

— Иностранец?

— Угу.

— Ну, я всегда говорила, что иностранцы до добра не доведут. Помнишь, как я с ирландцами нажралась? Мне три ночи потом всякие Конаны снились, морды эти красные, ирландские, зеленые, блин, рукава... Причем, что интересно — во сне ориентируюсь нормально. Конан и Конан. А очухаюсь — что за Конан, какой Конан — откуда я знаю. Потом только сообразила — книжка такая. А как сообразила — враз мне полегчало. Потеть по ночам перестала, сон нормальный, мужики стали нормальные сниться, бабы тоже... Ну, ты знаешь. А потом мне Лео эту книжку принес — там на обложке этот Конан — ну вылитый, как тот, что ко мне во снах являлся. С чудищем каким-то пехтерится... Красочно так все, целофанированная обложка, 7БЦ, офсет, ну, все дела. Конан этот на



обложке от крутости лопался под целлофаном. А чудище — тоже лопалось. От анатомических противоречий. Помнишь?

— А ты не изменилась. Ни на и'...

Слово «йоту» Огурцу произнести не удалось. Снова подкатила тошнота, он икнул, прикрыл рот ладонью.

— Желудок не держит, — тихо вымолвил он, потя и трясась.

— Ты тоже. Только лицом раздался. Знаешь, ты так стоял, я думала, ты под троллейбус сейчас сиганешь.

— Да? А я про Анну Каренину думал.

— Я же говорю — не изменился. В хламину пьяный — а про Анну Каренину. Или про Ленина. Курить-то есть у тебя?

— Есть. На. А ты чего, в Москве теперь живешь?

— Я где только не живу.

Маркиза сунула в рот сигарету и вытащила из кармана бордового, с вытканными на груди желудями пальтишка — обшлага кармана были сильно потрепаны — зажигалку «Зиппо». Эта «Зиппа», по мгновенной, на уровне рефлекса, оценке Огурца должна была стоить, минимум, долларов двести. А то и все триста. Огурец чуял подлинность дорогих вещей нутром, как хороший «ломщик» или банковский служащий определяет наощупь подлинность, достоинство и номинал любой купюры.

«Ну, пальтишко и „Зиппо“ — это ее стиль. Наркотой, что ли, она торгует?».

— Наркотой торгуешь? — спросил Огурец.

Последняя информация, которую он имел о Маркизе была более чем печальна. Маркиза, по слухам, сторчалась вконец и, в этой связи, собиралась заняться курьерством. Товар возить.

— Да не-е...

Маркиза глубоко затянулась огурцовским «Мальборо».

— О! Настоящие! А то я подумала, было, что ты, как лох — с «Мальборо» ларечным рассекаешь. Крутые-то, они «Мальборо» не курят.

— Это смотря какое «Мальборо», — ответил Огурец.

— Переломалась я, Саша, — сказал Маркиза очень серьезно. — Веришь?

— Верю, — неопределенно повел плечами Огурец. — Конечно верю.

— Не веришь, — убеждено сказала Маркиза. — Никто почти не верит. Ну и хрен с тобой. А я квартиру продала питерскую, замуж вышла. Теперь вот здесь обитаю.

— А он кто?

— А какая тебе разница? Я с ним уже развелась.

— И что теперь?

— В Теплом Стане у меня квартира. Однокомнатная, так мне больше и не надо. Знаешь, кайф такой — лес из окна видно. Настоящий. Воздух, озон. Только, все равно, спать не могу. Дурь по ночам снится. Но я — как штык. По ночам работаю, а днем сплю. Днем сны не снятся. Я, Огурец, предел свой увидела. Ты видел предел свой?

Огурцов отвел глаза.

— Видел? — требовательно спросила Маркиза.

— Видел.

Он вдруг закашлялся и от этого ему неожиданно стало легче. Старик «Хеннеси», мурлыкнув в гортани, уполз обратно в желудок и там затаился в ожидании полной ферментации.

— А занимаешься-то чем? — чтобы как-то разрушить неожиданно печальную паузу спросил Огурцов.

— А дизайнер я, — беспечно ответила Маркиза. — Между прочим, модный.

— Да? — с сомнением посмотрев на бордовое пальтишко спросил Огурцов.

— А в кайф мне так, оценив его взгляд сказал Маркиза. — В кайф. У меня шмотья дома этого — по углам кучи лежат, в шкаф не лезет. А мне по фигу. И быки на улице не пристают. А то я пару раз вышла цивильно, так не знала, как отбиться. Мимикрия. Знаешь, что я делаю-то?

— Что?

— Обложки для всякой попсы московской. Ну, для компактв, для видеокассет... плакаты, шмакаты. Платят — боже ты мой! Сама не понимаю, за что.

— Ну да, — покачал головой Огурцов. — Я тоже не понимаю. Слушай, а ты есть не хочешь?

— Есть? Хочу. А что? У тебя бутерброд в кармане заготовленный лежит? Ты заранее знал, что мы встретимся? Взял колбаски, сырику... Вот, думаю, Маркизу встречу, колбаской накормлю.

— Перестань. Пошли в «Пекин»?

— Ну. пошли. Каждый платит за себя, или как? У меня бабки есть, могу угостить.

— Да брось, Маркиза, не выеживайся. Пошли.

Троллейбус был очень старый. Окажись он обычным, то есть, новым, со сверкающими, только что вымытыми в гараже боками, с чистенькой табличкой, на которой аккуратным хорошо читаемым шрифтом обозначен маршрут движения, не сели бы в него ни Огурцов, ни Маркиза. Ходу до «Пекина» было минут пять. Это если с душевной беседой. Если нога за ногу. А молча — так и вовсе — рукой подать.

Но чудовище, со скрипом и стонами возникшее из-за спины Маркизы сразу очаровало Огурцова. Если не сказать — загипнотизировало.

Как это мэр Москвы проглядел, облажался, дал маху, обмишурился, обо... Как, кто, зачем позволил появляться на свежих утренних улицах столицы невероятному средству передвижения?

Этот троллейбус был асоциален. Это был бомж в счастливой семье московских троллейбусов. Это был опустившийся, обрюзгший, потерявший ум, честь и совесть троллейбус-хмырь.

Огурцов сразу понял, что троллейбус этот чем-то похож на него. На известного писателя, который никогда в жизни не ходил проторенными путями.

«Некоторые, — вспомнил Огурцов, — шагают в ногу вместе со всеми... А некоторые, — фраза капитана милиции, с которым беседовали в молодые годы Огурцов и Полянский, — некоторые гады выбирают окольные дорожки... чтобы не шагать в ногу... чтобы...».

Он сразу почувствовал симпатию к троллейбусу. Этот, явно, ни с кем и никогда не шагал в ногу. Точнее, не ехал в колесо со своими сверкающими чистыми, после мойки боками, цивильными и представительными транспортными средствами. Этот, совершенно точно, ездил окольными путями, подбирал бродяг на неведомых и необозначенных табличками остановках, он сворачивал в закоулки, он гулял — гулял, так, как хотелось ему и его водителю. Следы прошлого говорили о многом. Вон — с боку плохо отрихтованная огромная вмятина, говорящая о том, что жизнь тащила его через овраги и буреломы троллейбус кренился на левую сторону, покачивался, словно с похмелья, скрежетал тихими, невнятными проклятиями и, казалось, что если бы он не держался за провода дистрофичными ручками-рогульками, то тут же завалился бы на бок неопрятной сине-бурой тушей.

Троллейбус подполз к остановке, на которой стояли Огурец и Маркиза и остановился. Помедлив, но зная, что есть в мире необходимое зло, он попытался раздвинуть вялые шторы дверок-гармошек. Открылась одна — та, что в конце. Две остальные судорожно подергались и застыли в исходном положении.

Огурец и Маркиза заворуженно смотрели на железного выродка. Стояли и смотрели.

Троллейбус тоже стоял. Кажется, ждал. Во всяком случае, стоял он уже значительно дольше положенного для обычной остановки времени.

— Пошли? — тихо спросила Маркиза.

— Пошли, — уверенно скомандовал Огурец.

Они бросились к задней дверце. Когда Огурцов, оступившись на скособоченной ступеньке схватился рукой за шершавый поручень, его ощутимо дернуло током.

— Брат! — восхищенно прошептал он.

В ту же секунду дверца-шторка злорадно зашипев, неожиданно быстро сомкнулась за спиной Огурцова, защемиив полу его пиджака.

\*

Мужик смотрел в окно.

Маркиза и Огурец, несмотря на то, что троллейбус был, за исключением единственного пассажира, пуст, устроились за его спиной. Остальные сиденья не могли таковыми считаться. Где-то не было обивки, где-то она была, но вся в липких, грязных, непонятного происхождения пятнах, а кое-где и сидений-то и вовсе не было.

Оставалась одна, более или менее приличная лавочка — за уставившимся в окно гегемоном.

Солнце всходило и лучи его били в лобовое стекло машины. Несмотря на то, что оно было удручающе грязным, мутным и расцарапанным, лучи эти слепили глаза Маркизы и Огурцова. За спиной гегемона, сидящего впереди, спрятаться от солнца не удавалось. Слишком тощей и узкой была его спина, да и покачивалась она из стороны в сторону, делая невозможным использование ее в качестве тента.

— Пересядем? — спросила Маркиза.

Огурцов снова не услышал ее вопроса. Он вдруг понял, что это тот самый, именно тот самый троллейбус, который он загнал когда-то на киностудии «Ленфильм» ухарям с провинциальной киностудии. Вместе с Мишей Кошмаром, ныне преуспевающим бизнесменом. Он не мог ошибиться. Ему даже показалось, что он вспомнил четырехзначный номер, наляпанный масляной краской над кабиной водителя. Самого водителя видно не было — его скрывала выцветшая от времени и взглядов пассажиров кустарно отретушированная фотография Владимира

Высоцкого.

— Пересядем? — повторила Маркиза.

— Ага. Давай. Только куда?

— А вот, назад. Там тоже, кажется, задницу можно пристроить.

— Если очень постараться, — хмыкнул Огурец, поднимаясь с лавочки.

Они пересели на самые последние сиденья. Теперь Садовое кольцо уползало, уползало вихляясь и покачиваясь в такт с нетвердыми и неровными движениями издыхающего средства передвижения.

Огурцов смотрел в заднее стекло. Уползало Кольцо, уползал «Флажолет», уползала еще одна ночь.

«А гори оно все огнем, зато Маркизу встретил! Мы же так дружили.»

Огурец вдруг понял, что «дружили» в прошедшем времени его не устраивает. Они дружат. Они встретились так, словно расстались только вчера. Информации друг о друге не было, ну, последней информации, зато как легко было. Как просто. Давно не испытывал Саша Огурцов ничего похожего. Казалось ему, что и не испытает уже никогда. А вот — на тебе.

— А ты-то как в Москве? — спросила Маркиза.

— Я? Ну. у меня тут круто...Я же теперь писатель. Книжка новая вышла, презентация вчера была.

— Ты? Писатель?

Маркиза отстранилась и внимательно посмотрела на Огурцова.

— И что пишешь?

— Книжки, — помрачнев ответил Огурцов. — Прозаик я. Пишу про заек. И про Ленина. Устраивает?

— Ясно. Достали тебя вопросами. Ладно. Не буду терзать. Дашь почитать чего-нибудь?

— Конечно.

«Почитать. Это что же значит, что мы теперь с ней будем видеться? Часто? Или это просто так, треп пустой. Ни к чему не обязывающий. Как вчера на презентации».

Огурцов вдруг почувствовал, что со временем происходят странные вещи. Вот они едут, говорят, пересаживаются с места на место, а «Пекина» все нет и нет. Пешком бы уже давно дошли. Ну и троллейбус, однако.

— Сейчас-то откуда пылишь? С чего тошнишь?

— Да так... В клуб тут один сходил. Музыку послушал.

— Во «Флажолет», что ли?

— Ну. Откуда знаешь?

— Так я же москвичка теперь. Мне это знать положено по чину. Правда, там мои клиенты не выступают. «Флажолет» — не попсовое место.

Правильное.

Пролетарий, сидящий теперь за спинами Маркизы и Огурцова вдруг тяжело закашлялся, заперхал, сплюнул на пол и что-то пробормотал.

Тяжелая, по-домашнему теплая, как старое ватное одеяло, волна перегара накрыла Маркизу с Огурцом, лишив возможности слышать, разговаривать, перекрыла дыхание.

— Уф-ф-ф, — выдохнула Маркиза.

Огурцову показалось, что даже свет утреннего солнца потускнел, здания за окном троллейбуса, машины, несущиеся по Садовому, небо — все приобрело синюшный оттенок. Все острые углы сгладились, все прямые пересеклись, а все кривые расправились, мир потерял устойчивость и перестал подчиняться законам физики.

\*

Старенькая Анна Каренина застыла за столом ресторана «Пекин» с крылышком бекаса во рту.

Огурец перевел дыхание и понял, что ни в какой «Пекин» они сейчас не пойдут. Пусть там Анна своих бекасов кушает, в тишине и благолепии. У нее еще много дел. Не стоит мешать старушке. Да, в «Пекин» они не пойдут. А пойдут они, или поедут в «Россию». К Огурцу в номер. Вот куда они поедут. А там уж и бекасиков по-нормандски отождрут и манной каши в столовой для командировочных и черта в ступе — там уж они развернутся. Там уж они оторвутся не по-детски.

— А что, Маркиза, — втягивая носом остатки перегара, все еще тянущегося с переднего сиденья, начал Огурец. — А что, Маркиза, если нам в «Пекин» не пойти? А что если нам в номера завалиться?

— В какие еще номера?

— Ну, не в номера... Ко мне в номер. В «России» я живу. Меня там издатель мой поселил.

— А там мы пожрем? — строго спросила Маркиза.

— Да ты что, москвичка, е-мое... Там все есть. И кабак, и столовая для командировочных.

— Ну да. Так я и знала. Вы, питерские, все такие. Сэкономить желаете на девушке.

— Да ни в жисть! Ты чего, Маркиза? Давно ли ты так стала — «Вы, питерские»? Пойдем в кабак, а то... Или в номер возьмем...

— Лучше в номер.

— Да, я тоже думаю — лучше в номер. А то достало меня по клубам... По кабакам... Во «Флажолете» этом — представляешь? Ничего съесть не мог. Только пил. Разве это дело?

— А чего пил-то и не ел? Там же кухня клевая.

— Музыку слушал, говорю тебе.

Новая волна перегара спереди, новый взрыв кашля. Огурцов подумал, что букет старика «Хеннеси» с его тонким ароматом никогда не победит, не переломит бодрого, вульгарного, витального запаха крепкого дешевого портвейна. Это все равно что с опусом Куперена выйти супротив «Металлики».

— Ты знаешь, — заговорил Огурцов. — Я там такое видел... Таких ребят... Они играют... ну, как звери просто. В хорошем смысле. Не скажу — как Боги, но рокеры настоящие. Мы все обломались. Ты вот для попсы рисуешь, я дюдюки пишу... Мы сломались. Мы же это все начинали, мы хотели побить эту стену. И сами стали кирпичами. В той же стене. Навозом легли в навозную кучу. А они... Им все по фигу. Они так чешут, давно такого не слышал. Я, знаешь, уже и дома музыку почти перестал слушать. А эти парни — они меня просто перевернули. Вот, Леков, не дожил, собака, он-то умел, он мог, но — все в бухло ушло. Все! Что бы он им сказал, этим ребятам? Что портвейн для человека больше значит, чем музыка? Понтанулся бы просто... И все. А они пашут. А мы что играли? Русский рок? Так они знаешь как его называют? Говнорок. И правильно. Так и нужно... А с Лековым... ты знаешь, мы дружили с ним. Насколько вообще было возможно с ним дружить. И о мертвых плохо не говорят, да. Но меня все равно зло берет. Человеку было дано такое, такое, чего даже у этих ребят молодых нет. А он... А, что говорить. Пошли, выходим. Тачку возьмем до «России».

Троллейбус забился в очередном пароксизме осознания работы, как необходимого зла и приступил к торможению. Дело это было для него не простое. Заскрипев всеми своими железными членами, затрясшись от отвращения к обязательному графику он начал замедлять ход дергаясь и даже, кажется, потея.

Огурец встал, его качнуло и он снова рухнул на сиденье рядом с Маркизой.

— Козлы дешевые! — раздался за его спиной сиплый пропитой голос. Козлы вонючие!

— Чего? — успел спросить Огурцов, но тут его прошила очередь такого четкого, отборного, крепкого как фасоль мата, что говорить дальше он уже не мог. Только слушал со злобой, постепенно переходящей в

восхищение.

... ..  
... ..понял, мудила  
грешный? В «Россию» ползете, плесень?

\*

— Ешкин корень! — вдруг прошептала Маркиза. — Не может быть!..

— Ты чего? — не понял Огурец. И осекся.

Маркиза открыв рот смотрела на гегемона.

Огурец снова хотел вскочить, но ему не дали. Грязная лапа с силой нажала на плечо.

— Сами значит жрать... — В сиплом голосе слышалась ирония  
вперемешку с издевкой.

Огурец вырвался из под лапы. Вскочил. Повернулся и...

Пролетарий был небрит и грязен. Одетый в дешевую китайскую  
нейлоновую куртку. Лысый. Землистого цвета отечным лицом и мешками  
под глазами.

— Васька... — не проговорила — выдохнула Маркиза.

— Хераська, — осклабился гегемон, обнажив остатки зубов. — Вы  
куда без меня, твари дешевые собрались? Пить?

И вдруг испитая харя на глазах начала меняться, трансформироваться,  
проходя через множество образов, знакомых и незнакомых, пока не  
утвердилась в неповторимо наглой роже Васьки Лекова. Такой, какой она у  
него всегда делалась при волшебных звуках слова «пить».

— Так тебя же убили? — растерянно протянул Огурец. — Слушай, а  
ты так на Славика похож...

— На какого еще Славика? А, на грузчика этого... Да ладно вам.

— Да ты же мертв, — уверенно сказала Маркиза. — Что ты нам тут  
мозги паришь?! Я таких глюков на своем веку перевидала...

— Да? — изумленно воззрился на свои стоптанные ботинки Леков. —  
Очень может быть. Москва такой город. — Он сделал рукой  
неопределенный жест. Опасный! Тут каждый день кого-то убивают. Так что  
ничего удивительного. Так пить-то поедим? Или про козлов сопливых  
будем ласы точить? У вас чего пить?

— погоди, — Огурец сделал движение рукой, будто стараясь  
отмахнуться от невероятного видения. — Ты чего поделяешься-то?

Спросил первое, что пришло на ум.



Леков громко рыгнул.

— Живу. — Он сгреб Огурца и Маркизу за шеи И, пригнув их головы к своей, просипел, обдавая их перегаром: — Давно живу. Все вас уродов поджидая. Так мы едем в деревню Большие Бабки?

— Пошел ты НА... — разом, не сговариваясь, ответили Маркиза и Огурец.

\*

Тени долгой ночи вынуждают бежать,  
Безысходность приводит к решительным мерам.  
Где тот угол, в котором ждут  
В какой комнате за полночь не заперты двери  
Угадайте, кого мы поставим сегодня примером  
Кто хозяин квартиры где нас ждут и на запах,  
Собираются те, кто пока что не верит  
Это Мастер Краев  
Великий магистр трофейного Ордена Лени  
Мастер Краев  
Повелитель станков, фрезой терзающих сталь  
Представитель слюною забрызгавших все поколение  
Отказавшийся встать на ступень чуть выше  
Ступени для тех, кто устал  
Мастер Краев  
Не бойтесь бунта — вы вечный король опозданий  
Мастер Краев  
Заклинатель Зеленого Змия и гровер души  
Искусавший все локти в попытке постичь мироздание  
Стоически мечущий мятые стрелы  
В субстанции тех кто спешит  
Отрастивший свой хайр когда поздно всходить  
В полукруг колоннады  
Но все же чуждый наживы и алчущий легкой любви  
Отвечайте своим знаменитым, торжественным, мудрым  
«ТАК НАДО»  
Тем кто в миг самомнения пустого пытается ставить  
Вам это на вид  
Мастер Краев

Достававший нам запах с возвышенных гор Гималаев  
Мастер Краев  
Подаривший нам право на пост  
В нашем пьяном приходе  
Постарайтесь догрызть свою кость никого не облаяв  
Добродушно примите прощальный парад  
Тех кто так безвозвратно уходит  
Воистину  
Мастер Краев  
Весь мир — повторение творения старых мелодий  
Их хриплый крик — укоризна скрижалям вранья  
Интенсивность красного в почве — признак бесплодия  
На посевах разумного, доброго, вечного  
Черным ковром спорынья — собирай ее  
Мастер Краев  
Чтоб отчетливей стали на лицах следы вырождения  
Мастер Краев  
Это круче, чем в полночь уйти по траве  
Мы уйдем, мы устали, мы просим у Вас снисхождения  
Если каждому нечем уже дорожить,  
То пожалуйста Вы покажите как жить  
Ожидая по-прежнему тех, кто пока что не верит.

\*

— Вахтанг, тормозни здесь.  
— Здесь, Владимир Владимирович?  
Вавилов промолчал. Сказано — «здесь», значит — «здесь».  
— За остановкой? — все-таки уточнил Вахтанг.  
— Да, — сквозь зубы прошипел Вавилов. — За остановкой. И троллейбус обгони  
— Во, машины ездят, да, по городу, — дежурно заговорил Вахтанг. — Это же надо...  
Вавилов молчал. Троллейбус. Сколько же лет он не ездил на троллейбусе? На вертолете в офис летал — это было. И обратно. Дорогое удовольствие. А что делать? Жизнь — она дороже любых денег. Эх, было времечко... Москва — не Москва, милиция — не милиция, а знал Вавилов,

что стоит его «БМВ» выехать из гаража — разметут в куски. Хоть там и охрана и менты — один черт. Против лома нет приема. А уж против гранатомета «Муха» и пары — тройки автоматчиков — снайперов на крышах — и подавно. Так что приходилось разоряться на вертолет. Благо, власти разрешили. Хм... Еще бы не разрешили. Сколько для них сделал тогда Вавилов, именно в этот, вертолетный период. Конечно разрешили. Вот и летал над Первопрестольной — утром на работу, вечером — с работы....

— Вот здесь, — бросил Вавилов.

— Вы, Владимир Владимирович, сами, что ли... — начал было Вахтанг, но Вавилов оборвал его:

— Свободен.

— Понял, — ответил понятливый водитель и нажал на педаль газа не глядя в правое зеркало. Если шеф не поручил приглядывать — лучше не приглядывать. Себе дороже. Шеф — он такой. Приедешь завтра за ним, а он и спросит — чего, мол, ты, Вахтанг, в зеркало не меня смотрел? А? И глаза прищурит. Нехорошо так прищурит. Он умеет, шеф, глаза делать правильные. Ушлый он, шеф, ох, ушлый. И как только замечает все? Потому, видно, и крутой. Потому и крутой, что все замечает. Но, на всякий случай, лучше пока хотя бы троллейбус в поле зрения держать. Мало ли что с шефом случится? Где потом такую работу найдешь?

Шеф постоял перед негостеприимно раздвинувшейся гармошкой дверцы. Троллейбус не двигался с места. Шеф, зная, что стоит только притронуться к поручню, то его наверняка ударит током, легко вспрыгнул на ступеньки короткой лесенки не касаясь внутренностей железного чудовища.

Вот салон. В салоне трое. Обычные московские уроды. Бомж, вокзальная шлюха и мужик, явно из клуба какого-то бредущий и, к гадалке ходить не надо, эти двое его сейчас раскручивают. А у мужика, явно, бабки есть. Ну, то есть, эти, ИХ бабки. Мелочуга. Обнимаются. Знаем, знаем, сейчас из карманов все вытянут у мужика и отвалят. Обнимаются. Ха-ха.

— Ни чего себе, пассажир пошел, — сказала шлюха.

— Во, точно! — бомж повернул голову и Вавилов увидел его удивительно молодые глаза. Бомж. Куртка. Штаны. Вонь. А глаза — нарисованные. Не может быть у бомжа таких глаз. Не бывает. Слишком много наглости. Слишком много...

Вавилов сам не мог сформулировать — чего же там такого много. Уверенности? Нет. Уверенности хватает у любого ларечного продавца. Здесь что-то другое. Наглости? Да, наглость... Но какая-то не такая

наглость, непривычная. Или...

Господи! Почему же с таким взглядом этот мудака не пошел до конца. С такими глазами нужно деньги зарабатывать. С такими глазами политику делают. Все имиджмейкеры умерли бы от таких глаз. А вот — Россия. Таланты пропадают. Жаль. Печально.

— Чего уставился? — спросил Вавилов нарочито нелюбезно.

— Я? — переспросил бомж. — Это я на тебя уставился? Да на кой ты мне сдался, козел старый! Подумаешь, тоже — в троллейбус сел и понты кидать. Вавилов... Да я таких Вавиловых... Клал я на вас. Понял?

Шлюха как-то странно засуетилась.

— Погоди, погоди, это же мой...

И что-то яростно зашептала на ухо бомжу.

Вавилов, однако, услышал слово «работодатель».

— Газеты читаешь? — спросил Вавилов, пытаясь скрыть неожиданное беспокойство. Обернулся. За лобовым стеклом троллейбуса маячил черный джип. Молодец, Вахтанг. Дело туго знает.

— Ну, Вавилов я. И дальше что?

— А чего же ты, Вавилов, на троллейбусе рассекаешь, — встряла шлюха. ты не обижайся, мы просто понять хотим. Интересно нам.

— Да нам не интересно, — оборвал ее бомж. — Пошли с нами, Вавилов, пивка попьем. А? Слабо?

Впереди Вахтанг на джипе. Он не бросит. Это точно. Хотя и выговор ему обеспечен. Но — таковы правила. Зарплата его обязывает. Так. Вахтанг. А сам-то что? В носорога стрелял, кто может пулей носорога завалить? У любого охотника спросите? Невозможно. А, ведь, завалил, черт его знает, как. Завалил. И вообще... Не последний человек на Москве.

— Не слабо. Куда, шпана, путь держим? Может, подвезти?

— Нашел себе шпану, — сказала шлюха. — Дешевый ты, Вавилов, людей не сечешь. Хоть и работодатель мой, а скажу тебе натурально, козел ты старый, понял?

— Я твой работодатель? — искренне удивился Владимир Владимирович. — Я?

— Ты, ты. Ты мне зарплату платишь. Кстати, спасибо. Зарплата. Хорошая. Могу угостить.

— Ты уволена.

— Ну и черт с тобой.

Огурец думал, что уже привык к выкрутасам невероятного троллейбуса. Но не тут то было. Садовое кольцо — ровное. Однако, троллейбус вдруг тряхнуло так, что Огурец снова обрушился на

продавленное сиденье. Маркиза плюхнулась ему на колени и зашлась визгливым смехом.

— Ну я не понимаю, мы что тут будем, отдел кадров изображать — уволена — переуволена, все, мэн, гуляй дальше. Мне от тебя ничего не надо.

— Да он тебе ничего и не даст, Леков, — давясь смехом крикнула Маркиза. — Ты не врубаешься. Он теперь тебя мертвого тиражирует. Сечешь парадокс? Ты тоже свободен. Как в го. Ситуация акай. Любой ход самоубийственен. И оттого запрещен. Отвянь, Вавилов... Мы выходим. Тебе дальше.

Вавилов умел быть спокойным. Он знал, что во что бы то ни стало, всегда нужно быть спокойным. В любой ситуации. Какого черта он сел в этот троллейбус? Что его сюда занесло?

А занесло его сюда — Вавилов теперь знал это точно — именно из-за этого бомжа с нарисованными глазами. И не для того занесло чтобы дать этому бомжу вот просто так уйти.

— Эй погодите, — осипшим вдруг голосом окликнул выходящую троицу Вавилов.

— Чего надо, чувак? — обернулась к нему Маркиза.

— Я с вами.

— Он нам нужен? — осведомилась Маркиза у Лекова.

— Ну если бабки есть?

— Слышь, чувак, у тебя бабки есть?

— Как-нибудь, — буркнул Вавилов.

— Ну пошли, — лениво согласился бомж.

\*

Маркизе по барабану, а Лекову по фигу. Как всегда. А мне — нет. Что я здесь делаю?

Огурец положил ладонь на поручень и снова его дернуло током. Да так, что ногти на ногах зазвенели. Причем, каждый на свой лад и очень отстроено. Большой палец левой — До. Мизинец правой — Си. В общем — в гамме держались. И то хорошо. А чтобы совсем было хорошо, надо, чтобы совсем было хорошо. Как Маркизе и Лекову. И этому мажору. Кстати, что за мажор? Маркиза, вроде, его знает?

— Ну слушай, Огурец, харэ топтаться, порыли в твои номера или как? Василек совсем утухает, а я жрать хочу как не знаю кто, ну. давай, Огурец, я

не понимаю, а?..

— С нами-нами-нами....

— Что?

— ами-ами-ми-и...

— Чего?!

— Да ты идешь с нами, мужик, или где?!

Вавилов открыл глаза. Ничего себе, ситуация. Заснул в сраном московском троллейбусе с какой-то гопотой. Сегодня вечером с мэром будет встреча, расскажу, ухохочется. Да нет, не поверит. Ладно. Проехали.

— Проехали! Идешь или нет?

— Иду.

Я ли не московский стилинга? Я ли не тот, кто шарил по стриту с коком, я ли не тот, кто слушал Мишу Генерсона, беспалого, я ли не тащился от Володи Терлецкого со «Звездной пылью», а Козла, великого Козла, я ли не перся от него? Я ли не шатался по «Броду», что мне эти обсосы?

— Иду.

Справа брусчатка, слева брусчатка, сверху — небо. Справа — за Гумом не遠деке — Главпочтамт... Там, дальше, Тверская. Горького, то есть. С блядьми. Может, тряхнуть стариной? К блядям-с?

— Ну ты чего там застрял?

\*

Я не застрял. Я смотрю. Я давно здесь не был. Я бываю здесь, но не так, не так... Я бываю здесь часто, я стою на трибуне, что напротив ГУМа, я бываю здесь как спонсор, как председатель чего-то там, как мишень.

А я — я давно здесь не бывал. Я давно не видел этого неба. Этого неба над Москвой. Этого самого синего, самого прекрасного неба, теплого неба моего детства. Я москвич. Я люблю свой город. Я люблю его.

\*

— А мужик-то с причудами, — громко сказал Огурец. — Откуда такого выкопали? Смотрите, только в номер не тащит ко мне, а то разбуянится, знаю я этих ваших москвичей, как разгужбанытся, так тушите свет, а мне потом убирать.

— Умирать ты будешь, хрен моржовый, а не убирать, — сказал Леков.

Понял, козел? Эй ты, дядя!

Вавилов обернулся.

— Ты ко мне?

— К тебе. А к кому еще?

— Пойдешь с нами?

Владимир Владимирович огляделся по сторонам. Владимир Владимирович Вавилов увидел себя стоящим посреди Красной Площади, залитой утренними лучами солнца. Владимир Владимирович Вавилов вдруг понял, что троллейбусы здесь не ходят. Владимир Владимирович еще раз посмотрел на небо.

«Белая горячка? Вот и все. Приехали. Я так и знал. Предупреждали ведь... Дождлся...».

— Эй ты! Мужик! Идешь или нет? Мы ждать не будем. Если что — номер 812. Подтягивайся.

Гопники повернулись и побрели к «России».

\*

Остановились. О чем-то перемолвились. Потом бомж с нарисованными глазами пошел назад, к Вавилову. Остановился перед ним. Оглядел деловито. С ног до головы. Затем сунул руку за пазуху. И вытащил фляжку. Обычную туристическую фляжку. Аллюминиевую. Со вмятиной на боку. С очень грязной пробкой. Открутил. Владимир Владимирович заметил, что пальцы бомжа были на диво чистыми и с подстриженными ногтями.

— Эк тебя пари, эк тебя колбасит, как я погляжу, — заметил Леков. — Ты расслабься, легче станет.

Сунул фляжку Владимиру Владимировичу.

— Глотни.

На вкус во фляжке была обычная чача. Причем, не лучшей перегонки.

— Нравится.

Нарисованные глаза так и буравят.

— Ничего, — уклончиво сказал Вавилов. Пойло было еще то.

— Не вовремя выпитая вторая портит первую.

Владимир Владимирович глотнул еще.

— Хорошо теперь?

— Нормально.

Кремлевские звезды багровели, опухали, концы их оползали, истекая

кровавыми каплями тающего свечного воска.

«Что со мной?» — мелькнула мысль. И тут же исчезла, затертая тысячей других, куда более важных мыслей. А за всем этим, за всей этой мысленной мешаниной ворочалось нечто, что во что бы то ни стало — Вавилов знал об этом — следовало обдумать.

Владимир Владимирович Вавилов стоял посреди Красной площади с фляжкой чачи в руках. Владимир Владимирович Вавилов поднес фляжку ко рту.

Начищенный, да что там, начищенный, вылизанный и отполированный железной дисциплиной и руками салаг сапог ударил о брусчатку — бах! Карабин — стояком на ладони — как учили. Сколько гоняли их на плацу, камушек на конец ствола — ать-два, чтобы не упал, ать — два, чтобы не споткнулся и лицо держать, и спину держать и глаза делать правильные, кому сказал?!..

\*

Юра Мишунин печатал шаг. Карабин на ладони. Выправка — как учили. Сам кого хочешь теперь научит. Почетный караул — бац, бац, бум. Это вам не хрен моржовый. Шли бы вы все... Со своим почетным. До дембеля всего тридцать восемь дней, до свободы — всего ничего. Перетерпим. Главное — не думать об этом ебаном почетном карауле. Главное — делать все так, как учили.

А в голове — что у меня в голове — хрен вам. Не скажу! «Кобелиная Любовь» у меня в голове. Леков у меня в голове. Какой классный пацан был! Жалко, умер рано. А песни клевые писал. «Кобелиная любовь».... О-о-о!..

Карабин на ладони, шаг — как надо, до дембеля всего-ничего.

Ат-два, ать-два, ать-два...

\*

— Меня пригласили. Меня пригласили!.. On a invit\* moi. Et c'est pourquoi que je suis ici.

— Mais qui sont ces gens-l\*? Quel horribles sont ces visages, ces museaux, ces mufles!.. Et encore, moi, je comprends que je suis jeune... Ce gar\*on! Il me semble qu'il s'appelle Ogour\*ts....



— Ну я Ог-гурец, — вяло ответил Огурцов. — А можно по-русски?  
— Можно, — сказала Анна. — Конечно можно, — *Mon Dieu!*  
— Вы такая красивая... хоть и старая. Нет, я... — Огурцов безуспешно пытался справиться со сложным силлогизмом. — Я думал, Вы покончили с собой.

— *Mon Dieu! Suis-je ressemble une femme qui s'est suicide?*

— Но я же читал, проходил.

— *En une de ces coles pour btes?*

— Да, именно там. А где еще я мог бы Вас проходить.

— *Apprendre?*

Ну и манера выражаться, подумала Анна. — Полная нечувствительность к языку. Или нарочитость?

— Нет.

— *Pourquoi?*

— Потому что я не умер.

— *Mais moi, est-ce que tu a decid\* vraiment que je suis morte?*

— Нет, никогда.

— А из вашего окна площадь Красная видна, — встряла ни к селу ни к городу Маркиза.

— Да-а... Но где же этот наш, как его... Кстати, люди, как его зовут-то? Приблудного? — спросил Огурец.

— Ты, Огурец, м-мудак, — отозвалась Маркиза. — Совсем поляну не сечешь. Говорю тебе, это работодатель мой. Бывший. — Она вздохнула. — Вавилов это, во кто!

— Господа, господа, — всполошилась Анна. — Зачем же так грубо? Приличный мужчина такой. А вы его за *une sorte de merde* держите.

— А это кто? — изумилась Маркиза. — Эй, парни, кто тут геронтофил, кайтесь.

— Это подружка моя, — сказал Огурец. — Старая.

— Ну это мы и сами видим. Откуда взялась-то?

— Оттуда.

Огурец честно показал в угол.

— *I see. Shared dream* — подытожила Маркиза. — Ладно, проехали. Глюк так глюк. Мне не привыкать. Слышь, глюк. Может ты отследил, куда Вавилыч ушкандыбал?

Старенькая Анна печально смотрела на *jeuns betes*.

— *Il venait \* chercher de guitare.* - объяснила она девочке по имени Маркиза.

— *Where is a guitar, fuck your mind?* — встрепенулся Огурец. —

Маркиза, tsra-translate.

— Щас! — сказала Макиза. — Сам объясняйся с глюками. Заколебал вконец! Ты врубись, это же не МОЙ глюк. Он общий.

— А в-вот и я, — кокетливо выдавил Вавилов, открывая дверь в «нумера». — О-о! нашего полка прибавилось. Бабулька какая-то. Мадам!..

— Какая я вам бабулька? — обиделась Анна. — Я и не бабулька вовсе. И вообще, наливайте мужчины. У меня поезд скоро. Спешу.

— Не ссы, — успокоила ее Маркиза. — У этого вон колеса. «Джипяра» навороченный. Что за джип-то у тебя, кстати, Вавилов?

— Чероки, — начал было Владимир Владимирович, но Маркиза не дала ему договорить.

— Во! Джип — широкий. Я же говорила, тачка — на всех хватит. Все влезем. Влезем, а, хозяин жизни?

— Влезем.

Вавилов усмехнулся.

— Джип и правда, широкий.

— И холуй при нем, — не унималась Маркиза. — И ваще. На этот поезд не успеешь, под другой впишем. Какая, блин разница? Вздрогнули, люди!..

— А Леков где? — озаботился вдруг Вавилов.

— Да спит он. — ответил Огурец. — Поблевал, покашлял и спит. After, так сказать, humble vomitting. — Ты гитару приволок, мэн? Как обещал?

— Там, — Вавилов мотнул головой. — А, вообще-то, господа, вы кто?

— Ну, здрасьте!

Маркиза сделала книксен.

\*

— Я, между прочим, до недавнего времени в вашей фирме работала, Владимир Владимирович. Покуда вы меня в троллейбусе не уволили.

— А кем?

— Дизайнером, с вашего позволения.

— Да? Вот как интересно... А что ты пьешь, дизайнер?

— Все, что горит. И трахаю, уважаемый бывший начальник, все, что шевелится.

— Ты?

— Я.

— Пардон, пардон, господа, нельзя же так сразу — «трахаю»... Вы,

милочка, такая юная, такая прекрасная... Как вас зовут? Маркиза? Вам же еще жить и жить, Маркизочка, — встрепенулась Анна Каренина.

— Погоди бабуля, не встревай. Держись за стакан и молчи. — Застывшая в нижней точке книксена Маркиза неотрывно и зло глядела на Вавилова.

\*

«Господи, какие же они все дети!» — подумала Анна.

— Ну что молчишь, начальник?

— Ты еще на пол сядь, — Вавилов решил не поддаваться на дурацкие подначки.

Книксен, понимаешь. Из нижней точки книксена, если простоять в ней некоторое время, удобно перейти в стойку дракона.

Огурец сделал попытку сконцентрироваться. Маркиза, если ей вожжа под хвост попадет, такую акробатику может дать, что мало ни кому не покажется. Даже этому мажору. Хотя и крутой он. Реально крутой. Кстати, кто он такой, вообще? Работодатель Маркизин — стало быть, — шоу-бизнес.

— Слышь, ты кто вообще-то, мужик? — спросил Огурец у Вавилова.

Книксен начал угрожающе перетекать во что-то, чему в китайской философии ни имени, ни названия. Похоже, что маркизин книксен грозил закончиться ударом в точку ху-зна.

— Да я, как тебе сказать, брателло...

«Как мучительно долго меня учили делать „книксен“.- подумала Анна. — И насколько все это было бессмысленно... А эта девочка...».

«Центр тяжести, если она голову чуть наклонит назад, сместится, подумал Огурец. — И тогда она точно грохнется на спину. А если голову чуть вправо, то...».

Маркиза наклонила голову вправо.

Джинса потертая, клетчатая рубаха. Из нагрудного кармана вываливается мобильник, из штанов потертых, джинсовых, мелочь — пшш-ш-ш-ш-ш! никелированной речушкой потекла. И пачка сигарет — шлеп — из какого-то потаенного кармана.

— Ассс! — прошипела Маркиза. — Ассс!..

Сальто, двойное сальто, сальто заднее и снова в книксен.

«Научилась держать себя, — подумал Огурец. — Не дерется теперь, хотя бы. И то хлеб.».

— Какая чудная вещица у Вас, — тихо сказала Анна. — Чудная, просто чудная.

Маркиза сгребла ладошкой вывалившийся из-за пазухи кулон на тонкой серебряной цепочке и быстро спрятала его под рубаху.

— Фамильный? — спросила Анна.

— Ну, женщина, я Вас умоляю, что вы, как глупая, купленный.

Даже не оборачиваясь Маркиза выстрелила последнюю тираду и тут же, посерьезнев, обратилась к Вавилову:

— Понял, какого дизайнера потерял?

— Я дизайнера потерял? — спросил Вавилов. — Я — потерял? Да у меня таких, как ты, знаешь, сколько было?

— Таких как я не было никогда, — уверенно ответила Маркиза.

— Очень может быть. А знаете, вообще, господа, чем я занимаюсь?

— Знаем.

Леков стоял посреди комнаты. Когда он успел войти в гостиную из соседней комнаты никто не успел заметить. Но он стоял — в той же грязной нейлоновой куртке, в джинсах — «варенках», вышедших из моды уже лет семь назад, перемилася с ноги на ногу, пачкая ковер грязью со стоптанных «сорокоходовских» говнодавов.

— Слушай, — сказал Вавилов. — Я тебя знаю.

— Это замечательно, — осклабился в улыбке Леков. — Ты пожрать-то принес, а то я вырубился тут...

— Пожрать... Что такое — «пожрать»? Господи, да что это такое «пожрать»? Разве это самое главное? Разве в этом смысл всего?...

— В этом, в этом, — заметила Маркиза. — Вот и Аннушка скажет. Правда, тетя Аня?

— Точняк, — уверенно сказала Анна Каренина.

— Да вы что? Да вы понимаете, кто.... Что....

Вавилов потянул из кармана свой мобильник. Постукал по кнопкам.

— Вахтанг? К «России» давай. Быстро.

И — этой невозможной гопоте:

— Господа! Мне очень приятно было с вами тут, но я, пардон, поеду.

— Посиди, мажор, что ты как не родной?

Сказавши это Леков рухнул на ковер рядом с Маркизой, застывшей в выходе из книксена, задев ее локтем.

— Этой не наливать, — успел сказать Василек, умудрившись уйти от удара — нога Маркизы прошла рядом с его головой.

— Гондоны вы, — обиженно сказала Маркиза, вставая. И Анне: — Слышь, тетя Аня, а фиг ли они такие? Давай вместе под поезд впишемся,

а? А то тошнит меня от этих рыл. Я место знаю, где классно вписываться. На Рижской. Там и под мост можно. А ежели на природу захочется, на цветочки-листочки поглазеть, то и по насыпи можно пройти. Там кайф на насыпе, кусты, блин, трава... Люди, не делайте стойку, я о другом... Нет, тетя Аня, честно. И уединиться можно. Напоследок. А? Как вы? У меня никогда таких вот стареньких не было. И в шелковых чулочках. А то, — Маркиза обернулась к Вавилову, — давайте этого чмошника заангажируем. Работодателя моего. Бывшего, Он у нас мастер вписывать. Вавилов, ты как? Поможешь двум уставшим дамам?

— Я не старенькая, девочка, — сказала Анна. — Ее вдруг разобрала злость. Злость на самое себя. *Quel diable! Parbleu! Mais pourquoi cette fille* так похожа на нее?

— Дура ты, Маркиза, — проговорил Леков, тяжело поднимаясь с ковра. — На хрена бабку обидела? Она же тебе добра желает. А ты — в заводки. — Он подошел к столу. — Чего тут у вас пожрать-то есть. О, сардельки! Горяченькие! Супер!

— Слушай, ты, хендрикс хренов, ты гитару просил? Я тебе принес, оборвал болтовню Вавилов. — Может слабаешь?

— Да слабаю, слабаю, не ссы. Давай ее сюда.

Вот ведь скотина!

Вавилов встал. Его качнуло. В голове шумело. «Вахтанга, скорее Вахтанга», мелькнула мысль.

Где эта долбаная гитара?

— Держи.

Леков обтер жирные руки о штаны. Принял гитару. Взвесил на руках. Внутрь деки заглянул. Пальцем изнутри поскреб.

— Ну и что? «Фендер» корейский, струны левые, гриф ведет, ты его на базаре что ли брал? Конечно. Где еще такое найти можно? Говно! Фанера, лак не лак, лады — жестянка Точно — говно. — уверенно сказал он.

Вавилов про себя усмехнулся. Ну-ну!

Оглядел собрание.

Молчаливый мужик уже отрубился, судя по виду. Дизайнер в ванной, оттуда звуки льющейся воды слышны. Старуха в кресле, впавшая в протрацию.

И он, Вавилов. А вечером — к мэру.

Такой компанией он побрезговал бы и в годы не шибко разборчивой юности.

— Ну и говно! — гегемон потряс гитару. Понюхал зачем-то.

— Лаком пахнет, ишь ты, — поведал. — Но — говно.

И он, Вавилов, выходит, его тиражирует?

Леков.

Что-то смутно припоминается.

Ах, да. Они же вроде трибьют выпускали. История была... Даже, вроде, замочили там кого-то? Он еще нагоняй устроил по приезду из Италии, так хорошо отдыхал, такая компания была — первый раз за много лет расслабился по настоящему. Осина — он умеет отдых организовывать. Осинский — он на эти дела мастер. Хоть и склоняют его фамилию в России все, кому не лень, а Осина — он Осиной и останется. Правильный человек.

Гегемон расстегнул куртку. Схватил гитару наперевес. И — как-то непотребно раскорячившись, попытался пропрыгать по гостиной а ля Чак Бэрри. Врезался в стену номера. Обернул к Вавилову покрытое каплями пота лицо.

— Здорово, да?

И заржал-заперхал, донельзя довольный собой.

Куда Вахтанг запропастился?

Навешать этому уроду на прощание, что ли? Как только Вахтанг приедет. Под занавес, так сказать. Чтобы у пьески был достойный финал.

— Дай сюда, — сказал Вавилов бомжу. — И потянулся за гитарой. — Научу.

— Не суетись, Вавилов. — совершенно трезвым голосом сказал бомж. Посиди. Водки вон выпей. Достала меня твоя суета.

\*

Бомж мог. Бомж многое мог.

Затянул для начала — «Ой, то не вечер, то не вечер»...

Чисто так затянул. Вавилову даже подпеть захотелось. Сразу. «То не ве-е-ечер....

Мне ма-а-алым мало спалось, да спалось...» — включился Вавилов на второй голос.

— На кварту вниз возьми, — заметила девка. Кажется, Маркизой ее зовут, или он ошибся?

— Как тебя звать-то, милая девица? — спросил Вавилов.

— Кварту выдержать не можешь, тогда в терцию, что ли, затяни, тихонько сказала девка. А бомж все продолжал:

— «Е-е-сау-у-у-ул догадлив был... Су-у-умел сон мой разгадать, разгадать....»..

— Это же элементарно. Ты же взрослый мужчина, — девка схватила Вавилова за рукав пиджака. — Три тона вверх берешь и все дела. Ты сольфеджио-то проходил в школе?

— Нет, — честно ответил Вавилов.

— Ну, мужик... То-то я и гляжу, ты серый такой...

«Пропадет он говорил, твоя буйна голова».

— Я — серый, — спросил Вавилов. Достали его эти недоноски. Это он, Вавилов — серый. Нашли себе серого....

— Это я-то — серый? — Вавилов уставился на Маркизу.

— А какой же еще, — ответила та. — Конечно. Терцию не держишь, вообще, интервал вменяемый построить не можешь, о чем с тобой тогда говорить-то? А туда же — продюсер. Ты помолчи пока, пусть он один поет, — она кивнула на гегемона-Лекова.

Да что я, в самом-то деле, вдруг разозлился на себя Вавилов. Он вспомнил лицо Лекова. Мудрено было не вспомнить. Все ларьки кассетами завалены. Каждый третий подросток в футболку с его портретом одет.

Вавилов мысленно перенес морду гегемона на футболку. И не удержался, зашелся хохотом.

Гегемон оборвал «Есаула». Этому не наливать, — сказал он Маркизе. И, подумав, добавил: — Толерантность низкая.

Вавилова аж скрючило от хохота. Шуты! Дешевые шуты! Толерантность! Слова-то какие знают.

— Врубайся, мужик, — сказал вдруг гегемон. — «Весна священная», финал. В переложении для деревянной лопаты.

— Ну все, — простонала Маркиза. — Начинается...

\*

Со стороны гостиницы «Россия» вдруг грянул оркестр. Нет, не оркестр. Что-то другое. Что за странные инструменты. Правда, была и медь — тромбоны, валторны. О, и деревянная группа вплелась. Что за черт.

Не поворачивая головы, Мишунин скосил глаза. Точно, от «России». Вроде бы сегодня, праздников не планировалось. Ростропович позавчера играл, а Паваротти с Доминго послезавтра голосить станут на Васильевском спуске. Ишь, повадились.

Если честно, Мишунин не любил «попсовую оперу». Что-то есть в этом... Не неестественное, нет. Поверхностное какое-то. Целлофановое бельканто.

Мишунин про себя попытался определить инструментальный состав. Да, симфонический оркестр имеется. Синтезатор вроде есть. Электрогитары, — куда же без них? — две. Нет, три. И, кстати, не к месту: забивают оркестр. Оркестр-то «Весну священную» заканчивает, а гитары — одна что-то из Сантаны, до боли знакомое ведет, вторая монотонный, грубый, металлический рифф, третья просто классический блатняк. Ум-ца, ум-ца. Нет, что не говори, нет у людей нынче вкуса. Чувство меры потеряно. То ли дело, бывало, в крепостном театре. Маленькая труппа, все свои, все через одну конюшню прошли. Петька-кузнец, Васька-бондарь. Зальчик деревяненький, на двадцать мест. А из зальчика выйдешь — парк, пруд с лебедями. Все чинно-благородно, никаких вольностей.

Та гитара, что играла параллельные квинты, тяжелый хард-роковый рифф вдруг повела мелодию. О, знакомое. Прокофьев, из фильма «Александра Невского». Злые тевтонские рыцари в бой с картонными мечами под такое шли.

А оркестрик-то в «России» с претензией.

Только фигня все это.

Дешевка.

Опять «новые русские» гуляют. Устроили себе незнамо что. Да и к тому же из какой-нибудь золотоносной дыры. Здесь-то такие простые забавы давно не в ходу.

\*

Леков играл, прислонясь к стене и поставив ногу в грязном стоптанном ботинке на журнальный столик.

Музыка Шопена лилась и лилась, воскрешая в памяти лица, голоса...

Анна откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Как он чудно играет, этот странный человек. Так не хочется вставать, спешить на вокзал...

A peine ont-ils depos\*s sur la planche...

Исковерканное тело на рельсах...

А в сущности, зачем?

Маркизе вдруг явственно увиделась та обшарпанная квартирка в Питере. Капли дождя на оконных стеклах. Запах красок и скипидара. Раздолбанный катушечный «Маяк» с западающей кнопкой переключения дорожек. Рядом чашка с засохшими остатками кофе.

«Арнольд Лейн». Первый хит Сиды Барретта.



Леков всегда любил Сиду. И, видать, сильно любил, раз даже в таком состоянии умудряется играть один в один.

Ни хрена Васька не изменился. Если глаза закрыть. И только слушать.

Теперь снова быть им вместе? Ей, Лекову, Огурцу.

А в сущности, зачем?

Огурцов притоптывал в такт ногой. «Солнечные дни». Навсегда любимая песня. На даче с Кудрявцевым под водочку в мягких московских сумерках она звучала точно так же.

Вернуть бы, блин, все. Кудрявцева, ту дачу, сосновый лес. Посиделки молодых бездельников, у которых все впереди, а потом вдруг оказывается, что все уже позади.

Эх, стать бы снова романтиком. Без рефлексий ненужных, без депрессий. Со здоровым желудком, в который хоть «царскую водку» заливай.

А в сущности, зачем?

Вот ведь народ. Песня-то создавалась как шутка. С шутками да прибаутками. Да и группа вся — «Черный лебедь» — сами же ржали над собой. Музыканты все уже в летах. И на тебе — решили в охотку оттянуться. Ан гляди-ка, в народ пошли песни. А еще говорят, что я неважный продюсер. Пусть говорят. Только вот хмырь этот запредельный мои песни поет.

Еле на ногах стоит, шатается, одет чудовищно, морда небрита и хрипит диким голосом: «Где мои депозиты?». Неплохо хрипит, неплохо. Отмыть бы его, побрить, приодеть, имиджмейкера приставить. Глядишь и раскрутили бы панк-звезду. Хрипел бы себе.

А в сущности, зачем?

Леков играл «Весну священную». Всегда любил эту вещь. Сегодня он играл ее строго, без причуд играл. Так, позволил себе несколько вольностей. Из моцартовского «Реквиема» пару фраз вставил. Ну и из иного — так, по мелочи.

Скучно. Так, блин, скучно. Давным-давно.

Да и на этом отбойном молотке разве что путное сыграешь?

Во, новое лицо нарисовалось. Сейчас мы его встретим. Во-от так. небольшой импровизацией в фа-диез миноре.

Вахтанг застыл в дверях. Шеф всегда любил отрываться «по полной». За те четыре года, что Вахтанг провел с Вавиловым, он кажется напрочь уже утратил способность удивляться. Гулял Владимир Владимирович широко. Медвежья охота, яхты, вертолетные экскурсии, разгромленные ресторанные залы — все было. Но всегда был то, что Вахтанг называл про

себя так: шик.

Здесь шика не было. Напрочь.

Дешевый номер, бодяжная, ларечная водка. Тяжелый запах «беломора». Старая бомжиха в кресле. Шлюшка, из самых дешевых. Мужик с опухшим лицом, храпящий на диване. Еще один, гопник с гитарой в руках. Одна нога на журнальном столике, вторая попирает полураздавленную сардельку, упавшую на пол с грязной тарелки. Лопнувшая кожица с обрывком нитки, вылезшая начинка.

И — Владимир Владимирович, с лицом измазанным кетчупом, с лацканами пиджака, умащенными майонезом. С брюками, усыпанными пеплом.

— О, Ваханг, дарагой, — шеф, наконец, сфокусировал на своем шофере разъезжающиеся в стороны зрачки. — Мы... — Владимир Владимирович глубоко задумался.

Ваханг терпеливо ждал.

Шеф взял с тарелки последнюю оставшуюся сардельку, тоскливо поглядел на нее, надкусил и бережно положил назад.

— Мы едем, — наконец сказал он. — Да.

— Мы? — вопросительно поднял черные брови Ваханг.

Вопрос вновь поверг Владимира Владимировича в задумчивость. С минуту он посидел, шевеля губами.

Бомж, прижав рукой гитарные струны, ехидно поглядывал на Вавилова.

И остальные тоже смотрели теперь на него. Даже спящий мужик вдруг проснулся, повернулся на другой бок и строго взирал с дивана.

— Мы, — подтвердил Вавилов. — Все... И я.

Он грозно обвел глазами номер.

— Все! — сказал он еще раз.

Ваханг кивнул. Ваханг не любил лишних слов.

\*

Какафоническое исполнение «Весны священной» оборвалось так же внезапно, как и началось.

У Мишунина было отличное зрение. И он увидел, как в «России» распахнулось одно из окон на одиннадцатом этаже и оттуда вырвались несколько точек. Точки направились прямо к нему, к Мишунину.

Только не голуби, нет!

Это были не голуби. Это были дрозды. Пропорхнули прямо над головой, сделали круг над мавзолеем, взмыли вверх к рубиновым звездам Спасской башни и канули, растаяли в ослепительном сиянии солнца.

Мишунин перенес вес тела с одной ноги на другую.

До дембеля тридцать восемь дней.

Конец.